

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: **О. Н. Вялкова**

Корректурa: **М. Н. Долгов**

9/2017

Содержание

ПРОЗА

- Николай БРЕННИКОВ. Дурак, или Люди лета 1920-го.** Повесть. 3
Денис ГЕРБЕР. Шведский бог. Рассказ. 119

ПОЭЗИЯ

- Юрий КАЗАРИН. Зимняя вода.** Стихи. 114
Ольга ДОМРАЧЕВА. Лубочный сон. Стихи. 128
Василий ДОМРАЧЕВ. День ангела Светланы и Василия. Стихи. 132
Яков МАРКОВИЧ. Бумажный кораблик. Стихи. 134

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Виктор РОЖКОВ. Наследники Киприана.** Повесть. Продолжение. ... 136

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Сергей КУКЛИН. Сибиряк в Сиаме.** 172

Книжная полка

- Владимир ЯРАНЦЕВ. «Я с каждым годом все ранимее...»** 183

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Ирина СЛИВЦОВА. Акварельная родина Валерия Булатова.** 189

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Шукин.

Николай БРЕННИКОВ

ДУРАК, или ЛЮДИ ЛЕТА 1920-го

Повесть

Глава I. 29—30 июня, Томск

— Пожалуйста, — шепнула сестра милосердия, пропуская Савву за порог. — Пожалуйста, не волнуйте его, он очень слабый, очень чувствительный.

Савва кивнул. Потанин лежал на койке, укрытый суконным одеялом, и силился рассмотреть, кто появился. Трое соседей по палате политично изображали отсутствующий вид.

— Здравствуйте, Григорий Николаевич! Я Сенцов. Может, помните? Сенцов Савва Георгиевич. Я у вас бывал летом семнадцатого. Я в Нижне-Кулундинской волости комиссару содействовал, и вы мне советами хорошо помогли.

— Здравствуйте. — Потанин сощурился. — Я вас помню. Вы агроном. Правильно?

— Правильно!

О Потанине слыхали все от Урала до Тихого океана. Он утверждал, что голоса областей выражают нужды и местных общин, и всего государства, а потому наиболее способствуют становлению гражданственности. Он требовал позволить Сибири — большей части империи — ощутимую самостоятельность и не пытаться из столиц поправлять жизнь, далекую от петербургско-московского разума. Савва с ним во всем соглашался. Ученого и политика крупнее в Сибири не было. Он и Китай от Алтая до Тибета исследовал. Савва сам убедился в его ботанических и почвоведческих знаниях, и казалось, чего ни коснись — истории ль, географии, — отставной казачий сотник Потанин знал все. Временное Сибирское правительство присвоило ему звание почетного гражданина Сибири, назначило пожизненную пенсию, и — поразительно! — красные этот указ подтвердили, хотя в благоволение большевиков и в пожизненной пенсии умирающий не нуждался.

— Как дела у вас там? — спросил Потанин.

— Всё слава богу. — Савва шмыгнул носом и добавил: — Как везде... Я вам цибик* чаю принес.

— Спасибо. Садитесь.

Потанин указал на табуретку. Острый взгляд глубоко запавших глаз означал наступающую слепоту. Отец сибирского самосознания в последние три года изрядно постарел: лысина сильно оголила голову, жесткая седая грива поредела, морщинистое лицо покрылось темными пятнами. Он старался говорить четко, но шепелявил и конец слов иногда проглатывал.

— Я ненадолго. — Савва сел. — Повидать вас да землякам рассказать, что лечитесь, что уход есть.

— К сожалению, мой уход весьма скор. — Больной усмехнулся.

— Григорий Николаевич! — протестующе воскликнул Сенцов.

— К законам природы надо относиться спокойно. — Потанин вынул из-под подушки платок, прижал ко рту и кашлянул. — С улицы жара пышет, а я под одеялом согреться не могу... Для естествоиспытателя естественно размышлять о смерти, особенно в моем положении. Да я все-таки и православный, хоть и плохой.

— Я понимаю... То ж примерно и Александр Васильевич говорил. — Савва перекрестился, и Потанин взмахи руки уловил. — Законы природы, говорил, для всех одинаковы — и для христианина, и для буддиста.

— Александр Васильевич? — Потанин резко приподнялся на локте и подался вперед. — Александр Васильич умер? Адрианов?

— Да. — Савва растерялся.

— А меня обманывают: в Минусинск, мол, уехал... — Потанин затрясшуюся бороду прихватил в кулак и медленно повалился на постель. — От чего ж он?

— Расстреляли... — тихо произнес Савва.

— За что? — Потанин чуть помолчал, заплакал.

— Да ни за что!

— Ну да, ну да, — забормотал старик, — конечно... Когда это?

— В начале марта.

— Март, апрель, май, июнь... А я тут как в пустыне.

— Простите. — Савва с досады закусил губу: «Вот-те завел разговор!» — Про это и в газете было. Я думал, что вы... Я не думал... Лучше б не приходил! Дурак. Простите.

— Оставьте! — Потанин хлопнул по одеялу. — Кажется, у вас ко мне какое-то дело?

— Нет-нет! Только навестить.

— Тогда окажите мне услугу и расскажите о том, что я еще не знаю.

— Да что?.. С панской Польшей воюем. В Крыму Врангель...

— Газеты мне читают, — прервал Потанин. — Хоть и выборочно... Как дела на Алтае? на Кулунде? Ваши дела как?

— Мои дела — земельное хозяйство.

* Цибик — пачка. — Прим. ред.

— Вот и пожалуйста.

— Вроде б все успокаиваться стало, но... беспокойно... Народ волнуется. — Гость подыскивал слова помягче, однако перестал. — Губревком спланировал разверстку невыносимую. Даже семенное зерно — ядерное, золото! — почти подчистую постребл... Ну, по весне посеяли кое-что, а теперь комтрудные полномоченные понаехали вроде бы помочь и велели озимые убирать, обмолачивать. Да рано взялись, зерно сплошь худое, с молочком, дождей ведь кот наплакал... А сами всё вокруг считают да записывают — загодя страшно... А если, не дай бог, кобылка поживиться тоже налетит — по осени кору есть будем? — Савва чувствовал себя точно на исповеди. — Скот уводят, у кого он «лишний», как уж определяют. Шерсть изымают тоже и кожу. Надо-де пролетариат кормить-одевать... А взамен одни посулы: пожди, и в волость соль привезут, спички, мануфактуру — покупай, коль достанется... А выступи против — ты, значит, паразит и пособник международных разбойников, и твое место на погосте, и всей твоей деревне пути на мельницу нет... Паша Иванов из Баевского в Поперешню чуток прошлогодних продуктов больной теще повез, его упродкомцы задержали: свое не сдал — вор! Все отняли, тоже ж и лошадь, а самого Пашу накануне покоса угнали на принудительные работы в Славгород — неясно, сколь продержат. Везде в коммуны агитируют, в артели, под присмотр...

— Это не может долго продолжаться, нашего крестьянина в кабалу не загнать. — Старик опять стукнул по одеялу кулаком. — Сибиряки крепостническим духом не испорчены. Мне Бакунин давным-давно заметил, что сибирский крестьянин — индивидуалист... Я, не удивляйтесь, иногда беседую с теми, кто уже ушел. Это важно — понять их мнение, будь они тут. С покойной женой Александрой говорю, с Ядринцевым... с Бакуниным, Чернышевским... даже с Катковым... — Эту фамилию Савва не слыхивал, да Потанин и говорил-то словно с самим собой. — Слыш-ком много я не досказал, еще больше не дослушал. Горько так умирать... Но еще не конец.

— Нет-нет! — вскричал Сенцов.

— Сибирское крестьянство за себя постоит, — молвил Потанин.

— Крестьяне бунтуют, — прошептал Савва и отпустил вожжи. — У нас кой-где по волостям в армию собирают за настоящую свободу... черное знамя вывешивают... На Салаирском кряже партизанят, тоже вроде анархистов. Там-сям что-то начинается...

— Пора лекарство пить! — объявила вошедшая сестра милосердия. — Пора! пора! — Она потянула посетителя за рукав.

— До свидания! — Он встал и попятился. — Простите, ради бога!

— Всего вам доброго. — Потанин глядел перед собой.

Соседи закивали.

— Вам туда! — За порогом сестра помахала рукой вдоль коридора, укоризненно погрозила пальцем: — Разволновали дедушку! Ну, идите себе!

— Простите. — Савва поклонился.

...За что, спросил Потанин, Адрианов расстрелян за что? В семнадцатом Савва приносил записочку в редакцию «Сибирской жизни». Главный редактор, пожилой крепкий бородач со сплюснутым носом и удивительно молодыми глазами, судил об алтайских проблемах дельно, смеялся искренне, ругался искренне и показался очень душевным. «За искренность расстрелян Александр Васильевич», — наконец ответил себе Савва.

Он маялся мыслью, что к Потанину пришел слугу, наболтал лишнего, расстроил старика, и уж больше не стоит пытаться свидеться — так дурно получилось и стыдно.

Потанин не уснул ни вечером, ни ночью. Утро наступило быстро. Он наклонился за упавшим платком, повернулся, и в голову хлынул жар, а с ним тьма в красных пятнах и испуг умчаться далеко отсюда. «Вот», — понял Потанин.

— Что? — Придремавшая сестра милосердия встала с табуретки, нагнулась над ним, прислушалась.

— Вот, — выдохнул он, — умираю.

— Как вам не стыдно, Григорий Николаевич! — попеняла сестра. — Живите да живите!

— Хочется, — отозвались его губы, — да нельзя...

Она побежала за дежурным врачом. Тот примчался с лекарским чемоданчиком и горячим шприцем наотлет, вколол больному укол, потоптался возле, бросил: «Подождем» — и удалился.

«Последнее мое путешествие, — серьезно подумал Потанин. — За последней правдой. Сейчас все узнаю». О Боге он вспоминал редко. Странствуя в степях и пустынях, он пошучивал над упорством жены соблюдать, сбившись во времени, православные посты и праздники. Он больше интересовался цветами, жуками, тряпичными божками и политическими мелочами, чем ее миром. В Потанине-этнографе христианству сопротивлялся ламаизм, тенгрианство, шаманизм; Потанин-естествовед склонялся к пантеизму. Даже шурин, самарский кафедральный протоиерей, — вечная память новомученику Валериану! — не переспорил зятя и вздохнул: «Того, кто своим умом до всего дошел, не переубедить».

Потанина осенило, что вдруг удастся увидеть лицо Бога, с Которым он, наверное, все-таки встретится, и он тяжело размышлял, чем оправдать житейский путь, если Бог об этом спросит. «Бог простит, — утешил бы страдалец Адрианов. — Грех вам убиваться: больше вас для Сибири никто не сделал». — «Нужны ль родной земле все наши заслуги, и что останется после нас, бог весть, — возразил бы Потанин. — Нам оставить белый свет с радостной душой неосуществимо».

Благодаря ему с 1860-х по 1917-й в Сибири сложились собственные политические силы, во всеоружии встретившие и отречение царя, и ленинский захват власти. В 1918 году областническое правительство за лето избавило Сибирь от большевистского зла, могло решить земельную проблему и удержать коммунистов за Камой, но правящие омские левые

приютили чужаков — подвинулись и сдались «Уфимской Директории», а следом попустительствовали Колчаку, насущные вопросы не решавшему. Крестьяне восставали. Большевики вернулись. Однако будущий день не просчитывался.

Потанин мог бы сказать Богу: «Я не религиозен, я просто поступал по совести. Суди». Но вместо Бога привиделась незнакомая маленькая девочка, с десяток лет назад написавшая ему письмо, прочитанное как стихи: «Григорий Николаевич, писатель, прошу вас сказку в школу, писатель Потанин, сказку, Григорий Николаевич, в школу, писатель». — «Надеюсь, красавица, у тебя все удачно», — улыбнулся он.

Принесли завтрак, тронули старика за плечо, охнули и засуетились:
— Потанин умер!

У койки сгрудились сестры милосердия и санитары, у дверей столпились больные. Врач приложил к сердцу стетоскоп, поводил им по груди, потрогал шейную артерию и провозгласил:

— Умер.

Он скрестил покойнику руки, закрыл лицо простыней, по-солдатски повернулся к двери и твердым шагом покинул палату.

Простыню приспустили: всем хотелось посмотреть в лицо великого человека. Заглянуть ему в глаза было уже невозможно.

Глава II. 30 июня, Томск

Предтомгубчека Матвей Берман, парень двадцати двух лет, пребывал в приподнятом настроении. Он заглянул в кабинет, где читинский земляк Мартын Сёмочко, он же Марат, кого-то допрашивал.

— Здравствуй, Март. — Берман прошелся по комнате и кивнул на своего сверстника, тоскующего на табурете: — Расслабился он у тебя! Потакаешь преступникам? Лишу тебя жалованья и довольствия лишу.

— Здравствуй, Мотя, — сказал следователь начальнику.

— Повстанец? — нарочито сурово осведомился Берман.

— Да, — подтвердил Сёмочко, — из Барнаульского уезда агитатор. В партизаны он не успеет. Мы его чик — и нет его... Шустрый, гад. Его в Томск заслали, а он сразу к Потанину за инструкциями. Опять Сибирь от России замыслили отделять. — Сёмочко подмигнул подследственному: — Я тебе голову от тулова отделию!

— Я к тетке приехал, а не к Потанину. Я сразу к тетке пошел, никто меня к Потанину не посылал. А с Потаниным — про посеvy поговорить. Урожайность надо как-то повышать. Вы ж отнимаете все.

— Вот и видно, что ты гад, — весело бросил Берман. — Для советской власти ничего повышать не хочешь, а все для себя.

— Если урожайность повесить, то и власти что-нибудь останется.

— Советской власти не надо что-нибудь, — поучающе произнес предгубчека. — Например, такое говно, как ты, ей не надо.

— Ну и отпустите.

— Хитрый, гад! — Сёмочко фыркнул.

— Или дурак, — добавил Берман.

— Или дурак, да! — Сёмочко захохотал. — Не хитрый, нет, скорее дурак! Он, Мотя, в штаны наложил. — Следовательно привстал и уперся взглядом в подследственного. — Ты Потанину не про урожай, ты про восстание говорил!.. Ишь ты, цыпленком прикинулся: «Не агитировал, не саботировал, а только зернышки клевал...» Про посевы то да се — в губпродком нужно идти, а не к Потанину! А к нему ты за другим советом заявился!

— Успел, значит, повидаться. Ну-ну! — Берман сел на стол. — Потанин помер сегодня. Символ сибирского сепаратизма помер. — Он взглянул в допросный лист: — Выражаю вам, гражданин Сенцов, искреннее соболезнование. Потанина как каторжанина, как ученого мы уважаем.

Савва обомлел, замычал и закачался.

— Помер, значит. — Сёмочко положил вечное перо на чернильницу. — Ишь ты! Глянь, как злодей разволновался... Ну-ка прекрати истерику!

— Потанина мы уважаем, — повторил Берман. — Но вас будем уничтожать, вас мы должны уничтожать, потому что в будущем обществе таким элементам не место. Уж извините... Ты, Март, оформи его в графе «расход».

— Каким элементам? — вытирая катящиеся слезы, закричал Савва. — Я агроном!

— Очень приятно. — Берман усмехнулся. — А я тот самый вечный жид, с которым вы боретесь. И вам меня не победить, я умней.

— Мне-то зачем с вами бороться? — вскрикнул Савва. — Жиды тоже люди.

— Как ты меня назвал, сволочь? — Берман спрыгнул со стола. — Разве я похож на жида?

Широконосый, скуластый, он на еврея, действительно, не походил.

— Вы ж сами сказали. — Савва оторопел.

— Ну-ну! Ты-то сам на кого похож, пугало алтайское? — Берман смотрел на Сенцова и махал списком примет. — Ты... ты что, Март, пишешь? По этим данным и меня арестовать можно!

Приметы Саввы Сенцова оказались таковы: возраст 22 года, рост 1 метр 75 сантиметров, телосложение среднее, наружность обыкновенная, лицо чистое, продолговатое, волосы темные, прямые, лоб высокий, глаза карие, средней величины, нос посредственный, уши средние, рот умеренный, подбородок круглый, усы и бороду бреет, особых примет нет.

— По жандармскому образцу сверяю! — Сёмочко прижал руку к сердцу. — Сократил немножко. Рост в сантиметрах, как полагается... Ты не шути, Мотя, агроном на тебя не похож.

— Ты, агроном, пойми, — проникновенно возвестил предгубчека. — Мы не убийцы, мы политработники, мы расчищаем площадку для стройки социализма, и ты для нас как сорная трава. Я тебя, агроном, на удобрение пушу. — Он перебрал листы допроса. — Или уж пожалеть тебя?.. Отправлю в концлагерь до перевоспитания. Если ты откровенно рас-

скажешь про все свои контрреволюционные связи. Есть у тебя знатный шанс, агроном. Повезло тебе, что я сюда заглянул... Давай откровенно. Ты от Плотникова агитатор? Тебя к Потанину он посылал?

Но Савву доконала мысль, что именно он, Савва Сенцов, до смерти взволновал Потанина, и трясла дрожь, слова хрипло булькали в горле. Он втянул воздух, поперхнулся и кашель унять не смог — одной рукой ухватился за шею, другой вцепился в табурет, и Сёмочко насторожился.

— Синюха, что ли?.. Мотя, у него синюха! Он, наверно, в клинике «испанку» словил.

— «Испанку»?

— Кажется... пальцы с синевой, кажется... нос вон посинел. Я не врач, конечно...

— Черт! — Берман покачался с пятки на носок. — Да все равно он никуда не годится... Эй, агроном! Перестань слюной брызгать, иди отсюда! Иди-иди! У тебя сейчас дни самые опасные. Понял? Выйдешь — иди прямо мимо озера до водонапорной башни, поверни направо, там неподалеку заразная больница — найдешь! Лечись... Если не померешь, вернешься.

— Ну ты даешь, Мотя! Раз — и квас!

— А на кой он такой?

— Тогда пиши распоряжение об освобождении.

— Ты напиши, я подпишу. — Берман шлепнул Сёмочко по плечу. — Оформи показания — и ладно! Он ведь ничего наговорить не успел.

Савву понемногу отпускало, он тяжело поднялся с табурета.

— Пропуск возьми!

Следователь швырнул бумажку на край стола; Савва подобрал ее и побрел прочь.

— Доставай лекарство! — велел начальник.

Реквизированная по причине сухого закона рябина на коньяке шутовской марки стояла плотными шеренгами в тумбах стола. Сёмочко вынул оттуда же и стаканы и откупорил бутылку.

Берман предпочитал у себя спиртное не держать с тех пор, как его за пьянство исключили из компартии да загнали с понижением по должности из Томского губисполкома в уездный глазовский военкомат. Перешел служить в ЧК — все выправилось. Теперь он осторожничал и, в отличие от предшественника, въедливого Шишкова, томской партийной верхушке не досаждал, подчеркнуто ставил ветеранов РКП(б) в пример молодежи. Беленец, председатель бюро, совета, комитета, явно метил в Москву, и предупредительный Берман ненавязчиво, но неизменно выказывал ему уважение. Итоги очевидны: Шишкова за бессудные расстрелы пожурили и перевели в другое ведомство, а Берман, отчитываясь в полусотне расстрелянных по ходу следствия, удостоился одобрения.

— Закусить нету, — объявил Сёмочко.

— Есть! — Предгубчека достал из кармана шоколадку. — Помянем сибирского дедушку. Все-таки выдающаяся личность. Это ж надо такой авторитет заработать!.. Видел я его в декабре семнадцатого возле

университета. Маленький, дряхлый, ничего особенного, а вокруг толпа! Профессора, офицера... Завтра в «Знамени революции» некролог напечатывают.

— Революция беспристрастна! — Сёмочко расплескал настойку в стаканы.

— Где у агронома тетка живет? — спросил Берман, глядя в окно.

— Где-то на Заистоке.

— Агроном в заразную пошел.

— Рисковый ты, Мотя.

— Наоборот. Мы же знаем, что «испанка» может... А он для нас пустой, он болтун, не агитатор, у меня глаз наметанный... Не переживай, скоро много дел будет.

Повстанческие группы появлялись будто грибы после дождя, возникали и разношерстные, однако Берман и тут поразил членов губревкома, в конце июня слив в одну емкость шампанское и водку — ликвидировав эсэро-белогвардейскую организацию числом под батальон. Эффективный метод он решил не возобновлять, сосредоточиться на монархистах, но действовать опять-таки с опережением и приготовить их список загодя.

— Послушай про интересное. — Сёмочко постучал приятелю в спину. — Мне тут один интеллигент из учителей объяснил, что за статуя у нас над входом.

— Фемида, — начальник отмахнулся, — богиня правосудия. Нам в коммерческом правоведе любил про нее напоминать. Это же здание бывшего суда, вот Фемиду на крышу и посадили.

— Да не Фемида! — возопил Сёмочко. — Немезида! богиня мести! У Фемиды повязка на глазах и крылья нет, а эта без повязки и с крыльями! Интеллигент мне разобъяснил, что символ большое значение имеет, мол, все тут взвешено, все рассечено под знаком возмездия!

— Красиво, — согласился Берман. — Но я тебе еще умней скажу, еще логичней: символ этот и для истории вполне подходящий — с товарными весами и с мечом.

Глава III. 1 июля, Томск

Беженцы кто куда и вшивые войска, белые и красные, несли с собой тиф, чаще сыпной, чуть реже возвратный, а брюшной был редок, и образованный народ потешался: это-де потому, что бактериям нечем кормиться. Губчекатиф организовал отряды по борьбе с эпидемиями, губчекатруп подбирали то, с чем прочие санитарные службы не совладали. Средств не хватало на все.

Заведующий лечебницей для заразных Геннадий Евгеньевич Сибирцев, при постоянном пригляде за хворыми, при отчаянном поиске медикаментов, дезинфекционных и перевязочных средств, съестного и хотя бы денег, писал и звонил в соответствующие отделы губревкома, однако сам туда не хаживал, боялся сорваться на крик и все начисто испортить, барабанил пальцами по телефону и поминал царя Давида и всю кротость

его. Прежде медицинского факультета Сибирцев окончил семинарию и, хоть стал лечить не душу, а тело, оставался благодарен отцу, протоиерею, за науку и воспитание, злость гасил, только на лице подолгу туманилась обида. Брань советских учреждений ему прощали и даже говорили: правдивый, совестливый.

Вчера он услышал о кончине Потанина. При давней встрече с ним в обществе попечения о начальном образовании Сибирцев узнал, что Потанин в ссылке находился и в Тотьме; Григорий Николаевич живо описал Успенскую церковь, где через пару лет по его отбытии батюшка встал на кафедру.

Нынешнее скорбное известие напомнило об отце. Недавно извещенный, что здоровье батюшки резко ухудшилось, Геннадий Евгеньевич осерчал на состояние дел, не позволяющее поехать на родину, чем-либо отцу помочь и припасть под благословение. Однако отец мог спросить: среди войн, среди эпидемий не усомнился ль сын в правде Божьей? — даже непременно спросит, и это вдруг стало весомым поводом погодить с отъездом.

Он раздраженно бродил по двору, крутил усы, тер лысину и распекал персонал за нерадивость: уж во всяком случае, пропарить белье после стирки могли бы без распоряжений. Ходячие больные грелись на солнышке, женщины гладили друг дружке стриженные головы и пошучивали.

— Здравствуйте, господин доктор, — поклонился Савва.

— Сенцов? — Сибирцев прищурился. — Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, очень вам благодарен. Я могу уйти?

— Не смею мешать. «Испанки» у вас нет, признаков иных заболеваний не наблюдается, и оставаться тут для вас опаснее, чем на улице... Впрочем, позвольте вопрос: вы отсюда и впрямь в ЧК пойдете? Просто любопытно.

— Я хотел бы завтра на похороны Потанина попасть. — Савва показал газету с некрологом. — А потом в ЧК, да. У них же все равно мой адрес есть. А то хуже может быть.

— Потанина? Вы его знали?

— Знал, — сокрушенно ответил агроном.

— Позвольте... — Сибирцев надел пенсне и протянул руку к газете.

— Это фельдшерицы газета, — сказал Савва. — Ей, пожалуйста, отдайте... Ну, я пойду? Спасибо. Прощайте, значит.

— Прощайте. Желаю удачи! — Заведующий уткнулся в некролог, а Савва пошел за ворота.

«Он был в стане наших политических врагов, — прочел Сибирцев. — Наемники и прихвостни буржуазии сумели воспользоваться им в качестве орудия против рабочих и крестьян... Потанин был орудием одурачивания рабочих и крестьянских масс... Как общественный деятель Потанин может лишь вызвать чувство отвращения, негодования рабочих и крестьян. Он явился орудием в руках белогвардейской своры. И мы говорим о нем не как об общественном деятеле, а как об ученом... Исследования и путешествия Потанина входят в ту сокровищницу знаний, которою так до-

рожит рабочий класс. В этом заслуга Григория Николаевича Потанина. И теперь, когда мы получили известие о его смерти, мы отбрасываем прочь тот вред, который он принес рабочему классу».

Пусть так, уже кое-что, подумал Сибирцев. Слог заметки, изобилующей повторами, походил на речи Ленина. Пандемия психических расстройств вряд ли реже, чем инфекционных, размышлял он. То всем селом соберутся в неизвестное Беловодье, то ведьм по соседству начнут истреблять. Больные не желают слышать и видеть все противоречащее их убеждениям, причем для агрессивной фазы и для упорядоченного поведения симптомы истерии равно характерны. Самые безнадежные оглашают себя самыми здоровыми и предписывают прочим свои правила. Недужные не даются лечить, да и трезво рассуждающих убивают чаще, чем при чуме.

— Геннадий Евгеньевич!

— Духонин? — Сибирцев сверху вниз посмотрел на сивоусого коренастого мужика в очках, перемотанных нитками.

— Я. Извините. Я тоже выписаться хочу.

— Но вы не долечились. У вас и кожный зуд непрерывный, я же вижу.

— Чепуха, сам справлюсь. Мне один дед верное пособие посоветовал...

— Ведь вы умный человек, и что я слышу? — Сибирцев всплеснул руками. — Сапоги вы несете сапожнику? А здоровье доверяете кому попало! Он, ваш дед дурной, себя разве вылечил? — Сибирцев указал на дверь ближнего барака: — Он плашмя лежит!.. Как зрение? Глаза у вас воспалены.

— Зрение получше. Да я газеты не читаю.

— И справедливо, от них только расстройства. И плакаты не читайте. — Сибирцев остановил больного, гуляющего туда-сюда: — Не считите за труд, отнесите газетку Вере Леонтьевне.

— Я единственно боюсь, — признался Духонин, — приступы повторяются. Опять воображу, что я в окопах или еще невесть какую дрянью...

— Не повторяются. Если повторяются, то вас ждет всемирная слава: вы попадете в медицинские учебники. Если температура повысится, то по иному поводу, и вы уж, ради бога, постарайтесь не простывать и спиртного сторонитесь. А пока надо подлечиться.

— Видите ли... — Духонин понизил голос. — Намедни на кладбище всю ночь револьверная пальба шла, будто бой. Тут слышать. Гулко. Это, я узнал, офицеров расстреливали, пока меня тут лихорадило. Повезло мне... С фамилией Духонин жить трудно, сразу хотят в штаб к покойному генералу отправить*. *Товарищи* со своей грязью в душу лезут, отвратно. — Слово «товарищи» он произнес с подчеркнутым презрением. — Я вас очень уважаю. Вы любого человека цените. Так вот... Я, как бывший сотружник

* Отправить в штаб Духонина — расстрелять. Выражение происходит от фамилии генерала, убитого революционными матросами. — Прим. ред.

порядка... дворник... могу вас уверить, что в непродолжительном времени все повторится — и облавы, и прочее — только под частую гребенку.

— Как бы возвратный тиф. — Сибирцев ударил кулаком в ладонь. — Понятно... Не забудьте зайти ко мне, я вам курс лечения распишу.

— Вы послушайте, Геннадий Евгеньевич! У вас люди разные лежат, могут случиться большие неприятности.

— Спасибо, мне ясно.

Из сотни пациентов заразной больницы политически сомнительных для советской власти набралось бы множество, с документами или без таковых, и заведующий избегал вникать в анкетные данные. Он правильно стал врачом, а не священником: принимаемые исповеди, в практике Сибирцева нередкие, сильно утомляли. В последние годы он сталкивался с судьбами поразительными, но о них ничего никому не пересказывал, ибо предписано Гиппократом не разглашать сокровенное о чужой жизни.

Жил Сибирцев здесь же, в минуте ходьбы; расспросив больных, он ушел домой и сел писать отцу. Письмо ладилось плохо: исчислялись накопившиеся проблемы, а говорить о насущном не получалось.

Глава IV. 1—2 июля, Томск

Фамилию Духонин в удостоверение приказчика Камышловского потребительского общества вписал друг-юморист — кто-де станет подделывать мандат на такую фамилию? — тотчас видно подлинность.

Иван удивлялся сам себе, он дважды подряд проговорился: был ведь некогда и сотрудником правопорядка — филером Енисейского жандармского управления, и офицером — унтером в колчаковской пехоте. «Размяк, болезнь виновата, — посетовал он, — слабодушие, сентиментальность».

Из Томска он выбрал водный путь, помня, что сыск на речном транспорте хуже, чем на многолюдной железной дороге. Новоявленный Духонин прикидывал, можно ль миновать бюро пропусков и наудачу попроситься на пароход или катер за какую-либо помощь по судовому хозяйству.

К пристанской кассе подошли трое в перепоясанных ремнями косоротках и в фуражках с пятиконечными звездами. Посредине шедший мужчина, не наклоняясь к окошечку, попросил билеты на 6 июля до Новониколаевска и оформил багажную квитанцию.

Десяток лет назад Иван видел это презрительное выражение лица в розыском листе члена социал-демократической партии большевиков, народного учителя Александра Васильевича Шишкова. Не запомнить его было нелезя: по агентурным данным, в девятьсот пятом в Москве парень развлекался, уча подругу стрельбе по белым мишеням — постовым полицейским, — информация, взбудоражившая все Енисейское управление. Шишкова за призывы к революции сослали в Нарым, из ведомственной переписки он исчез, а позже, по прочным слухам, отличился жестокостью среди томских чекистов.

Иван проводил его взглядом и задумчиво двинулся на базар. Он не знал, куда идти, но знал, что пока останется в городе.

— Что продаем? — спросила баба, менявшая мыло на постное масло, скользнув глазами по длинным полам сюртука.

— Руки, — ответил он.

Удалось условиться на починку сарая за кой-какие харчи и ночевку на сеновале.

Шишковский служебный перевод давние соратники отметили гулянкой в краснокирпичном здании под статуей Немезиды. Шишков сдался обычаю и улыбался, пил и пел со всеми, однако радости не ощущал, за полночь лег на диван и уснул.

Он воспитывал в себе равнодушие и кое в чем преуспел: жена и дети воспринимались уже не как семья, а как анкетные данные. Их имена пропали из речи и заменились одинаковым «ты». По отношению к сослуживцам это не получалось: вовлеченный в коллективную ответственность не мог остаться безразличным к результату работы, равнодушие уступило недоверию.

Он слишком долго, с дурным постоянством увязал в здешних болотах и местной администрации. В 1918 году, при победном марше областников по Сибири, бывший комиссар Нарымского края Шишков бежал в Москву. Яша Свердлов, близкий приятель по ссылке, предцентрисполкома, ценил Шишкова за преданность и исполнительность, устроил в Наркомат внутренних дел, а весной девятнадцатого лично отвез в Харьков. На Украине Шишков стал членом Верххревтрибунала и зампредом ВЧК, состоял в высших управленческих кругах. Садистские вольности харьковских чекистов он счел приемлемыми и объяснял частые массовые расстрелы необходимостью ускоренного отлаживания советской власти. Тут была не служба, а песня, но карьера вновь решилась в Москве: Яша вдруг умер; председателем Центрисполкома провели безликого Калинина, подбирающего себе таких же серячков. Шишкова определили возглавлять Губчека во Владимире и потом в Томске, где подсидели. «Будь проклят этот Нарымский край с его медведями и стерлядями!» — цедил он сквозь зубы. Назначенный на внушительную должность председателя Иркутского губревкома, Шишков сомневался в упроченье своего положения и, перемещаемый все дальше на восток, считал, что его, заслуженного революционера, сводят на нет.

Предсибревкома Смирнов вздумал новому предгубревкома дать наставления, и ехать в Иркутск приходилось через Новониколаевск...

Утром Шишков проснулся от крика и хохота.

— Все же пришел! — вопил в коридоре Сёмочко. — У, вражина! Ну, молодец! Я тебя люблю. Все б вели себя так!

— Перестань орать! — в приоткрытую дверь сказал Шишков.

— Александр Васильевич! — Сёмочко не смутился. — Это Савва Сенцов. Направляется в Барнаульский уезд. Если вам нужен помощник таскать-грузить — пожалуйста! Попутчик до Новониколаевска. Проверенный мальый.

Савва неловко поклонился.

— Где ты взял такого? — Шишков захлопнул дверь.

— Ты почто кланяешься? — Сёмочко подтолкнул Савву в другой кабинет. — Ты должен согласно и бодро мотнуть башкой, как боевой конь!.. Ох, крестьянин! Агроном. Темнота. В сельский актив тебе надо, в коммунистический союз молодежи. Ты должен расти над собой!

— Март! — Берман прошагал перед Сёмочко и устало опустился на стул. — Тебя на улице слышно... И испанский агент здесь! Может, ты, Сенцов, лазутчик? Смелый очень. И Потанина навестил, и с ЧК задружил...

— За что меня арестовывать-то? — Савва пожал плечами. — Я размыслил: схожу к вам сегодня, зато уж завтра Григория Николаича со спокойной душой провожу. Его похороны на завтра перенесли... в шесть вечера, в Иоанно-Предтеченском монастыре.

— Удивительный ты мужик. Наивный до умиления... — Берман повернулся к Сёмочко: — Налей мне, Март, лекарства. Отдохну. А ты пока из графина пей, соблюдай дисциплину.

Сёмочко засопел и насупился.

— Я, Марат Тарасович, еще о чем... — Савва чинно выпрямился. — Позвольте вас поблагодарить про губпродком, чтоб туда зайти. Я вчера наведаясь, и Федор Никанорович выдал мне мандат на устройство агрономического хозяйства.

В мандате были написаны волшебные слова: «Дано разрешение Сенцову Савве Георгиевичу в с. Баево на устройство экспериментального участка по выращиванию морозостойких злаков. Губпродкомиссар Иванов-Павлов. 1 июля 1920 г., Томск».

— Во всем ты, Сенцов, в преферансе. — Сёмочко наклонился над тумбой стола и насвистал «Чижика-пыжика».

На пороге возник Шишков. Увидев Бермана, он не шелохнулся, уронил:

— Здравствуйте, товарищи, — и пригладил усы с бородкой.

— Здравствуйте, товарищ Шишков. — Предгубчека не привстал, но раскинул руки. — Опять вас поздравляю. Завидую вашему переводу и повышению. В Иркутске интересно, край непочатый.

— Справимся, товарищ Берман, — Шишков глянул куда-то мимо присутствующих, — очистим Иркутск от контрреволюционной мрази не хуже Томска. Как ваши успехи?

— Успехи, товарищ Шишков, для посторонних невидимые, но для ЧК значительные. Я нынче всю ночь в тюрьме присутствовал. Погрязая в текущем и живу будущим — планирую ряд новых мероприятий.

— Гнойники внутри органов тоже не забывайте, — заметил Шишков. — Политзанятиями здесь не обойтись, персонально у каждого нужно в душе покопаться.

Справедливость этой фразы Берман подтвердил лишь наклоном головы.

— Да-да, — вежливо откликнулся Сёмочко.



— Значит, товарищ Марат, мы договорились: пусть шестого в шесть утра он придет ко мне на квартиру, поможет вещи перевозить. Молодым сотрудникам позже тоже напомните. — Шишков повернулся уйти и задержался. — Каюты для него нет, что-нибудь найдет... — Бывший предтоmgубчека ступил в коридор и ушел.

— Кажись, он меня подальше посылал, — Сёмочко хмыкнул, — а оказывается, мы договорились. — Он написал адрес Шишкова на обороте старого судебного бланка и сунул Савве: — Держи. Чтоб исполнил все в точности. Поедешь в Новониколаевск, разгрузишь, погрузишь — и свободно пыли в свою степь. Чтоб в Томске под ногами не путался!

— До свидания... — полувопросительно проронил Савва.

— Прощай. — Берман помахал ему ладошкой. — На кой ты тут нужен?

— Чисто герой! — бросил Сёмочко за спиной агронома.

— Сказочный дурак, — постановил Берман.

Глава V. 3 июля, Томск

В субботу ближе к вечеру шествие с телом Потанина направилось в женский монастырь. Неспешно и плотно наплывали тучи, с исподу исчерна-синие, с провалами в открытое небо.

— Гроза — это символично, это какое-то предупреждение.

— Галоши надевать и зонтик брать — вот и предупреждение.

— Жалко, что профессора наши естествоведы присутствовать не могут, в поле работают.

— Услали в поле? Ну и глупо! Толку-то от них!

— Типун вам на язык! Никто их не усылал! Это часть научного курса.

— Я пошутил. Сам университетский. Я это прекрасно знаю.

— Профессор Лаврский тоже в экспедиции, а уж его-то явно недостает, все-таки единственный родственник, племянник по жене.

— Вы не про нервную поэтессу?

— Спаси и сохрани! Я про путешественницу, которая в Китае у Григория Николаевича на руках скончалась.

— Это не тот ли Аркадий Валерианович Лаврский, который зимой девятнадцатого был председателем городской думы?

— Тот.

— Толковый человек, помню.

— Возле Потанина дурных не бывало...

Назначивший себя распорядителем Филипп Козьмич Зобнин, высокий и сухощавый, совсем ссутулился. Он шел за гробом, и в шуме идущих ему слышалось: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром...» — словно голос Шаляпина плыл над Томском.

— Я Потанина встречал на улице. И раскланивались!

— А мне он рекомендательное письмо дал. Отзвучив был чрезвычайно. Святой человек.

— Сорокоуст заказывали?

— Обязательно. Вчера в госпитальной панихиде совершили, сделали для Потанина исключение, а то ж церковки в клиниках позакрывали, как назло.

— Да куда ни ткнись! Впредь будем Маркса читать. Вместо «Милосердия двери...»

— Наши якобинцы кричат, что взамен религии будет наука, а сами Институт исследования Сибири закрыли, даже и Сибирские высшие женские курсы.

— Лиха беда начало.

— Типун вам на типун!..

Прохожие останавливались, крестились, и некоторые шли следом. В жарком и душном воздухе подымалась пыль. Молодежь при гробе смеялась постоянно.

— Легонькой! — прошептал Савва и поверх голов посмотрел на Потанина. — Будто его и в гробу нет!

Монастырь встретил процессию колокольным звоном. Она остановилась подле кладбища.

— Сюда! сюда! — Дьякон повел всех в Иннокентьевскую церковь.

— Вы, батюшка, пожалуйста, по сокращенному чину, — попросил священника мужчина в тужурке без знаков. — Григорий Николаевич был человеком нецерковным и неверующим, следует уважать его чувства. И вот-вот ливень хлынет...

— Все по уставу, — нехотя обронил священник.

— А как же, — согласился мужчина, — я тоже семинарию окончил. Но мы не формалисты, а в раю не бюрократы — поймут и примут... А то ведь тут еще с речами полезут! Время дорого! Не будем ссориться.

В храме гроб обступили редкие близкие, больше из знакомых женщин. Вдову Адрианову с дочерьми и сыновьями пропустили вперед. При отпевании Зобнин тихо вторил молитвам и переводил взгляд с зажженной свечи на покойного.

Зобнин и сам карьеру не делал — то в училище преподавал, то акцизные сборы учитывал — научные вклады в почвоведенье иль этнографию скудноваты. Между тем в тяжком девятнадцатом только он помог бывшему председателю Сибирского совета — перевез беспомощного нищего старца из съемного угла в свой маленький домик, потеснив жену и дочку с тремя сыновьями. Он же Потанина после мозгового кровоизлияния уложил в клинику и часто навещал.

— ...Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Григория, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...

Отпевание завершилось. Гроб, провожаемый молитвами монахинь, вынесли на кладбище и поставили на скамьи.

— Нам пора. — Мужчина в тужурке оперся на лопату.

— Да. — Зобнин подумал, что это местные служащие понукают, и обратился ко всем: — Пожалуйста, кто проститься с Григорием Николаичем... Речи потом.

Коснуться Потанина подошли многие.

— Господня земля и исполнение ея... — Священник крест-накрест посыпал тело землей.

Издали раздалась жестяная раскаты грома. С неба упали тяжелые капли, однако дождь не пошел.

— Природа плачет.

— Сибирь с Потаниным прощается.

— Впервые хоронят человека, про которого плохое даже не сочинишь.

— Выступить не хотите?

— А что говорить? Общие фразы? Суть-то не выскажешь.

— Да, при клятом царизме мы были разговорчивей.

— Жизнь продолжается.

— Есть у Потанина тезис, что Сибирь станет страной, где русские органично продолжают историю Отечества. Уж точно, не так он это представлял.

— Пути истории неисповедимы...

Гроб закрыли, заколотили, опустили на полотенцах в могилу, закопали. В выросшем холмике установили восьмиконечный деревянный крест, рядом возложили венки и цветы.

Впереди собравшихся встал Шатилов, в Сибирском правительстве бывший министр по туземным делам, оставленный новой властью в подозрении, но терпимый. Ольга Александровна, женщина с детским лицом, глядела на мужа привычно внимательно. Сейчас Зобнину любые речи казались пустыми, его даже раздражали оттопыренные уши и вислые усы Михаила Бонифатьевича, и Зобнин усомнился — что существенное Шатилов может сказать о Потанине?

— Вот и обрел Григорий Николаевич вечное пристанище, — сказал Шатилов. — Никогда он своей квартиры не имел. Он себе не принадлежал, ничего лично для себя не добивался, он принадлежал Сибири. В Сибири он стал первым борцом за народную свободу. Единственный каторжник, отправленный из Сибири в Россию, два с половиной года в кандалах...

— Лекция, — услышал Шатилов и осекся.

— Большинство из нас тогда еще на свет не появились, — проговорил он в замешательстве. — Старые друзья Григория Николаевича давно в лучшем мире. Вот писатель Николай Иванович Наумов неподалеку лежит... Ныне время иное. Ныне все по-другому. Но мы, ученики Потанина, должны помнить его завет о создании собственной интеллигенции, сибирской интеллигенции, которая возьмет на себя заботы о здешних нуждах. Мы должны ее вырастить, мы должны воспитать тех, кто и после нас станет выражать нашу правду, кто станет ее отстаивать. Никто за нас думать не будет...

За спиной вдруг засмеялись. Шатилов помолчал и махнул рукой безнадежно.

— Трудно без Потанина... Наш известный литератор Георгий Гребенщиков писал, что для сибиряков Потанин то же, что Лев Толстой для



россиян, но Гребенщиков, знакомый с Толстым, не находил в нем той цельности, которой обладал Потанин... — Шатилов расстроился, смешался и речь оборвал. — Спасибо тебе, Григорий Николаевич. Прости нас... — Он шагнул в толпу и сокрушенно буркнул жене: — Болтал что ни попадя...

— Нет, Миша, хорошо. — Жена торопливо его приобняла.

Его место у могилы заступила маленькая Наталья Карпова, секретарша Потанина.

— Мне довелось Григорию Николаевичу помогать. В нем не было ни капельки обывательского, он был выше бытовых мелочей. Прежде всего ученый. Совершенно бесхитростный. И кое-кто этим пользовался, чего только не добивались! — Она перевела дух. — Над собой он посмеивался, что на лешего похож и нос картошкой, но все понимали, что он замечательно красивый человек...

«Миловидная дама бальзаковского возраста, — вздохнул Зобнин. — Шла б ты замуж наконец, Наталья Петровна».

— Пора мне, Анна Ефимовна, — откланялся он пред Адриановой. — Притомился. Еще и домашние дела ждут... Простите, живу под боком у монастыря, но не могу пригласить: Алевтина Ниловна моя и Боря с Женой, младшие сынишки, «испанку» подхватили, спят да спят.

— Будем к Григорию Николаичу в гости ходить, — медленно молвила Анна Ефимовна, — как бы и к Саше... Даже не кажут, где убили, гады.

— Григорий... Александр... — Зобнин пожал руки сыновьям Александра Васильевича, — дамы... — поклонился вдове и дочерям, — прощайте, не поминайте лихом.

— Прощайте. Пойдем и мы, тяжело это все.

Анна Ефимовна пошла к воротам; взрослые дети послушно следовали за нею.

Выступить намерился молодой человек в гимнастерке, Константин Молотов, предгубнаробраза, редактор газеты «Знамя революции». Зобнин знал его как члена губкомовской парткомиссии, побывавшей в Институте исследования Сибири, после чего институтская деятельность прекратилась.

— Ставлю всех в известность, — насупясь, объявил Молотов, — что перед смертью Потанин принял решение по-христиански со всеми примириться и признал советскую власть. Советская власть, со своей стороны, тоже не имеет к нему претензий. Все в прошлом. Получается, что рассчитались.

В толпе загулял недоверчивый гул.

— Не шибко на Потанина похоже...

— Я, — Савва встрял вполголоса, — с Потаниным виделся накануне. Не собирался он советскую власть признавать, ей-богу.

— Почему вы, Константин Михайлович, в некрологе такой факт не отобразили? — будто б сочувственно спросил Шатилов.

— Мне тогда не сообщили...

- Всё вопили, что Потанин выжил из ума. Получается, так.
- Да кому он это сказал?
- Говорят, чрезвычайно он стал несамостоятельный. Вот и секретарша про то же.
- Чем дальше, тем темнее. Помните потанинское воззвание? «К оружию, граждане! Банды большевистские у ворот!»
- Не цитируйте, помню.
- Якобы это Адрианов за него написал, однако невероятно, он бы не осмелился. Да ведь Потанин, как немощный, хотел себя отдать в заложники! Тоже Адрианов ему приписал?
- Когда-нибудь сметут эту шелуху.
- Напрасны ваши мысли. Наташат еще больше...
- Зобнин оправил костюм, вытер платком плешь и вышел на улицу, перекрестился на надвратную икону Богородицы:
- Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Григория... Пусть земля ему будет пухом.
- Вместе с умершим Потаниным ощущимо осыпалась огромная эпоха. Куски культуры выламывались и затаптывались походя, точно щебень под ногами первомайской демонстрации.

Глава VI. 4 июля, Томск — Нелюбино

Иван починил сарайчик быстро. В хозяйстве рачительной вдовы Софьи Владимировны все подручное имелось, и Иван залатал крышу и навесил дверь даже с удовольствием.

Софья Владимировна прониклась сочувствием к несчастному, якобы обворованному камышловскому кооператору и к миссии налаживанья торговых связей. Вечерами он живописно рассказывал про Урал. Иван прошел его дважды — победно туда и позорно обратно, о чем, разумеется, умолчал.

— Как мужик ты мне не нужен: не хочу привыкать и соседской болтовни не хочу, — предупредила она, да и он с его почесухой счел близость невозможной.

Насчет парохода запало на ум единственное: вряд ли в попутных селах нужны заявления на въезд-выезд, и если так — там получение пропуска на покупку билета можно обойти. Цепкая зрительная память филера перебирала виденные на пристани названия населенных пунктов по Томи и Оби. На близкий к Томску поселок Иглаково он надежды не возлагал: в таких местах, известно, подсаживаются плуты и всякие порченые люди, а у него все должно смотреться естественно. Однако первое после дюжины деревень село Богородское отстояло аж в сотне верст. Туда нужно было в три дня добраться, успеть продать часы и попасть на пароход. Весь расклад опирался на авось, но Иван безотчетно уповал на удачу и рвался в попутчики по меньшей мере к двум чекистам — Шишкову и непременно сотруднику транспортной ЧК, а кожаного мужика на кривой козе не объедешь — это Иван отлично ощущал.

В воскресенье поутру он известил Софью Владимировну о служебном долге общественника все-таки поехать по намеченному плану и с какими ни на есть успехами вернуться в Камышлов.

— Спасибо за хлеб-соль. Пора мне.

— Куда вы теперь?

— Хочу в Богородское.

— Ой! — Она заломила пальцы. — Я сама-то не догадалась вам предложить в Богородское! Вы же на ярмарку собрались? Ярмарка ивановская, богатая, дешево, много товара с севера везут. Вы припозднились. Только, может, маленько застанете...

— Да, не спохватился... Да как добраться-то? Сто верст — далеко-вато, и на пароход без пропуска не садят...

— А зачем по реке? Не по реке, а по дороге! Не сто верст получится, а шестьдесят. Ступайте на перевоз. За рекой дорога напрямик до самой Оби, и сразу за Обью — Богородское. Добрые люди подвезут. А в Богородском крестница моя живет, Настенька Воробьева.

«Два невеликих марш-броска — и я там», — отметил Иван, а вслух сказал:

— Ну и ну! Прекрасно!

— Настенька не пишет, — пожаловалась Софья Владимировна. — Невесть что у них творится... Есть ли и ярмарка-то? В прочие годы была после того, как из Томска икона Богородицы чудотворная возвращалась. А нынче в Томск ее не возят, в городе без Бога жить пожелали... А вы бы мне написали оттуда две строчечки про все, что там есть да что будет, и я бы в Богородское в ноябре уж на михайловскую ярмарку съездила!.. Ох как хорошо-то! Настюхе подарочек отвезете...

Через час Иван шел по Московскому тракту к перевозу и нес в бумажном пакете на поддержание сил полкраюхи хлеба, пять вареных яичек, пучок лука, щепоть соли, а в кармане чуток денег и — «Насте в церкву ходить» — белый ситцевый платок с вышитыми по краям синими цветочками.

Паром причалил к городскому берегу и сразу заполнился пассажирами. Иван расплатился совзнаком, похожим на наклейку с бутылки лимонада, и притиснулся к жерди, за которой две лошади, седая и вороная, покорно ждали, когда их заставят ходить по кругу. Наконец они громко фыркнули и потянули ворот, гребное колесо зашлепало по воде, и паром, чуть сносимый течением, тронулся поперек реки.

Белая лошадь, проходя мимо Ивана, повернулась к нему, и ее сплошь голубые выпуклые глаза попытались его углядеть. Он похолодело вспомнил прошлогодний снегопад на Покров, адский вой и визг снарядов и из дыма прискакавшую окровавленную, с разбитой головой, серую кобылу, рухнувшую в воронку рядом с ним, фельдфебелем Елизаровым, ее жалобное ржанье. Он отступил к перилам, уткнулся взглядом в бурлящую Томь.

Паромщик пошучивал, давил на рулевое весло, с показной небрежностью миновал пережат и ловко привел паром к отмели.

Понаехавшие извозчики с дрожками и телегами дальше Дачного городка никого не везли. Дорога приняла только Ивана. Он ощутил себя свободным. Слепая лошадь мало-помалу из памяти пропала.

После полудня прошагал село Зоркальцево. Рослые светлые сосны остались за спиной, начались поля с березовыми и осиновыми околками.

Иван старался рассудительно отнестись к своим действиям, однако мысли возникали рваные, неудобопонятные. Глубокая тоска так размозила его во времени, что он утратил себя прежнего, перестал ощущать нужду в самом себе и жил потому, что не видел иного исхода. Измысленный кооператор Духонин стремился поскорей забиться в нору, в дыру, где окажется никому не нужен — ни власти любой окраски, ни человеку любого цвета. Его мучила совесть, и он, петляя умом, бегал от нее.

Молодые друзья, все бессмысленно убитые, часто навевались к нему во сне и поражались его живучести, а он так и не научился спокойно смотреть в лицо смерти. Он воспользовался позволением главнокомандующего фронтом генерал-лейтенанта Капшеля — оставить армию кто хочет — побоялся безнадежных боев и походов и скрылся. В Минусинске бывший осведомитель Сашенька Кутузов, мастер на выдумки, изготовил камышловское удостоверение, и заметался Иван по красной Сибири. А надо было идти с Капшелем в Читу, не искушать судьбу, там и русский Китай неподалеку. Он рассчитывал найти старого наставника по сыску, перебравшегося в Томск, вызнать о возможности затеряться в северных краях, но дядю Вадю раньше, при первых чистках города от подозрительных, нашел Шишков и расстрелял вместе с женой и сыном. Счастье, что Иван семьей не обзавелся.

Он был отчаянно убежден, что за все надо платить: если фортуна благосклонно бережет, то способна и негаданный счет предъявить. Встречу с Шишковым фельдфебель Елизаров воспринял как случай, позволяющий пред собой и людьми оправдаться.

У села Нелюбино Иван приустал и спросил старушку, скучающую на лавочке:

- Далеко ль, уважаемая, до Оби?
- Далеко. А вы, уважаемый, не с Томску ль плететесь?
- Точно так.
- Так вы уже верст тридцать отмахали, отдохните... Или срочность какая? Дальше деревень не будет, заночевать негде.
- Отдохнуть бы, конечно... Можно у вас на сеновале?
- А на здоровье! Мне девяностый год, бояться отбоялась. А страшного у нас только комары да мошкá, такие зубастые — не приведи господь! Ну, вы познакомитесь...

Веселая старушка угостила его квасом. Устроясь на сене, Иван со вкусом поужинал, заверив себя, что странствующему есть яйца в пост позволительно, и оставил на завтрак горбушку хлеба и яичко. Спал он, однако, урывками: комарье обрадовалось свежему человеку.

В дреме ему почудилось, что к сену прибрела слепая белая лошадь. Кривой казак соскребал с нее кровь и грязь и говорил: «Это Колчака лошадь, он на ней в Москву желает въехать. Самая подходящая лошадь для Колчака. Имя ей Иоланта. Никто не может сравниться с ней».

Глава VII. 5 июля, Богородское

Ярмарка завершалась этим днем, торг достиг азартного интереса. Почти иссякшие нитки, спички, мыло чудесным образом умножились — на заметку продагентам, не перечившим голосованию за ярмарку. С меняемой на соль керамической посудой расставались без сожаления. Настасья пропадала на базаре, стараясь выгадать если не прибыль, то пользу.

Настин сродный брат Кирилл за десять дней вдосталь нагулялся среди товарного изобилия и остался дома. Он достал блокнот, карандаш и сел у подоконника, позволил себе поработать для потомков — чем на старости поделиться с сыном, пока еще полугодовалым, спящим в коляске во дворе. Жена Людмила помогала Насте торговаться.

До войны крестьянин Кирилл Кабинетский учился на химическом отделении Томского технологического института. Пред последним курсом он решил уйти на германский фронт вольноопределяющимся, воевал достойно, стал подпоручиком, но летом 1915 года попал в плен к австрийцам, в концлагерь. Перенапрягшаяся свыше сил Австро-Венгрия развалилась осенью 1918-го, и Кирилл получил свободу.

Воспоминания начинались не с военной поры, а с возвращения: слишком странным и страшным оказалось то, что привычно называлось Россией, и слишком важно было подыскать нужные слова, чтоб это выразить. Кирилл ощущал себя идиотом. Назойливо помнилось из стихотворения Батюшкова: вернулся он — «и что ж? отчизны не познал». Страна была не чужая, но совершенно другая. Революционные веяния превратились в смерчи, и это, предсказуемое, неузнаваемо переиначило и обесценило людей. Он тут не умел даже притвориться своим. Он не понимал установленных ныне правил, где первое гласило, что правил нет. Ставшее бытовым и естественным отталкивало и пугало. Он не мог с ходу вжиться в недоверчивый мир, привыкший огрызаться, поражающий и настороженными лицами, и деланой речью с тьмой новых слов и значений.

В Малороссии разношерстные украинцы Скоропадского, Винниченко, Махно, красных и белых спорили о своих правдах и жаждали несогласных развеять по ветру — добираться сквозь это безумие со старым офицерским удостоверением, сохраненным австрийцами, значило быть частью безумия. Кирилл уничтожил единственный документ, стал воровать еду и одежду. Шел ли, ехал ли — молился. Ступив на землю, отвоеванную Добровольческой армией, он преодолел искушение к ней присоединиться и двигался так же осторожно. Дальнейший путь он проложил через Грузию и Азербайджан, кипевшие в своих национальных котлах, из Петровска* наметился в Гурьев, но лед на Каспии сдерживал судоходство

* Ныне Махачкала. — Прим. ред.



и мешала помешанная на шпионах английская военная администрация. Наконец в марте девятнадцатого парусно-моторная шхуна взяла его матросом и с контрабандой сигарет доставила в Форт-Александровский. С казачьими оказиями Кирилл достиг Транссибирской железной дороги и в Томске появился в апрельские именины, поджарый, заматерелый. «Тот день описать невозможно», — уверился он.

— Здравствуйте! Извините, Анастасия Борисовна дома?

У окна стоял усатый мужчина среднего возраста с очками наотлет.

— Здравствуйте. Она на ярмарке. Вряд ли скоро воротится.

— Меня попросили подарочек ей передать. И перемолвиться хотел.

— Заходите — подождете. Я вам самовар разожгу.

— Меня зовут Иван Лукич, — сказал гость.

— Кирилл Данилыч.

Они пожали друг другу руки.

— Мы с супругой и сынишкой погостить приехали, больно тут тихо да красиво. — Кирилл вышел на крыльцо.

— А я по случаю издалека, — пояснил Иван, — аж из Камышлова. Потребительского общества приказчик. — И он поведал Кириллу о торговых интересах представляемого кооператива.

— Ярмарку, конечно, изучили от и до, — не усомнился Кирилл.

— Конечно. — И Иван растолковал, чем богородский рынок интересен для камышловцев.

— Приятно встретить человека, увлеченного делом, — улыбнулся Кирилл, Иван разулыбался еще шире, и Кирилл тоже поделился: — Я собирался химиком стать, осталось чуток образование завершить. А сейчас я бочки чиню. Меня австрияки в концлагере научили бочки делать. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Он долго чакал кремнем о кресало под приговорку: «Чак-чак-чак-чак! Ленин, Троцкий и Колчак», растопил самовар, надел ему на трубу сапог и накачал огонька.

— Хлебнули мы... — вздохнул Иван. — Поди-ка, еще не конец. Надеюсь, все у вас образуется само собой, ни на что иное надежды не имею. Только на себя да на Бога уповать... Церковь надо бы посетить — помолиться пред чудотворной.

— Надо. — Кирилл закивал. — И икона чудесная, и храм великолепный... Там и примечательная фреска усекновения главы Иоанна Предтечи: его казнят, а он весь в себе, ему важно мысль додумать. Это не копия, местный мастер по своему разумению написал.

За беседой поспел самовар. Кирилл прикрыл трубу колпаком, заварил чай и поставил на конфорку.

— Чай нас ждет! — закричал у калитки Серафим Воробьев, и за его спиной захлопали в ладоши Настасья с Людмилой.

Иван познакомился с хозяевами и женой Кирилла, растрогал Настасью платочком тети Сони, поведал о себе, с пробудившимся Сережей поговорил, обвел рукой красоты Богородского:

— Благодать у вас! Будто войны не бывало...

С рынка Людмила принесла портативную пишущую машинку. Кирилл растроганно моргал, а жена оправдывалась:

— Кир, такую прелесть за кофту — ну нельзя не взять! Я не удержалась... Дядька словно для тебя притащил. Мы с Настей ахнули: надо же! А кофту я новую свяжу, пряжа есть.

— Тряпки дешево стоят, — подтвердил чуть пьяненький Серафим. — Остяки за коробку патронов оленью парка, прошитую жилами, дают... Только, — он насупил брови, — машинку обмыть бы надо, а то будто несмазанная. И за-ради знакомства по рюмочке. Праздник продолжается!

— Я — за, — отозвался гость, — но мне к вашему начальству... Если появлюсь выпивши — все насмарку.

— У меня нет начальства! — возразил Серафим. — Я анархист!

— Но оно-то уверено, что оно есть. — Иван усмехнулся. — Надо его позволение на мой отъезд, а то везде требуют выездное разрешение... Досадная формальность! Мне бы хоть до Новониколаевска...

— А где ваши вещи? — спросила Настасья.

— Меня от них освободили — саквояж в поезде украли и бумажник тоже. У часов цепочку не успели отстегнуть — проснулся, и вот оно как... Теперь часы пригодятся билет купить.

— Ну нет, — воскликнул Серафим, — часы за билет? Вам же еще дальше ехать! Давайте мы с вашим потребительским обществом сообразим выгодный договор и вам поможем.

— Я только приказчик, — Иван смутился, — я не уполномочен на ответственность документы подписывать.

— Иван Лукич мне много любопытного рассказал, — вставил Кирилл.

— Ну и нам расскажете, — постановил Серафим. — Порассуждаем. Нам тоже важно знать, как люди устраиваются. Вон в городе коли ты не член кооператива, то без карточек останешься и без штанов... Побудете у нас, а завтра к вечеру придет пароход, на нем и отправитесь, проводим. Настя, сбегай с Иваном Лукичом уладь формальность, полчаса тебе на все...

Они ушли, а Кабинетские все рассматривали пишущую машинку.

— Английская, «Корона», а шрифт русский. Гарантия до июля 1917-го. Состояние великолепное, рабочее... Ох, Людмила!

— Сборничек твоих стихов напечатаю, — пообещала она.

— Стихи у тебя красивые, — похвалил Серафим, — но, извини конечно, я Некрасова больше люблю. Или частушки. Вот послушай.

У соседа есть жена,
Ей коммуна не нужна.
Эту бабу тигрую
Я всю разагитирую.

Здорово, да? Весело и жизненно! А у тебя упаднические нотки.

— Я не для развлечения пишу, а потому что задумался. Веселого-то мало. А сейчас я просто о прошлом вспоминаю, о своем, о нашем. В общем, проза.

— Действуй! — Серафим взмахнул рукой, как саблей, и охнул: — Долго они! Может, в конторе чернила кончились?

Иван и Настасья вернулись радостные. На листке, выданном в волисполкоме, значилось: «Разрешительное удостоверение. Представителю сего Духонину И. Л. (Ивану Лукичу) разрешается выезд из села Богородского Томской губернии и передвижение в город Камышлов на Урале по служебной надобности. Председатель Богородского волисполкома Пичугин Г. А. 5 июля 1920 г.», за неимением же соответственной печати притиснули устарелую печать волревкома.

— Странное уточнение про Урал. — Кирилл хмыкнул.

— Из Томска наставление постановлено пресечь из Сибири отъезд труддезертиров, — зачастила Настасья. — Столь наговорили — я не выговорю. Иван Лукич исполкомским разрисовал, где Камышлов, ввек не забудут! Ну, про Урал они согласились... Обязательно приедем к вам, Иван Лукич, очень вы свой край любите — приятно вас послушать.

Глава VIII. 6 июля, Томск — Богородское

Вещи Шишкова перевезли на пароход. Шишков расположился в каюте, отдельной от жены и детей. Савву он все-таки приветил — велел Вронскому, сотруднику транспортной ЧК:

— Пожалуйста, как-нибудь устройте товарища Сенцова.

Савва и Вронский только что вместе носили мебель с шишковской квартиры, он искренне смеялся незамысловатым шуткам двадцатилетнего чекиста, и дружба возникла легко. На правах штатного лица Вронскому полагалась каюта; Савва в ней занял вторую койку. Вронский заключил: в ЧК Сенцов недавно, но чем-то внимание Шишкова привлек и его сопровождает.

В восемнадцатом в Рыбинске Вронский получил специальность механика паровых судов — рановато, потому как при поступлении Кости в училище посмотрели на возраст снисходительно, с учетом заслуг отца, потомственного речника. Тем же летом Костя шагнул в революцию и в ряды Чрезвычайной комиссии, на Восточный фронт. Год спустя на Тавде он прославился участием в угоне у колчаковцев буксирного парохода: угнали его втихую, но рассказ распространялся в версии Вронского, украшенный переодеваниями, abordажем, допросом, расстрелом, а необходимость авантюры объяснялась тем, что на этом пароходе Вронский заранее спрятал золото из екатеринбургского банка. Он скучал, если что-то получалось без картинной лихости. Он мечтал сочинять романы, как капитан Майн Рид, а писал протоколы.

С Саввой он прогулялся по пароходу.

— «Богатырь» может развить скорость до двадцати верст в час и тащится в два раза тише, а в Обь повернет — против течения еще медленней пойдет. — На верхней палубе Вронский в полный голос за-тянул:

Из-за о-острова на стрежень,
 На просто-ор речной волны-ы
 Выплыва-а-ают расписны-ы-ые
 Стеньки Разина штаны.

Сенцов хохотал. Ему нравился влажный ветер и ласкала взор широкая река с долгими зелеными островами и пологими, к горизонту уходящими берегами. Пассажиров возле него с Костей прибывало все больше, им хотелось с высоты увидеть впадение Томи в Обь, однако оно оказалось почти незаметным и они расходились разочарованные.

— Хорошая у тебя работа — на воде, — отметил Савва. — Только пароход шибко шумит. У меня работа тоже хорошая — с землей водиться. Я агроном.

— Мое призвание — революция, — отчеканил Вронский.

— Скорей бы все утихомирилось. — Савва ощупал в кармане пиджака бумажник с мандатом на агрономическое предприятие.

Миновали Большое Брагино. Чекист взял рупор и пошел по нижней палубе, выкрикивая:

— Все свободные от вахты — в кают-компанию! Пять минут на сборы!

Собралось человек десять. Шишков потребовал позвать из пассажиров еще с десятков и, когда заняли все скамьи и стулья и встали у стен, приступил:

— Товарищи! — Он заложил руки за спину. — Я изложу перед вами политическую обстановку. Это действительно важно знать. Внимание!.. Ровно два года назад эсеры разожгли мятеж против советской власти и залили кровью Рыбинск и Ярославль. Товарищ Вронский, здесь присутствующий, видел все собственными глазами.

— Да, товарищи! — Костя поднялся. — Кровища к сапогам липла...

— Спасибо, товарищ Вронский, сядьте. Почему я вспоминаю подлое восстание эсеров, ударивших ножом в спину красной республики? Мы побеждаем, но ненавистники наших побед — среди нас. Мы с вами находимся в прифронтовой полосе и вынуждены жить по законам военного времени. Неважно, что белые засели в Чите, а от Читы до Томска тысяча восемьсот верст. Белая агентура распустила сети и здесь. С неделю назад томская ЧК вскрыла эсеро-белогвардейскую организацию, и вы можете убедиться, насколько активно эсеры сотрудничают с нашими врагами и сами становятся нашими злостными врагами. Эсеры находят союзников только среди бессильных противников Советской страны. Атаману Семёнову осталось недолго поганить сибирскую землю, и предателям революции тоже не будет пощады.

К сожалению, наши карательные органы при охоте на крупных хищников часто смотрят сквозь пальцы на мелких гадов, на тех, которые не стреляют, а клеветают и агитируют. Кое-кто из них высунул свое гнусное жало и открыто пропагандирует контрреволюционные взгляды. На похоронах Потанина якобы бывший эсер Шатилов призывал к обучению молодежи по меркам местного мелкобуржуазного движения — областничества, которое провокаторски называет себя социалистическим. Почему же бывший министр Сибирского правительства Шатилов льет тут яд, почему он на свободе? Мы из гуманизма и из практических целей используем его как специалиста по инородцам, пусть бы преподавал в университете, но после его подлой речи мы видим, чему он хочет учить, и на этом грязном пути мы его остановим, будьте уверены.

Недалеко то время, когда благодаря ЧК и Красной армии последний предатель и последний белогвардеец кончат свою жалкую жизнь от нашей пули или сбегут за кордон. Белые захлебываются в бессильной злобе. Психопат атаман Анненков со своими бандитами скрылся в Китай и перебил всех тех, кто хотел остаться, — вот каковы отношения среди белых! Создать какие-то государства в пределах России белякам не удастся — ни Семенову в Сибири, ни черному барону Врангелю в Крыму. Лезет к нам и польская шляхта, лезут японские самураи. Японцы отчаянно мешают социалистическим отношениям в нашей союзнице Дальневосточной республике, они навязывают ей положение о надклассовом сотрудничестве. Это то, к чему у нас призывал Потанин, но наш рабочий класс, опирающийся на научную теорию Маркса и Энгельса и на практические разработки товарищей Ленина и Троцкого, не дал себя сбить с единственно верного пути. Впереди, товарищи, тот день, когда мы сметем читинскую белогвардейскую банду и скинем в Тихий океан японских международных налетчиков. Вместе с Дальневосточной республикой в едином порыве беззаветного труда мы ступим на путь ликующего коммунистического строительства. И вам, товарищи, придется показать на деле, какие вы сочувствующие.

Вронский заплодировал, Савва и остальные присоединились.

— Спасибо, товарищ Шишков, за ясное раскрытие текущего момента. — Вронский сжал кулак. — Про здешних партизан разъясните тоже, пожалуйста, почему Плотников на Алтае пользуется поддержкой, целую армию крестьян набрал.

— Это анархисты и кулачье, для них любая власть в тягость. Они воевали с Колчаком, теперь пытаются воевать с нами. Это никакая не армия, это даже не крестьяне — это банда грабителей и мироедов. Настоящий крестьянин давно понял правоту марксизма и ленинской политики, крестьянин держится за смычку с пролетариатом, крестьянин знает, что без рабочего класса он и иголку не получит. Но даже трудящаяся деревенская беднота нуждается в постоянном политпросвещении. Здесь на очереди две задачи: ликвидация кулачества и ликвидация неграмотности. — Шишков одернул френч. — Все свободны, и услышанное передайте товарищам. Товарищ Вронский, задержитесь...

Все удалились. Шишков бесстрастно высказался:

— Вы провоцируете граждан на ошибочные мысли, из-за таких мыслей граждане не чувствуют советскую власть сильной. Это опасно. Примите на ум, что возможно обсуждение острых вопросов в узком кругу товарищей, но оно непозволительно где-либо еще. — И он присовокупил замечания и оценки, щекотливые для самомнения Вронского, обычно успешно говорившего на митингах.

Перед Саввой Вронский возник с усмешкой и прежним ерничаньем, однако раньше на стоянках он пристально проверял выездные разрешения, не позволял кассиру нарушить постановление даже для палубных пассажиров и оставлял бедолаг на берегу, а после шишковской выволочки помялся возле товарища и грубовато проронил:

— Сенцов, поповерьяй документы, не должен я этим заниматься. — И ушел в машинное отделение.

Савве не нравилось, что у людей требуют разрешение на поездку куда б то ни было, тем более в соседнюю деревню. В предъявляемое он еле заглядывал и под одобрение кассира пропустил умоляющих женщин с ребятишками, и еще кого-то, и еще кого-то...

В селе Богородском многие вышли и многие зашли. Народ спешил, на сходнях толкались, и шумный провожающий мужчина, окликаемый как Серафим, кричал другу:

— Поскорей возвращайся!

Савва изумился: отъезжающий кряжистый мужик с густыми пепельными усами, в очках с поломанными дужками и сером сюртуке был ему знаком по томской заразной больнице. Усатый тоже смотрел на него ошарашенно. Савва мельком глянул в его бумаги и царственно их отодвинул:

— Проходите, Иван Лукич, я вас знаю.

— Без билета? — осведомился кассир, утром пропустивший и Савву.

— С билетом! — дернулся Иван.

Он расплатился и продолжал с друзьями прощаться и после гудка, и после того как пароход отчалил и вырулил на фарватер. Савва, терпеливо постояв в сторонке, приблизился к Духонину и полюбопытствовал:

— Простите, как вы сюда попали?

— Пешком.

— Не может быть!

— Может, — веско бросил Иван и с неприязнью поинтересовался: — Извините, я слышал ваш разговор с доктором Сибирцевым. Вас в ЧК вызывали, чтоб на службу взять?

— Да нет! Они меня спрашивали, зачем я к Потанину заходил, а затем отправили в заразную и велели вернуться. Сказали сопровождать Шишкова в Новониколаевск: все равно, мол, ты с Кулунды...

— Ну и что — с Кулунды?

— По дороге. Вещи помогаю таскать.

— Дивны дела Твои, Господи! — пробормотал Иван и перекрестился на тающий из виду храм. — Ох, Сенцов! Вы где тут обретаетесь?



— К транспортному чекисту Вронскому Шишков подсел. Вронский думает, что я тоже из ЧК, у сходней меня поставил.

Савва проводил пассажира до нужной каюты. В сумерках вернулся Костя, толкнул его плечом:

— Скучаешь? Я тоже затосковал. Душа горит по судоходству, сходил с машиной пообщался. При старом режиме меня в сапожники готовили, я ж из приюта, там только на сапожника учили. Мне там и фамилию дали — из романа Льва Толстого «Анна Каренина», и отчество — по покойной старушке Александре Григорьевне, которая этому приюту основательница. А я оттуда удрал, по Волге до Каспия путешествовал и по Урал-реке до Орска, потом в речное училище поступил...

Костя живописал биографию без предков, с коллективом от пеленок, с вольными странствиями, свободой выбора. Он перестал сочинять, досказав до женитьбы на красавице Нине, лишь признался, как не выполнил приказ — не взорвал пароход, чтоб не погиб лоцман, отец будущей супруги.

Глава IX. 7 июля, Дубровино

Началось с того, что в селе Вьюны волостное руководство отняло все подводы и сверх прошедшей продрозверстки постановило сдать еще сто пудов муки и тридцать шесть коров. Разнесся слух, что Кольвань и Новониколаевск подняли мятеж. Шестого июля рано поутру сельчане арестовали местных большевиков, посадили их под замок, собрали отряд и подались помогать Кольвани. Город сдался бунтовщикам и оборвал телеграфную связь с Новониколаевском. Объявили мобилизацию в повстанческое войско и окрест разослали предписание свергать коммунистов.

Под утро 7 июля восстало Дубровино, село на Оби в двадцати двух верстах от Вьюнов. Мужики взяли сонными начальствующих, членов комячейки, их семьи и всех заперли в амбаре. В коммуне «Интернационал» случилась перестрелка: одного из сопротивлявшихся убили, другого избили до полусмерти. Своих ружей насчитывалось едва ль два десятка. Взломали гарнизонную кладовую и забрали оттуда около сорока винтовок, несколько револьверов и два пулемета; большинство оружия отдали во Вьюны. Ковали пики. Брали вилы. Гуляли слухи, что большевики в Новониколаевске, Омске и Томске свергнуты — это грело.

Кольванские попытались захватить станцию Чик — перерезать западный путь железной дороги на Новониколаевск, но были рассеяны огнем винтовок и пулеметов.

Число восставших росло.

Иван не ожидал, что Шишков едет с женой и детьми; хоть то хорошо, что занял отдельное помещение. Нож у Ивана был короток, новый у Воробьевых он не попросил — постыдился это сделать в семье, его приветившей, и теперь обдумывал украсть нож на камбузе или снять топорик с пожарного щита. Но пропажу быстро заметят, а когда удастся столкнуться с Шишковым, он предположить не мог. Первый вечер он

пожертвовал, чтоб по возможности все рассчитать, и ничего не сочинил, ночь глупо спал, утром зря сторожил Шишкова на свежем воздухе. Времени осталось лишь до вечера.

В полдень «Богатырь» пришел в Дубровино. Шишков, его супруга и ребятишки глядели со средней палубы на маленький дебаркадер, обветшалый, в облезшей синей краске, с темным пятном от снятого со стены спасательного круга.

— Простите, — Пленков, капитан судна, наконец осмелился приблизиться к революционеру, — писатель Вячеслав Шишков вам не родственник?

— Не знаю такого.

— Славные рассказы пишет. — Пленков медленно и боком удалялся. — В томском округе водных путей сообщения инженером долго работал, в Питере теперь. И младший брат его — наш же инженер. Вячеслав Яковлевич да Дмитрий Яковлевич — прекрасные люди.

Чекист недовольно дернул шеей.

Матросы кинули на пристань концы канатов, швартовщики их поймали, подтянули пароход к причалу и закрепили канаты на тумбах. Положили мостки; приехавшие сошли на берег. Кассир и Вронский встали на контроль.

— Нет никого, — удивился кассир и вдруг вскрикнул: — О господи! Из-за домов и заборов к «Богатырю» бросились мужики с винтовками и пиками.

Вронский отшатнулся в коридор и ринулся в машинное отделение.

— Повстанцы! — Шишков схватил жену за руку. — В каюту! Там револьвер! Живыми не дадимся! Живых возьмут — замучают!

— Нет! — Она прижала к себе детей.

Она предавала его — в девятьсот пятом обещала, что они жизнь покончат вместе, но и он уже ничего не хотел выяснять.

— Дура! — сказал он привычно и побежал вниз.

Стоявший на баке Иван метнулся к пожарному щиту, сорвал топорик, однако догнать беглеца не успел, стукнулся в запертую дверь и заорал:

— Александр Васильч!.. Шишков! Открывай!

Грохнул выстрел.

— Ах, сука! — Фельдфебель Елизаров с размаху вонзил топор меж дверью и косяком. — Убью, сволочь! Убью! — Парой ударов он сбил щеколду, вышиб дверь плечом и впал в каюту, но опоздал: Шишков распростерся на койке в окровавленной рубахе, с простреленной грудью. — Сволочь! Трус поганый! Сволочь!

Карманный наган — «Сашку Шишкову. Помни Харьков» — лежал у мертвеца на животе. Иван сунул револьвер в сюртук и выскочил прочь.

Тут его остановили:

— Стой-ка, мил человек! И топорик отдай. Сейчас нам все докажешь... Это кто? Это ты его? Оружие где?

Он отдал наган.

— Тебе уже без надобности, а нам пригодится. Еще что есть?

Он отдал и ножик.

— Так кто это?

— Это томский чекист Шишков, известный. Я хотел его прикончить, да он сам...

— Испугался тебя, значит. Ну а ты кто? Нас увидал и сразу чекиста взялся убивать...

— В каюту зайдите, — издали обронил белесый мужчина лет пятидесяти, телосложением похожий на Ивана, с усами и остренькой бородкой по моде.

— Вадим Васильич! Вот наган и нож.

— Разберемся.

Ивана завели обратно. Мужчина снял фуражку лесничего и представился:

— Подпоручик Бородаевский, секретарь временного дубровинского революционного крестьянского комитета обороны против большевиков.

— Я возвращался с богородской ярмарки. — Иван предъявил удостоверение приказчика и выездное разрешение. — А тут Шишков, чекист, про него пассажиры говорили, пальцами тыкали. Он моего друга со всей семьей расстрелял... Вы — на пароход, а я к нему, думал, что он спрятаться может, зарубить его хотел, душа взыграла. А он сам всех опередил, гад.

— Ясно, испортил вам песню. Может, и правда. И дверь вы ломали, и застрелился он сам. Все очевидно... Воевали?

— Нет, зрение плохое.

— Позвольте очки. — Бородаевский надел очки и прищурился. — Дальнозоркость... Кажется, я вам верю. Знаете почему? Оправа у ваших очков лучше всяких документов. На чекистском жалованье вы, точно, не состоите.

Иван скривился. Бородаевский вернул ему очки и нож.

— Последний вопрос: кто здесь из транспортной ЧК?

— Нужно команду поспрашивать.

— Я никого не хочу допрашивать, меня дома жена ждет, два сына ждут. Будет надо — всех поспрашиваем, но вы ответьте. Вы в Богородском садились? Кто выездное проверял? Описать его можете?

— Описать? — Иван помолчал, словно вспоминая. — Да я фамилию слышал: Вронский.

— Отлично! Только не могу ж я кричать: Вронский, зайдите, пожалуйте...

— Ну-у... молодой, высокий, волосы темные... — Приметыгодились и для Сенцова, и для Вронского. — Если б вы меня попросили женщину описать — ради бога, а на чекистов глаза б мои не смотрели.

— Ладно. В нашу армию не хотите?

— Домой надо.

— Ясно, не хотите. Пока отдыхайте. Пароход мы не отпустим. — Бородаевский обернулся к соратникам: — Чекиста в овраге закопайте рядом с коммунарами. Арестованных перевести на судно, поближе к



гальюну, тут все-таки условия получше. Опасных — в кают-компанию. Отберите для охраны тех, кто пожелает. Марш-маршем — исполнять!.. Тимофей! Дай-ка мне топорик, он для пожарных нужд. Я знаю, где он висел, туда и повешу: всякой вещи свое место. Все запомните: на пароходе и у пассажиров ничего не трогать!

«Не удалось! — стучало в голове. — Не удалось!» Шишков убит, Шишков мертв, но это он сделал сам, он избежал наказания. Он самоубийца, страшный грех совершил — православный Иван не мог бы с собой покончить! — однако безбожник не воспринимал это как что-то ужасающее: он спокойно убивал других, умертвил и себя.

— Пойдем, господин хороший, — позвали Ивана, — вы мобилизованы по хозяйственной части.

С Саввой беседовал Иван Ананьевич Дедюхин, задумчивый, в движениях осторожный.

— Верните мне удостоверение и мандат! — возмутился агроном. — Он вам ни к чему, а мне жизненно необходим!

— Я его отдам, если ты исполнишь свою гражданскую обязанность в боевых рядах обороны крестьянства. Вот я кладу документы в карман, и когда мы прогоним большевиков, всё получишь обратно.

— Вы что себе позволяете? — вопиял Савва. — Да у вас самих методы большевистские! Мобилизация, ЧК своя! Ничем не отличаетесь!

— Ты не ори. Ты, может, не агроном. Почему ты ехал в одной каюте с чекистом?

— Как распорядились, так и поехал.

После такого разговора его заперли в кают-компанию.

В машинное дубровинцы наведались в последнюю очередь. Механики, с коими Вронский дружески и свойски вчера поболтал, успели забросать его углем. Мужики поглядели по углам, отобрали оставшиеся четыре ведра пива, приказали загасить фонарь и выгнали всех наружу.

Костя затаился и даже сумел выспаться, только руки и ноги невероятно затекли.

— Ты тут? — услышал он. — Это Михаил, старший механик. Подыши хоть, а то неизвестно, сколь это будет длиться.

Посыпался уголь.

— Наверху стемнело? — Потный и грязный Вронский вылез из угольной ямы.

— Скоро уже... Меня за курткой отпустили. Я уж надеялся, ты сбежал. Проще сбежать, чем невесть чего дожидаться.

— Много их?

— То ли двадцать, то ли меньше. С винтовками только четверо, остальные с пиками. Да из них многие спать по домам собирались, всё скулили: хоть пару часиков, да по уму.

— Советуешь сбежать? — Одному вроде скучно... Которые с винтовками — где стоят?



— На баке, у трапа, на юте и в рубке.

— В рубке — это плохо... Сенцов где? Чекист, чуть постарше меня, моего роста, Шишкова сопровождает.

— Не припомню такого. Мы ж тут в своем пекле, а что на белом свете деется — нам иногда и ни к чему, и слава богу... Шишков твой застрелился.

— Ух ты!.. Пленков где?

— У себя в каюте. Команду для чего-то на пароходе оставили, а пассажиров в село увели.

— Пленков пусть в рубку поднимается: забыл, мол, что-нибудь. Скажи ему: отчаливать будем.

— Как — отчаливать?!

— Как всегда... «Богатырь» на якорь не вставал?

— Похоже, не вставал. Пленков не любит якорь травить, если ненадолго.

— То что надо! Пешеходы, олухи, не догадались!.. Я у лестницы угольный топор видел, нашарь, под курткой прихвати — концы рубить; другой топорик на пожарном щите возьмете. А Пленков пусть в рубку идет все равно, что-нибудь сообразит: нужно, чтоб у штурвала понимающий стоял. Двадцать минут вам всем на сборы. Начну стрелять — убирай трап! Канаты отрубите — «все по местам! последний парад наступает!» Сразу запуская машину. Кому непонятно — расстреляю.

— У! Нататорил...

— Кого убью — берите его винтовку, отстреливаться придется.

Михаил надел куртку, сыскал топор, приладил его за ремень и ушел.

За день Вронский постарался все просчитать, все прокрутил в воображении, как пленку в кинематографе. «В нагане семь пуль, — подумал он, — четверо с винтовками — ерунда. Хуже, если еще набегут». В послушность и смекалность команды он не верил, но, по крайней мере, дал знать, к чему готовиться. Он крутанул барабан револьвера, и ему стало весело: «Будь что будет!»

Чуть перетерпев назначенное время, черномазый, с наганом в вытянутой руке, он появился в проходе перед трапом. Сапоги с подковками предательски цокали. Часовой обернулся, ойкнул и вскинул берданку. С трех метров Вронский не мог промахнуться — пуля вошла в испуганное лицо и мужик, роняя оружие, свалился на палубу. Везде всполошились: с берега бросились к пароходу и с двух концов коридора нарастал топот, ругань и драка. Трое с пиками толкнулись в проход, один ткнул копьём в Костю, тот выстрелил, копейщик упал ему в ноги, другие двое приостановились, и матросы навалились на них и уронили на пол.

— Трап! — заорал Вронский. — Трап в реку!

Первому ступившему с дебаркадера на сходни он попал в живот. Кто-то рядом с ним пальнул из винтовки по наступавшим и тоже попал. Несколько матросов спихнули трап. С кормы ударил выстрел — отчаянно старавшемуся маленькому речнику пуля пробила плечо. Другой выстрел раздался в рубке.

— Пленков! — зашумела команда.

С берега пошла густая пальба. Зазвенели разбитые стекла.

— Руби швартовы! — закричал Костя и увидел Михаила. — Дай топор! Я на ют! Кто с винтовкой — на галерею! Уберите партизана с бака! С пожарным топором кто?

Косматый парень стукнул топориком себя в грудь.

— Быстро на бак! И Пленкову помогите! И сдуру на палубе не ма-
ячьте!

Он взмыл на галерею, выскочил по ней к юту, прицелился в долгов-
зый силуэт, присевший за тумбами, перелез через ограждение и прыгнул
вниз. «С револьвером и томагавком», — увидел он себя со стороны.

— Сдаюсь. — Мужик положил винтовку.

Вронский отшвырнул ее к борту (ее схватили и унесли), сунул наган
в карман и рубанул канат. Пули свистали, одна другую догоняя; две впи-
лись ему в левую руку, но он лихо кромсал просмоленную пеньку, пересек,
выкинул конец в воду и, гордо поворотясь, ушел насмешливым камарин-
ским шагом.

— Везучий ты! — восхитились матросы, однако у Кости сквозь гим-
настерку сочилась кровь: прощальная пуля прошила бок и прошла неглу-
боко.

— Механики, — торопил Михаил, — по местам!

— Партизана на баке мы кончили, — сказали Вронскому, — только
Изотова шибко задело.

— А швартовы?

Пароход чувствительно поддался течению. Обстрел ослабел.

— Отрубили. Сейчас уйдем.

— Пленков жив?

Он ждал хорошего ответа и получил со смехом:

— Живей живого! Он же капитан «Богатыря» с семнадцатого года!
Отдаст он пароход, дожидайтесь! Партизан стрельнул было, а Пленков
одной рукой дуло нагнул, а другой партизану по роже надавал в знак
отеческого увещания! Парнишка весь изрыдался.

«Богатырь» зашлепал плечами, запыхтел и двинулся от Дубровина.

— А Савва Сенцов где? Чекист при Шишкове...

— Друг твой? Недавно тут был арестованный, его освободили.
Перевязать тебя надо, починить...

Вронский прошелся к противоположному борту.

— Туда посмотрите, товарищ чекист, — ему показали на Обь, — со-
трудник ваш в реку сиганул, к бунтовщикам плывет!

— Не может быть! — Он обомлел. — Сенцов, вернись! С ума со-
шел? Сенцов, пойдешь под трибунал! Убью! Сенцов, гад! Ты зачем?... —
Вынул наган, но стрелять в темную воду счел бесполезным: река все гуще
сливалась с землей и чернеющим небом, полукруг луны отражался в вол-
нах слабыми бликами, увидеть Савву было уже невозможно.

Плавать Савва чуть наловчился на Волге в пору учебы в Казанском земледельческом училище, однако, нырнув, с испугу наглотался воды и выдохся. Близко перед глазами плескался дебаркадер, и слышались крики одобрения, но сносило течением, а полусапожки и намокшая одежда тянули ко дну. Он хотел позвать на помощь, хлебнул волну, замахал руками и погрузился в Обь.

...Очнулся он с сильной болью в груди и увидел вооруженных мужиков и подростка.

— Ну, слава богу! Очухался! — произнес тот. — Свечку поставь Николаю Чудотворцу. Повозился я с тобой, пока откачивал!

— Молодец, Андрюха! — похвалил его грузный мужчина с дробовиком. — Я думал, он не выживет. Думал, ты его добьешь, ребра переломаешь.

— Смешно вам, дядя Митя, а сердце-то я разогнал!

— Я шучу, не обижайся! Я тобой горжусь.

— Ты че-то понимаешь ли, че ли? — Андрюха потряс его за плечо. — Как тебя звать?

— Савва.

Сильный кашель затряс его, заставил перевалиться на живот; он долго кхекал, потом с трудом сел.

— Андрей и вытащил тебя, — молвил кто-то. — За здоровье Андрея свечку поставь.

— Плаваешь как топор, а удрать от коммуняк все-таки рискнул, — сказал другой. — Ну и правильно.

— Мне нужен Дедюхин, — выдал Савва.

— Спит, наверно, твой Дедюхин. Утром найдешь, не беспокойся. Иди сам поспи где-нибудь, оклематься надо, все-таки с того света вернулся.

Глава X. 8 июля, Дубровино

Андрей Аверьянов, пятнадцатилетний глава семьи (две сестры да мать с бабушкой), взялся Савву опекать — устроил ему ночлег и пищу, а поутру новые друзья отправились искать Дедюхина и по ведомым Андрею приметам нашли делопроизводителя в хлебозапасном магазине, называемом мангазейей, большом амбаре с ларями под зерно.

Возле узкого оконца Дедюхин, Бородаевский и еще человека четыре спорили и нервно теребили листы шнуровой книги учета.

— Иван Ананьевич! — Андрей выставил Савву вперед себя. — Верните ему мандат, пожалуйста! Он агроном, ему для ученой работы надо.

— Эта бумага выдана большевистской властью и законной силы не имеет, и ничего ученого в ней нет, — отрезал Дедюхин.

— Тем более отдайте! — Андрей настроился биться до победного конца. — Он сам знает, что с ней делать, а вы-то канцелярист!

— Он себя еще не оправдал, — набычился Дедюхин, — он должен крестьянство защищать.

— Отдай, Ананьич, жалко его, — смилостивился Бородаевский, — парень из-за этой бумажки чуть не утоп. Так? — Он покосился на Савву.

— Так.

— Я тебя понимаю, сам в Харькове земледельческое кончал... Но ты ведь против большевиков?

— Да.

— Значит, будем биться с ними до последнего. Сегодня соберем людей и поедешь на пароходе вниз по Оби, надо на севере народ подымать. К полудню будь на пристани... там и покормят. — Бородаевский все уже решил и в Саввином слове не нуждался.

— Где мой мандат? — Раздраженный агроном подступил к Дедюхину.

Тот нехотя достал из кармана удостоверение и распоряжение и сунул Андрею. Тот прочел написанное в мандате и уважительно возвратил документы хозяину.

— Дай-ка глянуть, что там такое исключительной необходимости, — велел Бородаевский и, подержав распоряжение перед собой, вскинул взгляд на Сенцова: — Ты продкомиссару Иванову-Павлову знакомый?

— Я к нему за этим разрешением приходил.

— Это тот губкомиссар Иванов, который на наш хлеб рот раззявил, — объявил Бородаевский, помахав листком. — Это он армию с обысками на нас напустил, и фураж сдавать заставляет, и сено, и все на свете, и засудить грозит... А ты к нему, значит, просто так заявился, и он просто так подписал. Ты, друг ситный, или счастливый сумасшедший, или большой прохвост. Если в тебе поглубже покопаться, что-нибудь еще найдем?

— Ищите.

— Он же агроном! — заступился Андрей. — Он ради односельчан старается! Он же не знал, что мы большевиков будем свергать!

— Ишь ты, ангел-хранитель! — Бородаевский усмехнулся и вернул бумагу. — Вот и смотри за ним в оба: странный он... А на пристани чтоб был как штык! Марш-маршем отсюда!

Андрей с Саввой пошли в церковь.

— Продкомиссар, поди-ка, сразу понял, что ты можешь эти самые морозостойкие злаки... — сказал Андрей. — Я тоже хочу в агрономы.

— Умный выбор! — одобрил Савва. — У вас и условия пригодные, если только почва не очень глинистая. А у нас на Кулунде и озер много, а с водой все равно худо. Чернозем бранить не буду, какой уж есть на суглинке — и то спасибо. А в окрестностях, ближе к киргизам, солончаки. Ячмень — тот способно приживается, он неприхотливый, а что иное высеять — беда. Полынь одна. Солоди опять же — соль да пыль, хоть плюй в нее!.. Агрономия — наука очень важная, а главное, практическая! Увлечешься. Посмотришь, та же лесостепь, а характер почвы разный. Или: трава одна со своим характером, а рядом с ней совсем другая уживается. Если приглядеться, все можно людям на пользу повернуть.

— Ну конечно! — Парнишка готовно согласился. — Ананьич если сам в агрономии не разбирается, то она для него не наука!.. Я читать-то

люблю, а книг учебных нет, в Дубровино только церковно-приходское — три класса и дополнительно могут позаниматься. А дальше Колывани я нигде еще не бывал. От семьи не оторвешься: отца нет, я за старшего. Но я же не старик еще, успеется!.. — Спросил шагов через двадцать: — Как же вы почву до ума доводите?

«О! — Савва восхитился. — Чутко слушает, въедливо. Станет агрономом!» И ответил:

— Обычно года через три землю под пар оставляют: рыхлая почва влагу хранит лучше и плодородней становится, прет из нее как на дрожжах и обрабатывать сподручней... Ты с местным полеводом разговаривал?

— Поговоришь с ними! И участковый во Вьюнах живет, и помощник!

Савва обрадовался ученику, стал обстоятельно рассказывать о том, что у них под ногами, и к утрени они с Андреем опоздали.

В деревянной неухоженной Никольской церкви в день супругов Петра и Февронии мужчин оказалось мало, а женщины взволнованно обсуждали вчерашнюю стрельбу, плакали по убитым и увезенным, тихо и зло ругались.

— Перестаньте браниться! — укорил псаломщик. — Стыдно вам!

— Ох, правда! Прости, прости!

— У Бога просите.

Служба завершалась. Спасенный помолился Николаю Чудотворцу за Андрея и за себя.

— Андрей! — подозвал священник. — Ты знаешь, где наше начальство?

— В мангазее, они про семенное решают и про общественную кормежку. А с полудня Вадим Васильич собирался на пристань — пароход вниз по Оби отправлять... Вы воинство благословить хотели, заодно б и пароход...

— Быть по сему. — Священник перекрестился, снял поручи, епитрахиль и положил на лавку подле сумки. — Командир из тебя станется хороший.

— Что ж творится-то, отец Константин? — Худенькая женщина в черном платке всхлипнула. — Только-только замирились — и опять кровь лить?

— Дьяволу должно противодействовать, покуда не сгинет, — твердо изрек настоятель. — Церкви закрывают, Бога поносят, крестьянство избывают, человека в скотину превращают. Если не вернуть человеку человеческое, последние времена настанут, зверь придет править скотиною. Вы ж этого не хотите?.. Давеча комиссар колыванский чистосердечно обещал мне храм снести, а нас с Николаем в реке крестить так, чтоб не всплыли. Я ему верю.

— Ой-ой-ой! — взвыла женщина и вышла.

— Что ж нам делать-то? — прошептала другая.

— Только что говорил вам, а вы не слушали! Свои беды слушали, а слова апостола не слышали! «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». Если все разойдетесь по своим углам, там попу-

сту и пропадете. Идите и задумайтесь над собой. — И, когда прихожане удалились и псаломщик Николай ступил на паперть под солнышко, отец Константин, сильный мужчина пятидесяти лет, вновь обратился к Богу: — Господи, воззвах к Тебе, услыши мя... Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею — жертва вечерняя...

По пути к причалу Андрей хлопнул себя по лбу, приказал Савве: «Жди на пристани!» — и стремительно убежал, а тот побрел дальше.

У дебаркадера стоял буксир «Репин» и собралась разношерстная толпа, силком снятая с проходивших пароходов и ждущая обещанную пшеничную кашу с маслом, мясом и хлебом. Духонин тосковал вместе с прочими. Завидев агронома, он пошлепал ладонью по бревну, приглашая сесть.

— «Богатыря» нашего вчера угнали! — сообщил он.

— Это Вронский все устроил, чекист, — отозвался Савва.

— Ох, Сенцов! — Иван воззрился на него, помолчал, покачал головой. — Укрепите меня в подозрении: не вы ль с «Богатыря» прыгнули?

— Я.

— Зачем?

— У меня здешние разрешение на участок отняли — я его забрал.

— Боже мой, боже мой... — забормотал Иван. — Я думал, что меня уже ничем не удивить, однако вы мастер... Вы совершенно не понимаете, что своим скачком дорогу назад себе закрыли? Какой теперь вам прок от этой бумажки?

— Все-таки нужный документ. — Агроном почесал затылок, а Иван внезапно засмеялся, и его собеседник оторопел: — Вы что?

— Уйдите с глаз моих, вдруг ваша дурь заразная.

— Я б как есть домой ушел, — вздохнул Савва, — да, может быть, нас с вами на вон тот пароход погрузят, вниз по Оби отправят народ бунтовать...

— Серьезно? Это б хорошо! От Богородского в Томск прямая дорога есть, мобилизованные при первой возможности разбегутся. Затея с пропагандистами глупая.

— Мне в Томск нельзя. — Савва опечалился. — Мне в ЧК запретили в Томск приезжать.

— Вы и чекистов доняли! — Иван расхохотался. — Прекрасно!.. Да вам сейчас никуда нельзя! Оставаться тоже не лучше. Скверно тут все устроено. Непонятно, на что господа мужики надеются. Считаю, пропащие. Размозжат их как щенят.

Из проулка выскочил запыхавшийся Андрей с сияющим лицом и листом бумаги. Остановясь возле, он все лыбился, наконец отдышался, произнес:

— Спасибо вам огромное, Савва Георгиевич, за науку. А я для вас добыл кое-что, — и торжественно протянул лист, где значилось: «Дано настоящее разрешение представителю революционных крестьянских сил Сенцову Савве Георгиевичу на организацию опытного участка по выращиванию морозостойких зерновых. Председатель временного революционного крестьянского комитета Зибельман. 8 июля 1920 г. Дубровино».



Глава XI. 8—9 июля, Дубровино — Киреевское

На «Репине» поместили троих пассажиров с «Богатыря», согласных агитировать за крестьянский комитет обороны, снабдили едой на сутки и направили в сторону, обратную той, куда они ехали прежде. Савву взяли на борт, как агронома, знаменитого отчаянным побегом, и ныне как бы непременно члена губернского по крестьянским делам присутствия, Духонина присчитали по их знакомству, третьим определили Крашенинникова, худощавого инженера с усами и залысынами, похожего на великого князя Михаила Александровича. Бородаевский выказал уезжающим полное доверие и в братском напутствии попросил отнестись к вверенной задаче страстно. Отец Константин благословил их на борьбу со злочинцем и призвал не сомневаться в успехе, ибо для Бога все возможно. Руководить поездкой вызвался хромой хриповатый дубровинец Незнамов, бывший водник.

— Господа! — заговорил он, едва буксировщик отдалился от села. — Я ваши чувства прекрасно понимаю. Вы люди вольные, и даю вам слово, все разойдетесь по домам уже завтра. Почему завтра? Потому что хлеба у нас на один день, угля на сто верст. В Вороновскую волость большевики понагнали части особого назначения, там пойдем без остановок долго и шибко. Идем мы без груза и вниз по течению, так что сумеем добраться до Киреевского или Богородского, а оттуда для вас беспрепятственная дорога на Томск. Раньше Киреевского нам расставаться без толку. Где надо, мы всё сделаем славно. Вопросы есть?

Вопросы задали колкие, но мелкие: лечь где? укрываться чем? Незнамов предложил потесниться в кубрике или расположиться в носовой части среди балластных мешков с песком, а укрыться нашлись лишь старые кители и брезент. Команда буксира, жаждавшая добраться в Богородском до телеграфа и дать знать о себе в пароходство, согласилась пока потерпеть и не бузить.

Незнамов всех подкупил откровенностью, хотя и коварно слукавил: через первую же деревню, жившую извозом Ташару, шел Московский тракт; всего в тридцати верстах отсюда находилась железнодорожная станция Ояш. Ташара — для троих страдальцев лучший вариант уйти — возникла по правому борту, скралась в ничтожный ворох серых изб и скрылась позади.

Савва на корме рассеянно играл с рекой, подставляя руку под щекощущие брызги.

— Саввушка, Савва! Где твоя слава? — скучая, продекламировал Иван, а Савва гладил реку и на беседу не склонялся.

Он корил себя за то, что запомнил про девятый день со смерти Потанина — был в церкви и не подал поминальную записку по рабу Божьему Григорию. «Прости меня, Григорий Николаевич! Воистину, несть человек, иже жив будет и не согрешит».

Пароход двинулся узкой полосой воды возле острова. Из прибрежной рощицы загрохотали винтовочные выстрелы. Вышедший подышать



кочегар рухнул с пробитой головой. Сидевший на канатной бухте инженер Крашенинников взбросил руки, ткнулся себе под ноги да так и остался, будто молится. Двое матросов схватились за животы, завывали от боли и осели на палубу, остальные спрятались кто где. Иван залег за тумбы. Савва сполз вниз и вытянулся вдоль кормы.

— Полный вперед! — заорал капитан.

Буксир заурчал, часто закашлял, но быстроходней не стал.

— Пристать к берегу! — закричал кто-то невидимый. — Проверка личностей!

— Командир! Сволочь! — Незнамов высунул рупор в оконце рубки. — За нападение на курьера ответишь в Томске, тварь!

— Предъявить документы! — продолжал невидимый. — Бомбу брошу!

— Я тебе в ЧК, сука, нужный документ выну! — отвечал рупор. — Тебе, гнида, товарищ Берман лично зенки повышибает! Гадье анархистское, падла, мразь! Под расстрел пойдешь, иуда! — Незнамов владел длинным рядом ругательств и умело сводил их с краткими угрозами.

Пароход удалялся. Невидимый чуть задумался и оставил за собой последнее слово:

— По голосу огонь!

Рубку прошило пулями, стекло с пронзительным звоном разлетелось на осколки и посекло Незнамову лоб. Рупор из рук выбило. Он отскочил в дальний угол и пустил тихую одиночную брань. Рулевой присел на корточки, зажал разорванное пулей ухо, потом привстал и схватил штурвал:

— В гребь всех вас и войну вашу!.. Поймают — конец!

— Будьте вы все прокляты, — прошептал матрос с огромным темным пятном на рубахе, закинул лицо к солнцу и закрыл глаза.

Красноармейцы изредка постреливали. Буксир улепетывал на обской простор. Капитан матерился.

Три трупа положили на юте, накрыли брезентом. Раненому перетянули тело холщовыми полотенцами. Незнамов счистил и смыл стеклянную крошку, впившуюся в лоб, но рассеченное кровавое веко царапалось, режущая боль мешала видеть и моргать, глаз сильно воспалился. Он перевязал его лоскутом от пиджачной подкладки, три часа мрачно кривился и вслушивался в подозрительно молчаливые берега и распорядился встать подле Батурина.

— Эй, пацаны! — кликнул игравших у протоки ребяташек. — Какая власть у вас — большевистская или крестьянская?

— Крестьянская! — гордо ответили мальчишки.

— А староста кто?

— Хохлов!

— Ух ты! Он неподалеку живет, сбегайте, ради бога, пусть не посетует, сюда придет. Скажите, Незнамов просит!

Хохлов, солидный осанистый мужик в возрасте за шестьдесят, поторопился прийти и уже издали приветственно потрясал батошкой:

— Здравствуй, Анатолий Власыч, здравствуй, кум! Митька кричит: пиратский корабль! Вижу: пиратский. И хромой ты, и кривой, как пират на картинке.

— Здравствуй, Иван Абрамыч! — Незнамов спрыгнул на мелководье, поковылял навстречу. — Прости, что не сам к тебе. Я здесь при людях состою... С агитацией меня послали, мобилизованных дали кого поумней, и с тобою я обязательно решил потолковать.

— Мы уж тут управились, все исполнили по совести. — Хохлов друга приобнял. — Коммунистов в кутузку спрятали, порядок навели. Устали терпеть, Толенька! Нас за людей не считают, в грош не ставят. Не за такую советскую власть мы Колчака били, нет!.. Что с тобой стряслось-то?

— Стекло в глаз попало. Под Ташарой армейские обстреляли. К Дубровино движутся... У меня просьба к тебе. Три мертвеца тут и раненый. Куда нам с ними? Похоронить бы и матроса приютить, а то помрет.

— Вот как! — ахнул Хохлов. — Ай-яй-яй!.. Конечно... Мить! У нас тут прибавление в семействе: раненый и три покойника. Слетай к мужикам, скажи им, позови.

Мальчик тотчас исчез.

— А и сам ты, кум, в пособии нуждаешься. Тебе, бобылю, рожицу почище нужно иметь. Подлечись, а то ты такой никуда не годен... Вадим Васильич вообще зря все это учудил с пароходами: проку никакого, лишние хлопоты да людей злите. Отпусти всех восвояси, ей-богу... И еще, Толя: воюем мы и не знаем, что на прочей земле дется. Вишь, как я споро к тебе побежал! Ты меня, пожалуйста, про Томск и Новониколаевск просвети.

— Про Томск ничего не слышать. Сомнительно, чтобы в Томске что... А в Новониколаевске, заподлинно говорят, народ поднялся. Поляки-то большевиков лупцуют, большевики последние свои части из Сибири в Польшу перебрасывают — народ и зашевелился...

— Ну, — Хохлов распрямылся, — даст бог, и петух полетит. Огненный... А ведь из наших, Толенька, многие кобенятся, не хотят за добрую власть воевать, а поди-ка, и не верят... Да надо мозговать, как и оборониться поверней, а то из Вороново волкосполкомские нагрянут — поздно будет планы строить. Вот и про Дубровино ты худую весть принес... Остался б ты тут, Анатолий, а? Помог бы.

Незнамов дал знак речникам, и они перетащили трупы и раненого на берег.

Иван подумал, что повезло не только раненому — возможно, жив останется, повезло и убитым — все-таки похоронят, а тысячи в лесах безвестно сгнили; повезло и уехавшим из Дубровина, ведь армейские роты селом овладеют и Дубровино недосчитается лучших мужиков. Но не получалось думать, что ему, недавнему Елизарову, повезло больше, чем несчастному инженеру Крашенинникову: он знал, что со всей очевидностью это прояснится лишь вдолге спуста.

— Значит, складывается так... — подойдя к пароходу, произнес Незнамов. — Никак у нас не складывается. Не буду я вас, подневольных,

в эти дела вмешивать. Я останусь тут, а вы, получается, уже свободные. Ну и хорошо. Дай вам бог счастливо до дома добраться! — Он в жгут вывернул шею, чтоб увидеть стоящих у борта, прощально махнул рукой и зашагал обратно.

«Не исполнил он своей миссии, горько ему, — догадался Иван. — Смелый, артистичный и неудачливый».

Пароход густо задымил и подался прочь. На горизонте мутнела пелена ливня. Едва первые капли застучали по палубе, Иван сошел в трюм, лег среди мешков и под дробь дождя, невзирая на шум машины, накрепко уснул.

Опасный район с лагерями красноармейцев особого назначения миновали ночью, пройдя мимо Воронова по другую сторону острова, и из боязни не задержались даже в Кожевникове. Ранним утром за Киреевским мотор затих.

— Уголь срасходовали, дров нету, — досадовал капитан. — На пузе поплывем.

— Киреевское. — Савва разбудил Ивана. — Отсюда, если хотите, до Томска можно податься.

— Я в Богородское, — пробурчал тот.

— Я, — Савва наморщил лоб, — пожалуй, тоже...

Предсибревкома Смирнов телеграфировал предсовнаркома Ленину: «Половина Алтайской и Томской губерний охвачены кулацким движением».

Захват и разграбление пароходов обеспокоили Смирнова и Ленина: из Новониколаевска в устье Оби должна была уйти пушнина для перегрузки на шведские суда. В ночь на 9-е томская рота захватила Дубровино. Ее командир отписал губвоенкому: «С неприятельской стороны масса раненых и убитых, в том числе затоплен поп с дьячком. Вооружена банда кольями, пиками и дробовиками, несколько винтовок, два пулемета системы Кольта. Зверства банды ужасны. Коммунисту одному выкололи глаза и переломали в кистях руки. Много расстреляно наших дорогих товарищей. Главарь именующего себя временным правительством революционного крестьянского совета Зибельман пойман и расстрелян. Пленных 60 человек, наполовину негодного элемента, который ликвидируется»*.

На железной дороге повстанцы пытались захватить кроме Чика еще и станции к востоку от Новониколаевска: Сокур и Ояш.

Глава XII. 9 июля, Богородское

Воробьевы и Кабинетские удивились Ивану изрядно. Он попал к обеду: Серафим сварил уху, Людмила пожарила картошку на сале, Кирилл растопил самовар, но за разговором еда стыла, а вопросы все возникали и возникали. Богородчане о колыванском бунте узнали прежде

* Все цитируемые исторические документы подлинные.

многих благодаря телеграфной линии Томск—Нарым, проведенной через село еще при царе-батюшке, однако живой свидетель был превыше всего. Иван обрисовал восставших нелестно и, вдаваясь в объяснения, характеризовал их действия как необдуманные и бездарные; мобилизация горемычных пассажиров подтверждала это сполна.

— Надо принять по стопочке, — заявил Серафим, — а то мне совсем худо будет.

— Опять! — Настасья поморщилась. — Ты все горазд выпить. Оставь хоть для медицины!

— Кстати, — Серафим повысил голос, — за перегон зерна на самогон — ревтрибунал! Моего же зерна! Прижмут к ногтю по закону военного времени. Хочешь не хочешь, а озвереешь! Колчаки без закона лютовали, а красные придумали по закону лютовать! А я анархист, я — над законом!

— Я изумляюсь, почему вашу партию не запретили. — Кирилл развел руками.

— Потому не запретили, что нам закон не писан. Да я в партии официально и не состою, мой анархизм вне формальностей!.. Ты тоже ни в какую партию не хочешь, значит, и ты настоящий анархист.

— Лихо у тебя получается! — Кирилл закрутил головой.

— Жестокости много, Иван Лукич? — спросила Людмила.

— Да. Вчера чоновцы наш пароходик встретили, сперва четверых застрелили, потом документы потребовали. Представляете, что мужики сделают с такими красноармейцами?

— Не хочу представлять... — Она провела рукой перед лицом, будто что-то стерла.

— Тут, Людочка, война виновата. — Кирилл выложил это как выношенное. — Шесть лет войны: три года германской, три года Гражданской. Люди привыкли к убийству. Человек приучился к мысли, что его жизнь ничего не значит, а уж чужая тем более. Человеку твердят: на германской ты проливал кровь за паршивого царя, а теперь ты борешься за свое светлое будущее. Дворяне — враги, купцы — враги, даже священники — враги, все они тебя обманывали, обсчитывали, черным трудом не занимались. Их надо уничтожить и забрать все, что они присвоили. Ленин дал очень ясный лозунг: «Грабь награбленное!» Поразительно просто...

Младенец полез из коляски.

— Ну, давай погуляем. — Людмила занялась сыном.

— Сережа, поиграй пока с мамой! Я приду... — Кирилл показал ему пальцами козу рогатую. — Вот нас с сыном по разным социальным слоям разметало. Происхождением мы из крестьян Кабинета Его Величества, но я, обер-офицер, попал в личные дворяне, а Сережка теперь останется в угнетенном классе.

— Сословия ныне отменены, — уточнил Иван.

— А если отменены, то почему большевики каждому встречному происхождением в нос тычут?



— Вы меня потеряли? — Серафим возник невзвесть откуда с длинной зеленой бутылкой. — Прячу лучше, чем муку! Даже Настя не найдет!

Жена показала ему кулак, Серафим ей подмигнул.

— Сейчас во всем разберемся!

— На твой взгляд, Сима, — Кирилл наставил на него палец, — крестьяне все еще угнетенный класс или уже нет?

— На мой взгляд, я вижу угнетенный класс... Вы смеетесь, что ли? Вы меня на сей счет не трогайте, а то я тоже воевать пойду, волисполком разгоню и до Ленина доберусь...

— Ленину на Ленина жаловаться? — пошутила Настасья.

— Нет, я с ним по-другому обойдусь... Нам даже свое начальство избрать нельзя! В нашем совете большевики нам на шею грызунов посадили! Герои партизаны где? В конюхах! А в сельсовете кто? Навязанная дрянь! Председатель — Лешка Колбаско! Всю жизнь в доме с ветхой крышей живет, никогда хлебопашцем не был, на соседей батрачил! Скота — кобыла да две овцы! На что он годен?.. Они зачем поселенные списки составляли? Каждый крестьянин с подробным описанием хозяйства! Он-то им ни к чему! Им хозяйство нужно! Разверстка хлебная, разверстка мясная, разверстка яичная... Кур пересчитали, теперь ни одну не заруби: я с каждой должен по шесть яиц десятого числа и двадцатого! Хоть кради, хоть роди, а сдай! Разверстка по сену, разверстка по шерсти, разверстка по маслу... С каждой коровы свыше пуда масла! Будто наши телки маслом дрыщут!.. С одного быка семь шкур снять хотят! Ах да, шкуры тоже сдай! Хоть с того света сдай!.. Волисполком все подчистую подметет, потому что губкомтруд всю их контору под трибунал сдаст, если план до первого августа не выполнят, про это недавно в газете печатали. Урожая еще нет, а сполкомские уже морду в кладь* запустили... О, разговорился! У вас разве не так же?

— Так же. Урал — та же Сибирь.

— Пообещали племенной скот отобрать. — Серафим налил самогон в три стаканчика. — Это, почитай, весь... Ты, Иван Лукич, бранишься, что мужик бунтует глупо, все равно ж его прищучат. А он бунтует с отчаянья, потому и зверствует — хоть напоследок глупую-то, безумную волю потешить. Он не злой, он ума лишился... Поделиться-то не жалко, но ведь, сволочи, даже на прозябание не оставляют! Вот откуда у бунта руки растут! Упродком самовольно все забирает и во всем отказывает. У нас под Томском чоновцы еще и по роже могут врезать, ин-тел-ли-гентно, а где-то — и запороть, и пристрелить... Про завоз товаров первой необходимости наши управленцы на митингах языками чешут, а меж собой шепчут, что Москва до выполнения плана разверстки ничегошеньки ни на соль, ни на моль не отпустит! Бессмыслица! Большевики нам нехорошую жизнь придумали. Попомните мое слово: дельных крестьян они обещают и изведут... Что я стану делать? Сеять меньше! И все станут меньше

* Кладь — большой стог необмолоченного хлеба. — Прим. ред.

сеять! Вот тогда город взвояет по-настоящему! Неужто они это уразуметь не способны?

— Если б знать, в чем тут химия! — вставил Кирилл. — Мы ж глупых причин процесса не понимаем.

— Ленину и Троцкому мировая революция нужна, — убежденно заметил Серафим. — Плевать им на Россию, чтоб им страшной смертью сдохнуть.

Мужчины молча звякнули стаканчиками и выпили.

Серафим Трофимович, будто в сказке, был у старых родителей единственный сын, статный, сильный, умный. Кормильца, его не призвали на войну; он всю жизнь работал на земле и себя без нее не мыслил. Женился поздновато, пару лет назад, когда мать с отцом друг за дружкой скончались. Им с Настасьей не повезло: любовь устоялась крепкая, а дети не рождались.

Перед свадьбой он переделал отеческую избу в пятистенок с подклеем в четыре венца и еще прирубил комнату с кухней и сенями; дом местами пустовал, но, большой, намекал новой власти о зажиточности. В тревожную пору Гражданской войны Серафим расширить хозяйство не помышлял и считался середняком. Он имел восемь десятин посевов, отводимых под пшеницу, овес, ячмень и просо, с которых и скот кормился, и шла оплата продуктами мельнику с кузнецом, и на продажу оставалось, пока в Томске при белых давали торговать. Серафим обходился тремя лошадьми. Настасья ухаживала за двумя коровами, тремя хрюшками, шестью овечками, и в стайке квохтало два десятка кур с петухом. На осушенном под огород бывшем болотце сажали пять соток картошки и прочее к столу привычное. Река выручала рыбой, тайга — дичью, ягодой, грибами, шишками, на это губревком еще не покусился. Серафим по способности помогал Настиним родственникам, однако следовало и себе хлеба приберечь. Спрятать зерно или муку можно, но вне хороших условий зерно сопрет и сгорит, если не сгниет, а мука прогоркнет, заплесневеет или в ней мелкие бикарасы заведутся — потом днями-ночами просеивай. И начальство чуяло, что утаенное появится.

— Я никого не хотел обидеть, — промолвил Иван, — только воевать крестьяне не в состоянии: они и под пулями штык в землю всадят и начнут пахать.

— Вань, — Серафим хлопнул его по плечу, — ты правильно рассуждаешь, но ты вообрази, что тебя обируют догола, из города товары не везут — ни соли, ни мыла, да еще заставляют дрова для пролетариата заготавливать, дороги от снега черт-те где чистить, трупы искать-прибирать, заедают всяко... Ребята, кто ж после нас останется-то?

— Блаженны кроткие, яко тии наследят землю, — напомнил Кирилл.

— Ой ли? — Серафим усомнился. — Ты начитанный, да не все прочтенное годится. Потому крестьяне к интеллигентам — с подозрением...

Он налил всем еще, зажмурился и запел, друзья подхватили:

Белеют кресты
Далеких героев прекрасных.
И прошлого тени кружатся вокруг,
Твердят нам о жертвах напрасных, —

но Кирилл сбивался в словах, а Ивану запал на память иной вариант, и Серафим завершил песню в одиночестве:

Героев тела
Давно уж в могилах истлели,
А мы им последний не отдали долг
И вечную память не спели.

— Ты, Иван Лукич, воевал? — Серафим выпил. — Кир у нас подпоручик, а я только с женой воюю.

— Маленько, — медленно выдавил Иван, теряясь, врать про германскую или признаться в сибирских походах. — Не люблю вспоминать. Фельдфебель я... слуга царю, отец солдатам.

— Где служил? — спросил Кирилл.

— В пехоте. — Он понял, о чем вопрос, но поостерегся называть 8-ю Камскую стрелковую дивизию.

Вспомнилось помятое, обветренное, с провалившимися щеками лицо генерал-майора Войцеховского, командующего 2-й армией, и что под Канском тот пристрелил генерал-майора Гривиньша за оставление фронта войсками, и что сам он, фельдфебель Елизаров, слабодушно бросил родную роту под Канском. Надо было не дразнить судьбу, а идти со всеми за Байкал — в снега, в сумятицу, в неизвестность и ко спасению.

На душе у Ивана потускнело, он положил руку на грудь:

— Прости, Серафим, скверно себя чувствую, прилег бы...

— Давай, Сима, отложим до вечера. — Кирилл облокотился о стол, как бы вставая. — Я с Сережкой обещал поиграть...

Серафим широким жестом отпустил их; компания расстроилась, настроение выпивать выветрилось.

Савва и речники поселились у Петроградихи. Не усомнясь в Саввиной бедности, хозяйка согласилась взять его за помощь по огороду, как всегда соглашалась на то, что предлагали.

Петроградихой односельчане звали Лидию Олеговну Панкратову: летом семнадцатого вместе с мужем она переехала сюда из столицы. Над теткинским наследством в виде сибирского дома с усадьбой и двенадцати десятин залежных земель поначалу почти потешались, но когда в Питере нешуточно забрезжила нищета, насельники Литейного проспекта серьезно прочувствовали фразу «нигде как в Сибири» и приняли тяжкое решение распродать что получится и перебраться на неведомую Обь, благо Владимир Леонидович был инженером-дорожником и даже числился действительным членом Географического общества. Писатель Вячеслав Шишков, сослуживец Панкратова по управлению внутренних водных



путей и шоссейных дорог, настоятельно советовал рискнуть и даже заверил: «Вас ждут неизъяснимо хорошие сюрпризы». Дочь вышла замуж и уехала в Париж, а родители подались к Васюганским болотам. Позже Панкратовы радовались своей авантюре и пережили военное лихолетье относительно спокойно, однако весной двадцатого года заезжие бандиты убили Владимира Леонидовича, до полусмерти порезали Лидию Олеговну, унесли ценности, скопленные за двадцатилетнюю общую жизнь. Лидия Олеговна замкнулась, превратилась в мрачную старуху с колеблющейся походкой и стала существовать, пуская редких постояльцев и довольствуясь тем, что земля давала сама собою.

Народ с ярмарки разъехался, только пропившиеся остяки долго решали свои дела, но и они навьючили лошадей и отбыли в тайгу. Остался впавший в запой кожевник Малышев: он пил, отсыпался, опять пил и, бодрствуя, разговаривал, не теряя осмысленности суждений.

Савва устроился рядом с ним. В соседней комнате увидав книжные шкафы, он попросил у хозяйки разрешения что-нибудь почитать; она равнодушно позволила. Он заглянул в начало романа «Таинственный остров», увлекся и неотрывно читал до темных сумерек.

— Ты кто? — Малышев вдруг вытянул руку и жутко Савву напугал.

— Савва Сенцов. Агроном... Тут буду жить пока.

— А где остяки?

— Уехали, наверно.

— Какое сегодня число?

— Девятое июля.

— О! — Малышев попробовал щелкнуть пальцами. — У меня позавчера день рождения был, проспал я его, поди-ка. Пятьдесят девять лет. Не помню, чтоб отмечал... Ну и ладно, родился так родился, землю копчу. Считаю, жизнь уже прожил, старый пень... Савва, значит? Ну, здравствуй. А я Никита Петрович. — Он глянул в стакан, дунул в него и налил себе и в какую-то плошку. — Выпей со мной под стерлядочку... Сам откуда?

— С Алтая, с Кулунды, село Баево.

— О! И я с Алтая! Чемал Бийского уезда. С Катуня сюда добирался, замучился... Как у вас с кожевным делом?

— Да не жалуемся.

— Перебраться хочу с Чемала... — пояснил Малышев. — Сейчас утро или вечер?

— Вечер.

— Ну и хорошо. Выпьем да спать ляжем. — Не дожидаясь Саввы, он вылил в себя самогонку и съел кусочек рыбы. — Тут две кожевные мастерские, а толку мало: хватки нет, разнообразия товара нет. А ты окажи остяку уважение, он по гробовую доску лучшим другом станет и такое тебе доставит — ой-ой-ой! Только нельзя ему далеко от стойбища: обдурят по дороге, больно доверчив. Да остяки и сами оленью замшу готовить могут — любо-дорого!.. Баево, говоришь? Надо у вас погостить, приглядеться...

Глава XIII. 10 июля, Богородское

Поутру Савва снова схватился за чтение, но обнаружил ложь: из одного семечка пшеницы герои романа сразу вырастили аж десять колосьев аж по восьмидесяти зерен в каждом. С этой чушью агроном смириться не мог. Получалось, что и в чем другом Жюль Верн тоже мог солгать; читать расхотелось, таинственные события перестали интересовать, он разочарованно поставил книгу на полку. Он знал, что в агрономии арифметика — помощница худая, и, какой план ни сочини, есть на белом свете дождь, ветер, засуха, и, как ни рассчитывай, репка не будет расти как картошка.

На огороде Савва стал вырывать бурьян и нашел прошлогодние грядки. Изросший в дудку лук-татарку и укроп можно было употребить в пищу. По охалке того и другого он понес хозяйке и столкнулся у калитки с девушкой в красной косынке.

— Здравствуй, товарищ. — Она сжала кулак у плеча. — Ты батрак?

— Здравствуй, — остановился Савва. — Нет, я тут живу и помогаю.

— Эта женщина — дворянка! Язва нашей общественной жизни! — Девушка ударила кулаком по заборчику. — Она не трудится, не платит, ни в чем не участвует! Типичный элемент прежнего режима! А ты, я вижу, у нее постоялец, а сам из рабочих слоев. Не туда ты примкнул, парень. Через час приходи к исполкому на митинг и субботник, там найдешь своих. Скажи мне, что придешь!

— Приду.

Черноглазая, стройная, боевая девушка парню понравилась.

— Молодец! Как тебя зовут?

— Савва.

— Я Нина Черемшанова. — И она устремилась дальше.

Он прибрал траву на будущий компост и поспешил на свидание.

У волисполкома собралась толпа шумно веселой молодежи и откровенно тоскующих мужиков и баб. Средних лет безвидный мужчина с красным бантом вперился в Савву и быстро просеменил к нему.

— Товарищ сотрудник! — громким шепотом позвал он. — Что-то случилось? Вы вернулись! — И, глядя в удивленное лицо агронома, объяснился: — Я с вами сюда ехал на «Богатыре», вы проверяли документы.

— А! — понял Савва. — Да.

— Нам телеграфировали, что пароходу удалось героически спастись.

— Ну.

— А как же вы сюда, простите? Нам телеграфировали, что пароход в Новониколаевске.

— На буксире «Репин».

— Простите... он же шел с целью контрреволюционной агитации.

— Шел, да не дошел. Агитаторы в Батурино, а мы — вот они тут.

И никто не агитирует, не саботирует, а только зернышки клюет. — Савва припомнил сёмочковские словечки, подумал: «Смешно получается» — и подытожил: — Во всем мы в преферансе.



— Понятно! — Волостной обрадовался и успокоился. — Опять сумели уйти! Школа товарища Дзержинского!.. Потом расскажете?

— Потом.

— Очень замечательно, пусть молодежь поучится на живом примере бодрости духа... А здесь вы хотите проверить местную активность? Беда! Хромает активность, мало явилось! А ведь мы приняли постановление: если гражданин без уважительной причины на общественное мероприятие не пришел, посылать его на внеочередные работы. И все равно пренебрегают... Ах как удачно, что вы тут, товарищ чекист, я вас после митинга обязательно проинформирую по вашей части и так далее с исходящими выводами. Не уходите. Побудьте с нами, послушайте.

Савва остался и посетовал на наплевательское отношение богородчан к митингам: голосование о сборе денег в пользу Красной армии, возможно б, решилось иначе, а ныне всем согласно постановлению общины придется раскошелиться по пяти рублей с носа — деньги небольшие, однако отдавать обидно. Ничем кончились крики о починке дороги через болото — гати на Мельниково, настила из лиственничных стволов, нарастить который отсрочили на будущий год из-за финансовых затруднений. Сухощавая конторская женщина ради борьбы с религией предложила переименовать Богородское в Огородское — кто протестовал, кто растерялся, и волостное начальство этот вопрос, как по меньшей мере губернской важности, тоже отодвинуло на потом.

Последней высказалась Нина Черемшанова:

— Я предлагаю, товарищи и граждане, поддержать славный почин Лево-Курундусского поселка Вассинской волости Новониколаевского уезда о засеве поля в пять десятин овса в пользу государства, то есть, товарищи, в пользу нуждающихся рабочих. Землю можно реквизировать у дворянки Панкратовой: она не хочет и не умеет ее обрабатывать и все равно ей помирать вместе с ее эксплуататорским классом.

Собрание постановило, что желание дать овса государству есть, но семян нет; вспомнили присловье, что овес лучше сеять в грязь, и участок для рабочего класса решили выделить в апреле.

— Нина права. — Савва подошел к комсомольцам. — Земля должна приносить плоды, а не пропадать зря.

— Ты иди-ка отсель, — посоветовал ему лысый крепьш с медленным взглядом, — наши девки не про тебя, пропагандист хренов, — и замахнулся.

Внезапно Савва озверел — шлепнул ладонь на лицо комсомольца и оттолкнул. Тот отступил, споткнулся о брошенные лопаты и упал. Его приятели захохотали. Лысый вскочил и, по-медвежьи задрал руки, двинулся на пришельца.

— Пашка, не смей! — закричал волостной. — Полезешь, паршивец, я тебе все припомню!

— Дядя Ваня! — взревел Пашка. — Вы ж видели!

— Вот именно, я все видел! Если ты еще раз начнешь задираться, я приму ответственные меры!.. Черемшанова! Идите на дежурство, пора



сменить Полину Ниловну... А вы, товарищ, может, хотите выступить? Ловко вы его...

— Не хочу! Поведение у вас несознательное! — зашумел Савва. — Ты силу на поле показывай! Видали мы таких пучок по пятачок! Только языком шлепать мастаки!

— Правильно! — подхватил волостной. — Все — гать расчищать!.. А мы с вами, товарищ, пойдем в исполком. Все на субботнике, нам не помешают. У нас и штат очень неполный... зато сторожиха есть. К сожалению, относятся к нам будто к сельсовету, а нам же с волостью управляться! — Он приостановился и представился: — Заведующий общим отделом Оловянишников Иван Филиппович, сочувствующий партии большевиков.

— Сенцов Савва Георгиевич.

— Знакомству рады, очень рады! — Оловянишников провел гостя в комнату, где на столе возвышались кипы бумаг и пишущая машинка. — Располагайтесь... Вы, Савва Георгиевич, знали товарища Шишкова?

— Да.

— Чрезвычайная потеря! — воскликнул Иван Филиппович. — Не щадил себя товарищ Шишков, исключительной жертвенности был человек.

— Незаменимых нет, — повторил Савва затасканную фразу. — Я хорошо знаю товарища Бермана, он профессионал и очень чутко относится к подчиненным.

— Прекрасно! — Оловянишников хлопнул в ладоши. — То что нужно! Председатель и военком сейчас в волости, ваш уполномоченный куда-то отбыл, само собой не доложась, а дело срочное, надо Томск информировать, посоветуйте...

— В чем дело-то?

— Вчера в Баткат Сашка Аркашёв прискакал, рассказывает про Томск, якобы-де поднимается волна народного гнева — так он выражается. Якобы он сформировал офицерскую роту и казачью сотню и считается уже не поручиком, а есаулом. «Я, — говорит, — теперь значусь есаулом Сибирским». Есаул Сибирский! Пермский и Югорский! Баламут баткатский!.. Ему, арапщику, верить трудно, но уж очень нахально себя ведет, и то серьезно, что он повсюду народ мутит и хвастается связью с Кольванью. Он и в Десятово побывал, это отсюда в пятнадцать верстах на юг, и в Тру́бачево, это в пятнадцать верстах на север. Район обширный, а намеренья у Аркашёва самые контрреволюционные, и есть сторонники... Он, как из царской армии вернулся, никаким полезным делом не занимался и известен склонностью к возмущениям и перемещениям в границах губернии. Подозревается в мошенничестве, мошенник и есть. Вся семья его в Баткате имеет неприятные хулиганские свойства.

— Ну и что вы хотите? Ну и что я? — Савва замаялся.

— Я хотел сообщить в губревком.

— Сообщайте.

— Видите ли, Савва Георгиевич, моя инициатива может быть здесь неверно истолкована, то есть как замашки карьеризма, ловля случая... Вот если б вы как бы настояли или хотя бы намекнули, чтоб я сообщил... Понимаете?

— Если вы считаете это необходимым по причине общественного спокойствия... — Он пожал плечами. — Мне кажется, вы бы и без меня это сделали.

— Ситуация с Аркашёвым, Савва Георгиевич, тревожная. Вы, как человек привычный, можете это не чувствовать. Но ваша поддержка для меня много значит! Текст я уже написал, и вы, пожалуйста, присутствуйте... — Оловянишников повлек его в аппаратную комнату, достал из кармана бумажку: — Нина, нам в губревком.

Аппарат Бодо зажужжал, Нина положила пальцы на клавиши.

— 10 июля, Богородское. В селах Десятово, Баткат, Трубачево активная подготовка восстания. Глава банды поручик Аркашёв, он же есаул Сибирский, прибыл из Томска, утверждает про связи с Колыванью. Ждем распоряжений. Зав общим отделом Оловянишников, сотрудник Губчека Сенцов.

— Эй! — Савва рванулся к Нине. — Не надо меня!

— Тихо! — крикнул Оловянишников. — С такта собьете! Нельзя. Поздно уже.

— Я просил меня упоминать? — Савва поднес кулак к его носу.

— Простите, я не подумал! Я для авторитетности... — Оловянишников поблел. — Вы не беспокойтесь, все правда! Это вам еще зачтется, вот увидите!

Бодо зазвонил, колеса завертелись, лента вышла с текстом: «У аппарата предгубчека Берман. Как зовут Сенцова».

— Ох, мамочка! — Савва испустил глубокий вздох. — Печатайте так: «Савва Георгиевич, агроном».

Он сел на стул и хмуро уставился на Нину, которая сейчас станет свидетельницей его измены и самозванства. Ответ ушел моментально, однако телеграмму из Томска ждали, казалось, долго. Оловянишников переминался с ноги на ногу, виновато косился на Савву и красноречиво моргал. Нина приветно улыбалась.

Со звонком вызова он вздрогнул. Поползла лента: «Сенцову отчитаться о ситуации с пароходами “Богатырь” и “Репин”. Волвоенко-му Михайлову или другому волостному лицу сообщать о положении в губревком каждые двенадцать часов или чаще. Предгубчека Берман, губвоенком Атрашкевич».

— Печатай. — Савва напрягся. — Предгубчека Берману. Пароход «Богатырь» оставил, чтоб отобрать мандат товарища Иванова-Павлова, отобранный мятежниками, который отобрал обратно. Пароход «Репин» после обстрела мятежники не удерживали. Потеряв четырех человек, «Репин» прибыл в Богородское. Собираюсь заниматься прямыми обязанностями решением мандата. Сенцов.

С перепугу получилось красиво, он сам восхитился. Спустя минуту раздался звонок, колеса чуть крутанулись и выдали кусочек ленты: «Конец связи».

— И предгубчека там, и губвоенком! Наверно, мы на совещание попали! Ой-ой-ой! — Оловянишников заметно взволновался. — Огромное вам спасибо, Савва Георгиевич! Горжусь, что с вами познакомился! Вот какие люди, Нина, рядом с нами живут!.. Ну, если я вам не нужен, то пойду на субботник. — Он попятился, и Савва с Ниной закивали: идите. — Ну, до свиданья.

— Ох, дядя Ваня... — Нина фыркнула. — Он нарочно нас оставил, так что ты посиди со мной, а то мне скучно. Правда, я тут почитать прячу. — Она извлекла из-под аппарата книжку «Октябрьская революция». — Интересно пишет товарищ Троцкий. Еще у меня товарища Бухарина «Азбука коммунизма» и «Ответ буржуйам на пять вопросов» Ленина... А почему ты Агроном?

— Специальность такая.

— Ясно. Партийное прозвище по специальности... А я телеграфистка, весной курсы в Томске окончила. Вообще-то я из Анжерки, но меня после Томска сюда направили, а родители дома остались. Они еще не старые, я не беспокоюсь. Отец на шахте, и мать там же в столовой бесплатного питания кухарит. Мы вообще-то из России, из Горловки. Мы в двенадцатом году в Сибирь переехали. Я переезжать боялась, плакала, потому что нас пугали, мол, тут холодно, аж уши отмерзают и отваливаются, медведи по улицам ходят — я верила. А тут хорошо, ничего страшного. Летом даже жарко. Мне полдома дали, родичи не мешают, сама себе хозяйка. Тут вот работаю, все-все-все знаю где что! Интересно. И еще я замсекретаря комитета ячейки комсомола, активный образ жизни веду... — Она говорила, а Савва глядел на ее губы и мечтал ее поцеловать. — Теперь ты про себя расскажи, как ты в ЧК попал и так далее, и про подвиги твои.

— Как хочешь. — Он не возражал. — В ЧК я попал 30 июня, десять дней назад.

Глаза у Нины округлились.

— Я с Алтая приехал, в Баево живу. Мне по делам в Томск понадобилось, там тетка у меня. А в Томске я в больницу зашел Григория Николаевича Потанина проведать. Слыхала про него?

— Который умер? В газете читала. Ученый-путешественник. Интересно.

— Он вообще великий человек! Он мне в семнадцатом помогал по революционным делам: мы на Алтае новое земельное законодательство хотели ввести, то-се... Ну, я по старой памяти его навестил, и вдруг он помер... Я ушел — он помер. И меня арестовали, привели в ЧК, стали допрашивать: с какими целями объявился, чем расстроил старого борца с самодержавием, что ему передал?.. А я ему цибик чаю принес, и вот следователь прицепился к моему чаю: почему после него Потанин скончался? В общем, глупость.

Савва спохватился, что его во вранье занесло куда-то не туда: в последний раз он сочинял о себе сказки давным-давно, в детстве, а тут вдруг выставился в герои, однако творческий запал влюбленного, казалось, мог осилить все.

— И сам товарищ Берман, предгубчека, дверь открывает и говорит: «Товарищ Сенцов, мы выяснили, что вы ни чем не можете быть заподозрены. Вы свободны, извините и, если пожелаете к нам по вольной воле, милости просим». А на следующий день я был на приеме у губпродкомиссара, я его и раньше знал, мы договаривались, что он мне выпишет мандат на выделение земли под научную работу. Федор Никанорович сделал мне мандат и говорит: «Не хочу о важных вещах извещать по телефону, отнеси, Савва, записку в ЧК». Мне не трудно, я отнес. И товарищ Берман мне предложил вместе с товарищем Шишковым до Новониколаевска на пароходе доехать: Александр Васильевич по партийным делам, я по хозяйственным. Оформили меня по линии транспортной ЧК на пару с Костей Вронским, молодым моим другом...

Савва подбирался к опасному изложению опасных приключений; в кратком телеграфном ответе от требуемых объяснений ускользнуть получилось, и то страху натерпелся, но Нина выпросит и о том, что вряд ли удастся перелицевать или приукрасить, а взрыв вранья иссяк.

— Только зря я про все это. Одно дело — отчет, другое — похвальба. Не мужское дело — хвастаться. Вот состаримся и будем на завалинке вспоминать, внучат учить...

— Это ты про что? про чьих внучат? — Она усмехнулась. — Ой нет! Я — в пятьдесят? Ужасно! Нет-нет!.. Я в то время хочу попасть, только чтоб посмотреть, какая везде счастливая жизнь будет — ух! Все уладится. Это ж 1950 год! Товарищу Ленину будет всего лишь восемьдесят... А что ты станешь делать через тридцать лет?

— Все так же агрономом работать... А вон твой друг ревнивый. — Он показал за окно: по площади валкою походкой брел Пашка.

— Шерстобитов! Вот черт! Драться полезет! Он чуток чокнутый и разозлился... Ты не трогай его, ладно? — Нина засуетилась. — Или вот что: ты не обижайся, уйди через дверь во двор, а я к тебе позже сама приду. Пожалуйста! Ладно? Я всегда могу Полину Ниловну позвать, она через дорогу живет, ей одной тоскливо, а тут она с людьми.

— Ну, если так тебе спокойнее... — Савва решил не противиться.

— Иди-иди! — Нина резко отвернулась и открыла книгу на загнутой странице.

Глава XIV. 10 июля, Томск

Совещание губпартбюро и президиума губревкома началось шуткой Бермана:

— Не человек для субботы... — и закончилось сумрачными словами Беленца:

— Расходимся, товарищи, все мы нужнее на своих рабочих местах.



Его место было там же, где он сидел. Впрочем, тридцатитрехлетний Беленец — марочный представитель пролетариата, потому как в юности слесарем трудился, — ныне совмещал должности предтомгуббюро РКП(б), предисполкома томгорсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, зампредтомгубревкома. Если через полмесяца он удачно проведет первую губпартконференцию, его вызовут на службу в столицу — так решил «всероссийский староста» Калинин. Двадцать пять провинциалов соберутся поговорить, и по результатам их общения ВЦИК даст окончательную оценку деятельности руководителя исполнительной власти Томска.

Для пушей памяти Беленец тезисно набросал то очевидное, что нужно организовать, и задумал все проблемы заранее обговорить с делегатами в свободной обстановке. Предстояло писать доклад и о задачах самой конференции; для окончательной правки он решил позвать Молотова, редактора газеты «Знамя революции»: единый настрой революционных преобразований должен отразиться в стенограмме и итоговых документах так же определенно, как лозунги в гимне «Интернационал».

Однако умнющий Иван Никитич Смирнов предрекал: «Вот увидите, кончится Гражданская война — начнется внутривнутрипартийная». Ее Беленцу не хотелось, хотелось упорядоченной критики в рамках совещательной полемики, а состояние умов в партуправленческих органах и вправду оставляло желать лучшего — однажды он услышал громко сказанное: «Ленина за его безумную политику надо в Нарым сослать!»

«Основная масса примазавшихся к РКП(б) интеллигентов — до мозга костей эгоисты, — размышлял Беленец. — Этот слой — интеллигенция! — даже не желает понимать логику коммунистических отношений и насущность губпотребкоммуны. Вторая категория граждан — вот кто они в определении продуктивно-карточного бюро. Интеллигенция выказывает протест, если в счет мясной нормы получает рыбу, но помалкивает про свое ежедневное бесплатное питание в коммунальных столовых. Интеллигенция вопит о всяком мелком вычете из жалованья, как о конце света, но молчит про свое бесплатное жилье с бесплатным электричеством. Так, губревком постановил: прекратить выдавать хлебопакет совгражданам третьей категории — лицам, нанятым в частные предприятия и оттого потакающим частному капиталу. Между тем вторая категория возмущается спецнормами снабжения некоторых групп трудящихся, а в защиту лишенцев не выступает. Глебы успенские давно вымерли, остались шкурники. Нужна срочная перерегистрация членов губорганизации РКП(б), а то их многовато — новички портят голосование».

Зазвонил телефон.

— Алексей Иванович, — задребезжала секретарша из отдела управления, — положение об инспекции советских учреждений вам сейчас принести или в понедельник? И еще чтоб вы посмотрели черновую об ответственности за нарушение трудовой повинности.

— Я сам зайду.

Сегодняшнее совещание постановило пресечь труддезертирство на корню — разрешать передвижение в другие уезды лишь с согласия губземотдела, а волисполкомам и сельсоветам дать устное указание препятствовать переезду за границы общины, означенные в поселенном списке.

Тысячелетний деревенский быт стал для революции камнем преткновения. «Сплошь отсталое крестьянство невосприимчиво к прогрессу. — Беленец кинул свои наброски в ящик стола. — Демьян Бедный верно припечатал крестьянскую непонятливость: “Деревня — дура”. Это экономически обосновано. Энгельс и Ленин учат, что в государстве один класс обязательно подавляет другой. Значит, с уничтожением прежних господствующих классов и при гегемонии пролетариата крестьянство неминуемо получает подчиненное значение. Ленин пишет, что уклад крестьянства — исторически мелкобуржуазной природы, оно лишь временный попутчик рабочего класса, да и то которое бедное. Сейчас на продовольственном фронте главное — расслоить деревню в классовой борьбе: комячейки должны стать застрельщиками в общественном размежевании и оторвать середняка от кулака с помощью бедноты и кооперации. Ленин велит: “Ограбь кулака, помоги бедняку”. Кулаки прячут зерно — совсем лишить их хлеба. За скупку зерна, за укрывательство хлебодержателей, за саботаж на трудовом фронте — ревтрибунал и отправка в концлагерь сроком до полной победы рабочего класса. Мягкотелых ответработников за должностные преступления приговаривать к условному расстрелу».

Беленец не любил Сибирь. Выросший на Азовском море, он за участие в ростовском восстании девятьсот пятого года попал после тюрьмы в ссылку и десять лет пребывал в Сибири, насаждая тут революцию. Но он видел себя не в провинции, а одним из основных винтиков, жестко скрепляющих мощный партийно-административный механизм, задающих должный ход всей государственной машине.

Беленцу уже никто не мешал: Шишков пытался, но со смертью Свердлова сам утратил поддержку в верхах и неловко хватался за тех, кого тоже задвинули подальше, например за предуралгубчека Юровского, томича, с кем Свердлов познакомил Шишкова в Москве после казни царской семьи. Сняв Александра Васильевича с поста предтомгубчека, ему, чтоб не злился, ненадолго дали подержать портфель заввоенотделом Сибревкома, а после перевели в Иркутский губревком, причем Смирнов так и не решил, дать Шишкову оговоренный пост председателя или пока придержать заместителем, — это знали все, кроме назначаемого, друзей не имевшего. Пустив в себя пулю, он избавил предсибревкома от раздумий. Сегодня постановили: «Привезти тело Шишкова в Томск и похоронить с почестями».

Болезненно тревожили мятежи, разбушевавшиеся в Томской губернии. «Нельзя бывшим партизанам потворствовать, — раздражался Беленец, — снова сорвутся партизанить». Соввласть простила красному герою Рогову грабежи и убийства и что половину Кузнецка уничтожил, а Рогов не простил, что в ЧК его избили: у Салаирского кряжа собрал конную банду в восемьсот сабель и учинил черный террор. Крестьян он

против себя восстановил — особенно казнями попов, а неделю назад при аресте застрелился, так что одну неприятность уже ликвидировали. Беленец и сам с врагами цацкался — партизана Лубкова, заподозренного в умысле взбунтовать Мариинский уезд, всяко уверял приехать в Томск побеседовать, вместо того чтоб распорядиться пристрелить и больше по этой графе не беспокоиться.

На степном Алтае анархист крестьянин Плотников сформировал армию с четкой воинской организацией в дюжину полков. Информация из хлеботорговых районов шла устрашающая: число взявших оружие получилось — куда там Рогову! — под восемнадцать тысяч.

В колыванский бунт ввязалось тысяч пять, он пугал близостью к Новониколаевску и захватом участков железной дороги. Вчера представитель ЧК по Сибири Павлуновский пригрозил расстрелять командующего колыванской операцией, если тот не возьмет город десятого до полудня. Девятого, ближе к ночи, начался обстрел Колывани, в десять утра красные войска заняли предместье, но, вопреки донесениям, город взять не удалось. Судя по докладу, многие горожане вооружились дубинами и «предметами хозяйственного быта», и Беленец поражался, почему с повстанцами не могут справиться. Ответственный за подавление мятежа губвоенком Атрашкевич приказал командиру группы войск Вашкевичу во что бы то ни стало захватить Колывань до заката.

Выводы, сделанные на сегодняшнем совещании: отрядам особого назначения — расположиться в подозрительных селах; Губчека — провести чистку среди кулачества, примкнувших к нему середняков и местных служащих; партийкекам — усилить культурно-просветительную пропаганду. Находившийся в Новониколаевске губпродкомиссар Иванов-Павлов телеграфировал, что заверил приказ упарткома и уисполкома взимать с вражеских сел хлебную контрибуцию с произвольным наложением от 5000 до 100 000 пудов.

«Пусть не по всем пунктам удастся отчитаться предельно хорошо, но важен сам факт активной работы, — успокоил себя Беленец. — Завоевания Октября устоялись. Это замечательно видно по мощному административному аппарату, закрепившему достоинства диктатуры пролетариата, и учраспредотдел ЦК РКП(б) при кадровой передвижке дает понять, что у нас незаменимых нет».

Сегодня Беленец совершил важный идеологический поступок, о котором следует говорить везде: он потребовал, чтобы в газете вместо слов «Октябрьский переворот» печатали «Великая Октябрьская революция», поскольку ее значение в мировом масштабе именно таково. Члены губпартбюро и губревкома согласились безоговорочно.

Из зеркала к Беленцу присматривался невзрачный человек с короткой прической ежиком и усиками щеткой под самым носом. Он оправил френч и пригладил стрижку — ничего не изменилось. «Ничего», — удовлетворительно сказал он себе.

Вечером, взяв Колывань, Вашкевич отчитался: «Пойманные главы в числе 40 человек отосланы в штаб Духонина».

Глава XV. 10 июля, Богородское — Еловка

Василий Иванович Серебренников даже в ярости оставался внешне спокойным. Когда он услышал от верного человека о завтрашнем бунте, он сдержал в себе черную накипь уже ненужных слов, поутру погрузил на телегу полезные вещи, усадил на нее жену, и бурая лошадка Маланья повезла их в купленную для старшего сына займку подле Поздняково-на-Шегарке. Старший бодро шел рядом.

— Далече, Василий Иваныч? — спрашивали встреченные.

— На дачу, — сурово отвечал он.

— Ух ты! — И ничего не уточняли.

Серебренников славился верхним чутьем на торговые сделки, погоду и посевы, когда ответить или промолчать, и его первый отъезд из Богородского с семьей и скарбом беспокоил соседей.

— Может, и нам на время уехать? — ни к кому не обращаясь, прозизнес Серафим Воробьев и то же повторил вечером жене и Кириллу с Людмилой, вновь увидав Василия Иваныча, шагавшего с сыновьями-подростками возле телеги, на которой лежали тюки с одеждой и кухонной утварью.

— Здравствуйте, Василий Иваныч! — Настасья встала у изгороди.

— Здравствуй. Дай бог тебе всего, что пожелается.

— Спасибо, мне столько и не надо... Куда, Валентин, на ночь глядя? — спросила она одного из погодков.

— Куда Малаша вывезет. — Валентин погладил лошадь по холке и засмеялся.

Задавать Серебренниковым вопрос «зачем?» было бесполезно. «На дачу так на дачу, — подумал Серафим, — почему бы нет? Мы-то с чего забоялись?» И сказал вослед:

— А за домом кто присмотрит?

— Соседи, — равнодушно бросил через плечо Василий Иванович.

Займку в семь семей кровавое будущее могло и миновать; в окружении поздняковских крепких мужиков Серебренников за своих переживал меньше, чем оставаясь в Богородском, где отношения станут выяснять непременно на ножах. Риск потерять дом был мал — не подожгут же, а если что из брошенного хозяйства раскрадут, то это дело наживное. Никаким боком участвовать в сваре Серебренников не хотел и, пуще того, не желал потом отчитываться пред кем-нибудь, что и почему в это время делал.

В вескость переезда Василия Ивановича сразу и полностью поверил Степан Лаврентьевич Ильин. Он достал из тайника припасенные на черный день безделушки, замотал их в тряпки, уместил в два больших жестяных цилиндра из-под печенья иркутской кондитерской Павла Гусева, — ценных легкостью, емкостью и памятью о добром времени, — сунул в кожаную сумку, а сверху положил нож и саперную лопатку. В отличие от Серебренниковых, он с престарелыми домашними не мог так легко перебраться на займку и позволил себе препятать лишь золото и камушки, наменянные у беженцев за съестное.

— Проверю дом в Еловке, буду к ужину, — объявил он.

Про то, когда вернется, вырвалось неожиданно: ему почему-то стало жаль жену. Однажды на ее вопрос: «Когда вернешься?» — он ответил: «Через час» — и возвратился через месяц. Жесток был Степан Лаврентьевич, но сердечная пружина все ж сорвалась, чем он очень озадачился.

Он оседлал коня, приторочил сумку к седлу, вскинул ружье на плечо и тронулся в путь, надеясь уехать потихоньку, да наткнулся на сельчан, убирающих с гати грязь и древесный мусор.

— Ради вас стараемся, Степан Лаврентьевич! — закричали бабы. — И вы б нам помогли б!

— Спасибо, — Ильин подпнул Жарого пятками, — вам Бог счастья даст.

Комсомольцы заорали богохульную чушь. Ильин плюнул и пустил коня с шага на рысь.

Мельниково он обогнул по кедрачу и берегу речки и добрался до Еловки, грибников не встретив. Здесь царило запустение, дворы и дорожки поросли пыреем, лебедой и крапивой. В избе никто ничего не тронул, лишь крысы напакостили — сожрали обе стеариновые свечи и там же нагадили. Ильин взял с печки пучок щепы, спустился в пустой, пахнувший прелью подпол, прикрепил лучину к стене и зажег. Осмотрясь, он сдвинул огромный ящик, куда прежде ссыпали морковь, вырыл под ним яму до колен, опустил в нее сумку и завалил землей. Поверхность разровнял, перетащил ящик назад, притоптал возле. Щемило душу оставлять богатство на авось, зато от чекистского обыска, от грабежа и поджога здесь оно сохранялось верней.

«Что-то сделал не то, — глодало Ильина на обратном пути. — Никола милостивый! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем жизни...» То ль жену зря пожалел, то ли цацки скверно перехоронил.

Дома, накрывая на стол, жена осторожно спросила:

— Случилось что?

— Увидим. — Степан Лаврентьевич посмотрел в окно: небо затянуло дождевой пеленой, готовый вот-вот прорваться. — Похолодало. Не быть бы граду.

— Ох, не дай бог! Ягоду побьет. — Матушка Татьяна Романовна с постели почти не вставала, однако подробно интересовалась погодою. — Давеча надуло с жары на холод, девчонки все расплывились.

О здоровье внучек Сашки, Машки, Наташки она всегда очень беспокоилась, а мальчишку Ксения не родила, рожать перестала, и у Степана характер испортился. О Степане, поскребышке, Татьяна Романовна переживала больше, нежели о прочих своих детях, с глаз пропавших в большом российском государстве.

— Во вьюношестве моем тихо тут было, хорошо, — в который раз возвращался в прошлое Лаврентий Игнатьевич. — Потом уж добрался сюда с Тюмени железный пароход «Ермак», аккурат мне совершеннолетний двадцать один год исполнился. Народу в наши края стало много наезжать, и газеты первые я после того увидел — томскую да тобольскую.

Пожалуй, как скончался государь-самодержец Николай Павлович, так все куда-то и заторопилось... шею-то себе свернуть...

— Молодые были, так и хорошо, — вздохнула Татьяна Романовна. — Молодым-то все нипочем.

Единственной записью в анкете Вовки Рябых могли быть строчки, что он родился в Еловке и два года — «два класса, третий — коридор» — учился в Богородском училище, но Вовка никогда нигде не отмечался и убегал отовсюду, где его хотели к чему-либо привлечь. Немногочисленные родственники померли, о них он не вспоминал. Он избегал заглядывать даже в свое завтра, а светлое будущее общественности его и вовсе не волновало. Давно разменявший четвертый десяток лет, он не вырос во Владимира Артемьевича, остался Вовкой, пробавлялся охотой и рыбалкой, продавал случайные вещи, и его считали лодырем и плутом, с чем он не соглашался. В Еловке-на-Мундрове́ он, единственный на девять брошенных хозяйств, жил постоянно.

Он заметил, что Ильин приезжал с сумкой, а уехал без нее. Выждав с час, Вовка пробрался в его избу, благо она запиралась только на палочку, и тотчас уяснил, что хозяин в комнатах ничего не оставил. Вовка полез в подпол и долго копался в рыхлой сырой земле при слабом свете, падающем из горницы.

Потом он сидел на полу с найденной сумкой и, мокрый, не в силах унять озноба, таращил глаза на ее содержимое. «Надо отсюда убираться! — стукнуло ему наконец. — И из Еловки тоже. Далеко надо убираться... В Китай!» Он кинулся к себе, почистил сумку, положил ее в мешок, побежал с ним на речку. Искупавшись, он снова сбегал домой, переделся в более сносное, придал одежде вид поприличней и поспешил на Обь к последнему парому.

В Богородское он пришел в сумерках и к переправе опоздал: паромщик уводил лошадей прочь. Зарядил нудный дождик. Идти в село Вовка забоялся и понадеялся отсидеться под елью.

Вечер почернел. Хлестанул ливень. Вовка надежного укрытия не нашел, насквозь промок, мешок нести утомился, хотел сесть где есть, но за шумом дождя и листвы совсем близко услышал конское фырканье и ворчливую речь. Он испугался, тихонько взял вбок и углубился в лес. Всадники появились с прибрежной дороги, и подумалось: «Хорошо б чуть погода пойти назад, где их уж нет, чем мокнуть и мерзнуть под деревом...»

Чаща чахлаых березок обступила Вовку. Он понял, что ухитрился заблудиться.

Глава XVI. 10—11 июля, Богородское

Село покрыла морось.

Савва встретил Нину в сенях и, как ни упиралась, утолкал ее в нежилую комнату.



— Товарищ Сенцов, Пашка совсем не в себе! — сипло говорила Нина. — Еще и ребята над ним поиздевались, что ты его оскорбил и он съел... Он к дурному готов. Я предупредить тебя пришла. Я сейчас же назад, а то узнает — всем беда!

— Ну вот еще! В такую хлябь! Ты Пашку не бойся, ничего у него не получится... Смотри, сколько тут книг! Можно ж общественно полезную библиотеку устроить! Ты с Лидией Олеговной потолкуй насчет этого.

— Нет! Она классовый враг!

— А Ленин тебе тоже враг? — Савва разозлился на ее прямолинейность и глупость. — Он дворянин.

— Ленин — это Ленин!

— Спорить потом будешь, — он показал за окно, — вон твой друг уже приперся...

Мимо прошла коренастая фигура в кепке.

— Затаись тут. Я дверь притворю.

Девушка послушно затихла в темноте. Он вышел в коридор и услышал, как Пашка спрашивает курящих у крыльца речников, где ревкомовец из Томска. Речники ревкомовцев не видали.

— Эй ты! Иди сюда! — севшим голосом прорычал Савва и отступил к себе в комнату.

Пашка ввалился следом.

— Где она? — Он качнул койку Мальшева, и тот проснулся.

Свету было только от лампадки: хозяйка следила, чтоб перед иконами всегда теплился огонек. За окном гуляла непогода.

— О чем шум? — буркнул Мальшев, сел, сунул босые ноги в галоши и бросил Пашке: — Пшел вон!

— Убью. Обоих, — твердо пообещал Пашка и вынул из рукава медвежий нож.

— Ты кто?

— Я... — Парня трясло. — Убью.

— Шибко ты смелый. — Кожевник встал и взял пустую бутылку. — Богу помолись.

— Бога нет!

— Ну, значит, плохо твое дело, — задумчиво произнес Мальшев и шагнул навстречу ножу.

То, что Савва увидал, поразило его чрезвычайно. Никита Петрович — очень быстро! — взял со стула пиджак и кинул его на нож, а бутылкой ударил Пашку по лицу и уронил ее на пол, левой рукой вцепился Пашке в запястье, правой схватил за шею. Парень орал, тыкал ножом сквозь пиджак и пытался его сбросить, но пытался и отклониться от старика, отталкивал и колотил его свободной рукою. Мальшев продолжал держать Пашку за горло. Тот хрипел, отчаянно крутил головой, затем обмяк, стал оседать и упал бы, однако соперник не шелохнулся, рук не разжал.

— Ну и хватка у вас, Никита Петрович! — опомнился Савва. — Помочь?

— А? — Малышев очнулся.

Пашка рухнул на пол. Силач склонился над ним, потрогал:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Придушил...

— И прикрыл покойнику веки. — Ну надо же! А ты, дурак, что стоял? Двинул бы его по башке табуреткой... Кто это?

— Да девушку не поделили.

— А я-то при чем? — Кожевник заголил бок и ощупал рану. — Задел-таки маленько, до нутра не добрался... И так весь живот залатан, да еще вы со своей любовью.

— Простите, Никита Петрович!

— Бог простит. — Малышев отмахнулся.

Савва отлетел к стене и распластался рядом с Пашкой. Малышев шептал молитву и крестился:

— Господи Иисусе! Прости, Господи, тяжкий грех нечаянный, Ты же видел, как получилось... — Он пошарил возле себя, нашел штоф, вынул пробку и прихлебнул. — Вот ведь незадача! Протрезвел начисто, будто не пил. Тебе не предлагаю... Мертвяка отсюда сволоки, сделай свою работу.

На пороге показались речники и хозяйка, а за ними Нина.

— Убили? — Нина прижалась к косяку.

— Это друг твой? — Малышев глотнул еще. — Совсем больной. Ворвался, ножом угрожал, кричал, кричал и задохся. Апоплексический удар, наверно. Не откачать.

— Это комсомолец Шерстобитов, племянник заведующего общим отделом Оловянишникова.

— У-у! С таким дядей неприятностей не оберешься! — уверил Малышев. — Начнет власть выяснять чего нет! Все по-своему выворотит... Надо бандита Шерстобитова убрать отсюда, тогда о его поступке никто не узнает.

— Апоплексический удар... — Капитан буксировщика нагнулся над разбитым лицом покойника. — Да хоть бы и так. Только мы люди чужие, уедем при первой возможности. А в такую мокреть никого никуда не понесем. Мы ничего не видали, не слышали.

— Как товарищ Сенцов решит, так и будет, — сказала Нина.

— Я его утащу куда подальше, — объявил Савва. — А то при нынешней обстановке могут возникнуть обострения.

— Мне все равно. — Лидия Олеговна пожала плечами. — Впрочем, я вам дам мужнин макинтош, в ненастье он всегда выручал Владимира Леонидовича.

Она принесла добротный плащ на теплой подкладке. Савва надел его, затянул пояс потуже, речники взвалили ему на плечи Шерстобитова, а Пашкину кепку напялили на голову. Нина отвернулась.

Ухватив труп за голову и ноги, он почти бегом засеменил к болоту, до которого было с треть версты скользкой грязи и холодного ливня. Прежде он таскал не столь тяжелые мешки и не так далеко и теперь выдохся, все чаще останавливался отдышаться и поправить сползавшее тело. «Никто в этой бессветице нас не заметит, а и увидев, не узнает», — думал Савва,

и еще он стерегся испачкать Пашкиными сапогами чужой макинтош или, того хуже, упасть. Он видел перед собой лишь лужи в пестрых блестках бесконечных капель и угадывал, куда безопаснее шагнуть.

Вдруг на улице перед ним возникли всадники и плотно обступили.

— Стой! — велели ему. — Кто таков?

— Сенцов, агроном.

Савву качало, он растерялся.

— Сенцов! — воскликнул один из конников. — Снова ты? Я Дедюхин. Узнаешь?

— Дедюхин? — Он глянул из-подо лба. — Иван Ананьевич? Здравствуйте.

— Это кто у тебя? Он живой?

— Нет. — Савва опустил Пашку в лопухи и выпрямился. — Комсомолец это. Придушили.

— О-го-го! — загудел первый голос. — Что тут творится? Чья тут власть?

— Большевистская.

— А ты, значит, потихоньку комсомольцев душишь? — Голос захохотал. — Куда ты его?

— В лесок.

У Саввы от усталости дрожали колени.

— Тут оставь, завтра таких комсомольцев куча будет. Я есаул Сибирский. Слышал?

— Ну... Телеграмму читал в волисполкоме.

— И что там было?

— Есаул Сибирский восстание готовит.

— Пронюхали! — Есаул взъярился. — А ты-то как ее прочел?

— Телеграфистка — моя подруга.

— Сотня! — Есаул привстал на стременах. — Слушай мою команду!

Идем в исполком! Дайте Сенцову лошадь! Сейчас он нас с подругой познакомит. Сенцов, поведешь.

Ехать Савве не хотелось. Серая в гречку Доля заартачилась, однако ее придержали и помогли ему взобраться в седло. Доля седока возненавидела: он не поздоровался и не желал общаться, уселся расхлябисто, ноги в стременах болтались, а больше всего ее раздражал странно пахнущий, противно шуршащий плащ. Кто-то хлестнул ее плетью. Лошадь дернулась вперед, раздумчиво побежала, заметила проулок, резко ушла боком в галоп и помчалась в мутную даль.

Куда по злосчастной прямой несло Долю, он не понимал, не успевал ничего различить, боялся упасть под копыта и вопил во все горло. Лошадь скакала рядом с изгородью, чуть не обдирая об нее Саввину ногу. Он пригнулся в другую сторону, вжался в гриву, с силой потянул повод, но Долю не унял; она круто повернула на узкую тропку и — «Ой, мама!» — ворвалась в лес, норовя разбить всадника о дерево. Савва рискнул падать сам, вынул ноги из стремян, и тут Доля остановилась — он полетел через ее голову, ударился о валежину и потерял сознание.

— Нельзя-нельзя! Ночь, дождь, грязь, хулиганы... — Хозяйка Нину не отпустила, и они напрасно прождали Савву до рассвета, беседуя за чаем без сахара и с сухарями.

— У вас столько разных книг! — Нина решила на серьезный разговор. — Почему бы вам не организовать при народном доме общественную библиотеку? Я, как замсекретаря комитета ячейки комсомола, берусь помочь. У нас уже есть книги из попечительства о трезвости...

— Я не против, — кивнула Лидия Олеговна. — Книга не должна пылиться на чьей-то полке, книга должна работать.

— А как вы относитесь к марксистской литературе? — строго спросила девушка.

— Если она востребованна, то должна быть и в библиотеке, — рассудительно ответила Лидия Олеговна. — Владимир Леонидович тоже читал такие брошюры. Он интересовался политическими движениями и очень переживал за Россию. Владимира Леонидовича и академики уважали. Он не только прокладывал новые дороги, он попутно собирал сведения о жизни народа и все свои материалы подарил этнографическому отделу Русского музея. Он еще столько мог совершить!.. Здесь, к сожалению, его способности оказались мало востребованными: дороги в отдаленные села — вот почти и все...

— Жалко. — Нина искренне посочувствовала. — Но вы-то живы. Давайте задействуем ваши способности. Хорошо, если бы вы стали полезным членом сельского коллектива. Вы могли бы вести школу грамоты и тогда будете получать паек продуктов первой необходимости... Я теперь понимаю, почему Полина Ниловна в последние дни с вами сдружилась: вы можете широко смотреть на проблемы и правильно их анализировать.

— Она книжки берет по географии, — пояснила Лидия Олеговна. — Читает — и будто путешествует.

— Я бы у вас тоже взяла что-нибудь про социализм почитать.

О засеве панкратовского поля в пользу московских рабочих Нина сказать не осмелилась и отложила это на будущее.

Глава XVII. 11 июля, Богородское

Савва закоченел на сырой земле под холодным дождем и очнулся. Пашкину кепку он потерял. Он встал, обрадовался, что целехонек, и пошел — забрел недалеко, но по кочкарнику. Хлюпало везде, куда ни ступи, будто почва перенасытилась влагой и вспухла.

Боролись, боролись с болотом, однако вырубил ближайший лес — и оно вновь опасно подкралось к поскотине и огородам. Порубки прекратили, когда рядом с рекою остался невеликий лиственный лесок со старыми елями близ берега. Плутали в нем только спяну, и, если кто попадал в топь, все говорили: «Уж точно, черт завел». К окрестному болоту богородчане притерпелись и спокойно лазали в нем по голубику; для них ничего не значило погрузиться на аршин в холодную жидкую

кашу из земли и травы. Иногда попадали в мочажину и тонули, хотя это случалось редко; года два ходить туда избегали, а после все начиналось снова да ладом...

Савва стоял в темноте среди ивняка и хиреющих серых берез, опасаясь увязнуть, и приискивал место повернее. Ноги проседали во мху. Он обломил хлипкий ствол с редкими ветками и, опираясь на него, отправился наугад обратно. Глубина между кочек оказалась маленькой, лишь в полусапожки набиралась вода, но степняк Савва очень боялся попасть в трясины. Он бы даже лег и пополз, однако берег плащ, и так уже пострадавший.

Дождь ослабел, прощально накрапывал. Забрезжил тусклый рассвет.

На одной из березок он заметил огромный черный нарост и удивился: это висела сумка. Любопытство побороло испуг; он к ней подобрался, шестом стянул вниз и, очень тяжелую, с трудом к себе подволок. Дотаскив ее до коряги, присел у корня, открыл сумку и лежащие в ней жестянки, увидел блестящие безделушки и охнул...

Проснувшись в воскресенье, сельчане обнаружили лужи по колено, труп Пашки Шерстобитова и чужих вооруженных конников: в Богородское съехались отряды из волости и прорвавшиеся на север дубровинцы. В есауле Сибирском, гарцевавшем у волисполкома на снятом красном знамени, узнали Александра Аркашёва, чья семья давно перебралась из Омска в Баткат, по какой-то подозрительной причине променяв лучший быт на худший.

Шедшая на службу Нина Черемшанова издали заметила множество лошадей у коновязи и овальную кокарду, блиставшую на аркашёвской фуражке, сняла красную косынку и огородами, по мокрой траве заторопилась встать.

— Спасаясь? — бросила малознакомая баба. — Беги-беги, да бежать-то тебе некуда, по всему уезду наша революция. Казаки тебе покажут, как последнее отымать, стерва!.. Будешь через забор перелазить, грядки не потопчи!

Нина прокралась к Лидии Олеговне и испросила убежища до лучших времен. Та не возражала и сказала:

— Мне кажется, Карл Маркс прав: бытие определяет сознание.

— Конечно! — подтвердила Нина. — Я рада, что наш разговор не пропал даром.

Речники, услышав от нее про смену власти, взбудоражились и долго шепотом совещались, кончая и начиная все тот же разговор. Мельком услышанное девушка уяснила как план побега и, когда они развязали на крыльце мешочек с махоркой и капитан улыбнулся: «Ничего, красавица, все будет прекрасно», выпалила:

— Возьмите меня с собой!

— М-да... — Капитан наморщил лоб. — Ты, конечно, девка жилистая, можешь в чем помочь, только нам нет резону уходить ниже Томи.

А если в Брагино тоже партизаны шалят? Рисково! Наша галоша ни-сколь не маневренна, хоть бы кто самих на буксир взял...

— Поехали! — твердо сказала Нина. — Мне нужно отсюда вы-браться и срочно в Томск.

— Ах-ха-ха! — Капитан ослабился. — Ну ладно. Темноты до-ждемся... Глядишь, из-за тебя не вздрючку получим, а поощрение.

На десять утра Аркашëв назначил суд над заведующим общим от-делом волисполкома, председателем сельсовета и пятнадцатую милицио-нерами, заключенными под стражу в пустом кабаке неподалеку.

Площадь заполнилась народом. Арестованных привели и поставили под ружейными прицелами чуть поодаль от толпы. Аркашëв, в офицер-ском мундире без погон, но при шашке, радостно здоровался со знакомы-ми, помнившими его по шуму приобских пикников.

— Давно ли ты казак? — спроста спросил Митя Матвеев, когда-то его приятель.

— Это командная должность, — снисходительно ответил Арка-шëв. — И казачье звание народу понятнее, чем старорежимное.

— Начинай, не затягивай, — распорядилась толпа.

— Граждане! — Аркашëв торжественно встал за стол. — Крестьяне снова взялись за вилы — и на Алтае, и под Новониколаевском. Кольвань давно наша и не сдается. А ныне мы в один день поднялись — и в Том-ске, и в уезде. Баткат уже взят, и Бабарыкино, и Трубачево, и Десятово. С Томска движется офицерская рота, помощь обеспечена... Военкомы с чекистами ловят нас в Елгае, но они в этом не виноваты, это мы их туда направили. — Аркашëв весело скалился. — Председатель волисполкома в Томске, да и там его достанут. Ближе, чем Вороново, красных частей нет, все на Польшу подались, скатертью дорога, а придут сюда — мы встретить сумеем.

— Погоди-ка про офицерскую рать, — осадил его старик Вологжа-нин, пришедший с табуреткой. — Позови телеграфистку, она всю правду знает.

— Хотите — позовем. — Аркашëв обернулся к стоящим на поро-ге: — Телеграфистку сюда!

Полина Ниловна, маленькая, рано поседевшая женщина, еле слыш-но (пришлось за ней повторять) подтвердила, что в Кольвани распоря-жаются повстанцы, бои ведутся и в Новониколаевском уезде, и на Алтае, а про Томск известий нет, нынче выходной, не поступали сообщения ни текущие, ни срочные.

— Убедились? — Аркашëв поправил портупю. — Спасибо, граж-данка.

— Спасибо, Полина Ниловна! — закричали из толпы. — Продол-жай, друг.

— Распрощаемся с большевистским прошлым. — Аркашëв положил рядом с чернильницей лист бумаги. — Выясним, кто и как вас обижал... Прежде всего надо выбрать достойных граждан, которые приговор ут-

вердят, а то, если все станут гадеть, ничего не выйдет. Заодно выберем сельсовет настоящий. Главное, установить чистую советскую власть без большевиков.

— Имею слово! — Ильин поднял руку. — Я человек вредный и иногда дело говорю... Пусть господин есаул сам начальство назначает... Я факты понял, но шибко сомневаюсь, что он с полной победой пришел. Если понашлют на нас войска, есаул на коня — ищи-свищи, а нам стронуться некуда. Органы самоуправления, сходом выбранные, — это, ребята, готовые расстрельные списки. Зачем чекистам дело облегчать?

— Ну, Степан Лаврентьич, не ожидал я от тебя такого недоверия и плохих слов! — Аркашѐв обиделся. — Это ж недоверие и ко всему нашему движению! А вот я голову ломать не стану, потому что тебе доверяю. Назначаю тебя председателем!.. Голосовать будем?

— Не будем!

— Обоим верим.

— Правильно!

— Потом сами разберемся...

— Ишь ты, как вывернул! — Ильин подошел к столу. — Ну, коли я здесь хозяин, то кровопролития не допущу. Не надо новую жизнь с приговоров начинать. Милиция наша вела себя правильно, все они из партизан, их сразу можно отпустить. Я б на их месте протестовал, но им порядок дороже, ведут себя яко агнцы!

Собравшиеся рассмеялись, и пуще прочих сами милиционеры. Аркашѐв усмехнулся и жестом показал им, чтоб убирались вон.

— Не узнать Степана Лаврентьича, — сказал он, — хоть в адвокаты отдавай.

— Постой, Степан, я тоже скажу. — Вперед шагнул Федор Жилин, мужик из крепких хозяев. — Ты, есаул, придержи его пока, в начальники не пускай, а то он с радости всю обедню испортит... Я вот о чем. Жил у нас в деревеньке Еловке Василий Николаевич Новиков...

Толпа взволновалась.

— Все помнят, но я напомню. Воевал он с японцами на миноносце «Стерегущий», служил машинистом. Под городом Порт-Артур напали на «Стерегущего» четыре японских миноносца и два крейсера, подбили его и в плен хотели взять. А корабль уже искорежило, иллюминаторы ниже воды оказались. И наш Василий Николаевич и его друг открыли оконца эти и затопили миноносец, чтоб врагу не достался. В Петербурге Василию Николаевичу за его подвиг памятник прижизненный воздвигли. Я, грешный, даже не поверил, а побывал в столице — есть такой монумент! Василий Николаевич и друг его в полный рост!.. С японской Василий Николаевич вернулся с двумя Георгиевскими крестами и медалью за мужество. И никому он не мешал. Выбрали его деревенским старостой, как человека уважаемого. И вот прошлой осенью проводили колчаковцы мобилизацию. Потребовали у старосты списки жителей. Василий Николаевич дал, и, конечно, по спискам кого-то забрали. А в декабре пришли красные, и односельчане — не чекисты, нет! — односельчане расстреляли

Василия Николаевича без всякого суда. Сорок лет ему было. Жена, две малые дочки, три сына — взрослый только один, младшему третий годок пошел... И скажите ж мне, чего достойны дикие твари, убившие героя и по миру его детей пустившие? И чего достоин подстрекатель и убийца?

— Иди! — На пустое место вытолкнули Григория Сапоженца. — О тебе речь!

— Наказал Бог Еловку, никто там не живет, — зычно сказал себе под нос Сергей Баранов, псаломщик, и добавил: — Только Вовка Рябых, босота, да Ильин Степан Лаврентьич.

— Не живу я там, — возразил Ильин, — просто добро напрасно не бросаю.

— Проси, сволочь, у людей прощения. — Жилин распахнул сюртук и вынул из-за пояса наган.

— Федор, убери оружие! — крикнул Ильин.

Сапоженец уставился на черную дырку в руке Жилина.

— Молись. — Дырка заколебалась. — Молись!

Сапоженец застыл. Дырка дернулась, громко плюнула, и он повалился лицом в грязь. Толпа вскипела и навалилась на мужиков, вяло заслонивших Оловянишникова и предсельсовета, смешного вихрастого человека со смешной фамилией Колбаско.

— Верно Жилин поступил!

— Сами их порешаем, без суда! Кто-то Пашку Шерстобитова, поганца, единолично ухайдакал, молодец!

— Оловянкина израсходовать обязательно!

— Всех компартийцев переловить — и в болото комаров кормить!

— Граждане! — воззвал Оловянишников. — Мы ж выполняли то, что сверху приказывают!

— А ты где живешь, на Луне? Или у Ленина в жопе?

К Ивану Филипповичу подпустили, и он получил кулаком в глаз и в нос.

— Мародер!

От удара в ухо он закачался и осел на колени.

— От вас и сельсовету не дыхнуть! Проси прощенья у народа!

— П-прости-ите... — Заведующий общим отделом перекрестился.

— Да крест-то есть на тебе?

Оловянишникову рванули ворот: крест был.

— А ты, Алексей Осипыч?

Колбаско, трясясь, расстегнул верхние пуговицы рубахи: крест был.

— Все одно иуда! — Ему внушительно стукнули по зубам.

— Большевички-хриstopродавцы! Как ждали вас! А вы хуже волков! Всё выметаете подчистую! Вы ж даже поправиться не даете!

— Все нашаромыжку, а взамен надсмехаются!

— Повинности ввели, сволочи!

Казаки хотели оттащить Сапоженца, однако Аркашëв задержал:

— Оставьте. Красивая деталь.

— Не бейте тятю! — тихо рыдала шестилетняя Дуняша Колбаско. — Он хороший! Пожалуйста, не бейте! Он хороший! хороший! Он хворый! Ему больно! Отпустите его домой!.. Мама, скажи им!

Но та плакала и молчала. Молодая жена Оловянишникова, — четырнадцать лет разницы, — малолетних дочек заперла в избе и мрачно стояла здесь, как изваяние.

— Эй вы! — звонко и с надрывом вскричала она. — Отпустите Колбаску! Он пострадавшим семьям денежку на Пасху выделил, а вы изгаляетесь! Дорого яичко! Или забыли?

Воробьевы в устойчивости новой власти не убедились.

— Эй, новая власть! — обратилась Настасья к столу. — Вы уж как-нибудь добейтесь, чтоб ни большевики, ни колчаки не появлялись!

— Хватит горланить! — просипел старик Вологжанин. — Кто у нас будет за главного командира?

— Ильин Степан Лаврентьич. А потом само утрясется.

— Это правильно. — Старик закивал. — Степан — он строгий, толковый, в отца. Все должно идти само собой. Революции ваши давно перевернули гора...

Говорили долго и о разном. Оловянишникова отвели в кабак под забор и по пути избили — нос хрустнул и непрестанно тек, глаза заплакали кровавыми буграми, в ушах шумело. Колбаско на полусогнутых ногах брел рядом, помогал волостному идти. Труп Сапоженца, будто забытый, костенел.

Гвалт с площади вылился в улицы.

Савва перекинул макинтош через сумку, повесил ее на плечо, прихватил снизу рукой и вошел в село. От усталости он еле плелся. Лицо распухло от комариных укусов. «Что за радость жить возле болота!» — возмущался он и мечтал завалиться спать.

В доме Панкратовой все отдыхали по своим углам. Малышев похрапывал.

Савва повесил плащ за дверь, толкнул сумку под кровать, лег и тотчас перенесся из Богородского в Баево: от лишайников к овсянице; от убийственной топи к лечебным озерам, где даже ил целебен; отсюда, где взгляд упирается в дерево, туда, где нет конца окоему.

...Проснулся он оттого, что сосед вытащил из-под него сумку и копошился внутри нее.

— Никита Петрович! — Савва вздрогнул. — Вы это зачем?

— Не беспокойсь, я выделкой интересуюсь. Кожа хорошая, шевро... козленок, значит. Грех на тебе, что скверно обо мне подумал... Тяжести пуд! Будто свинец. Пули, что ли? А на ощупь на две гильзы похоже.

— Нет, не свинец. Золото.

— Ну-ну... — Кожевник пристально посмотрел на совершенно изнуренного Савву. — На шутника ты вроде не похож... В жизни всяко бывает. Ночью намыл, значит? Или в аду на комсомольца обменял?

— Нашел.

— Тоже случается. Нашел так нашел. — В его голосе звучало: покажи.

Савва вынул большие, в локоть, банки, поставил их на пол и открыл.

— Ей-богу, в болоте нашел.

— Мать честна! — поразился Малышев. — Ты, парень, совсем дурной, что ли? Ты ж меня не знаешь! Вдруг я на разбойное дело способен?

— Вы ж меня спасли...

— Я и себя спас.

— Я, Никита Петрович, правда эту сумку с дерева снял! Я так представляю, что человек оступился в промоину, ухватиться ни за что не мог, зацепился лямкой за сук и не сумел подтянуться... или не успел. Царство ему небесное, кто б он ни был! Не спасло его богатство, зато на доброе дело согодится... У меня мандат есть на приобретение земли под агрономический участок, а денег на его обустройство не было. И вот! А вы, Никита Петрович, возьмите себе что-нибудь для жены иль еще на что. — Он и впрямь почти ничего не знал о соседе.

— Жене? Это ты хорошо придумал... Дверь на крючок закрой. — Малышев вывалил все из жестянок на одеяло.

— Ну и куча! — Савва ее потрогал. — Берите побольше! Куда мне столько?

— Опасный нынче капитал! — Малышев складывал все обратно, кое-что кидая на подушку. — Сколь радости да беды за каждой штучкой!

К горке драгоценностей, выросшей на постели, он отнесся внимательней, но и ее ссыпал в банку, оставил себе золотой перстенок с бесцветным камнем и, посмотрев сквозь граненую каплю на лампадку и в окно, остался чрезвычайно доволен.

— Славный будет подарок! Спасибо.

Савва укутал сокровища в тряпки, уложил снова в сумку и запнул под кровать.

Глава XVIII. 11 июля, Белобородово — Томск

Несколько сексотов Губчека донесли о сборе вооруженных офицерских групп одиннадцатого в пять утра в деревне Белобородово, в десятке верст от Томска.

Туда направился отряд ЧК в девяносто штыков. Предполагая численность противника гораздо большей, срочно отозванный из Воронова в Томск помкомбат Кит-Вийтенко рассчитывал на внезапность и жестокость: это всегда кончалось желаемым результатом.

Ночью отделение красноармейцев в старой солдатской форме высадилось с катера в Иглакове, двинулось к Белобородову и с ручным пулеметом перекрыло северную развилку проселочных дорог. Шедшие следом конники из заговорщиков пошутили над утомившейся пехотой и спокойно прогарцевали в ловушку. Пехотинцы — латыши и чехи — отмолчались.

Ровно в назначенный час отряд Кита-Вийтенко вошел со стороны Томска в единственную улицу деревни. Пулеметчики — с «льюисами»

поперек седел — спешились и кто с сошки, кто с руки вблизи полоснули по мятежникам из пяти стволов, не давая убежать к реке и огородам.

— Предлагаю сдать! — насмешливо произнес Кит и почти вплотную подъехал к мертвым, раненым и от отчаянья иступленным. — Оружие бросьте и идите сюда!

Пленных оказалось свыше сотни. Их связали попарно, плечо к плечу, и повели в город. Для тяжелораненых, кого сочли ценным для следствия, взяли у крестьян подводы, а тех, кто не имел особого значения, пристрелили, как неизлечимых. «Глупые щенки!» — презрительно думал Кит, хотя уступал в возрасте многим из этих бесславно погибших и попавшихся.

Илья Кит родился в галицийской деревеньке неподалеку от Лемберга, как называли город австрийцы и евреи, то есть Львува — если польски. Немецкую культуру Кит уважал, польским обычаям подражал и верил в великое прошлое и великое грядущее украинского народа — читал книги профессора Грушевского и журнал Винниченко, слушал проповеди архиепископа Львовского, сиречь графа Шептицкого. Целеустремленный мальчик мечтал занять высокое место в будущей Украине, свободной от российской азиатчины, и ввиду вероятной дипломатической службы выучил английский. Окончив в четырнадцатом гимназию, Кит в шестнадцать лет вступил в австрийский добровольческий легион украинских сечевых стрельцов. По окончании офицерской школы стал лейтенантом и воевал с русскими в Закарпатье, был ранен и попал в плен. Судьба криво усмехнулась: вместо Киева или Лондона он угодил под Верхнеудинск* в охраняемый бурятами лагерь с международным сбродом и выучил ненавистный русский язык.

Революция освободила Кита и присвоила: он легко, по переписке, получил от Украинской народной республики гражданство и удостоверение личности, но понял, что в сумасбродной толчее на родине карьеру сделать не удастся, присоединил к первой фамилии материнскую, вступил в Красную армию и РКП(б). Австрийский лейтенант вновь видел на линии огня знакомую русскую военно-полевую форму, только сам носил уже не мазепинку, а фуражку с приколотой звездой. Областники выбили красных из Сибири, и Кит затаился во Владивостоке. Дважды он попадал в контрразведку, отделялся предъявлением сомнительного украинского паспорта и наконец решил перейти линию фронта. В декабре девятнадцатого года он пришел в только что захваченный красными Томск и получил должность помкомбата в интернациональном батальоне ЧК.

Помкомбат не жалел своих красноармейцев — латышей, венгров, чехов, китайцев и прочих, невесть откуда взявшихся, — он их не любил. Занимаясь строевой подготовкой, он ловил подчиненных на непонимании команды и страстно гонял по площадке до полного изнеможения, переходя на им родной польский или немецкий лишь ради того, чтоб объявить наказание. Чехи и евреи прозвали его Виём и по сходству со второй фа-

* Ныне Улан-Удэ. — Прим. ред.

милией, и оттого что, перед тем как унижить, Кит-Вийтенко подолгу протирал пенсне, цеплял стекла на переносицу и лишь потом, подняв глаза на бедолагу, как бы бесстрастно посылал его, иногда вдвое старшего, мыть сортир...

После полудня колонна интернационалистов и пленных офицеров приблизилась к тюрьме на Иркутском тракте и встретилась с Берманом и взводом конной милиции, который сопровождал двух невзрачных арестованных.

— Здравствуй, Илья! — обрадовался Берман. — С победой!.. Не устал?

Сверстники, они относились друг к другу по-приятельски, но с уважением чина.

— Здравствуйте, товарищ председатель Губчека! — Кит отдал честь. — От побед не устают, но у меня сегодня не война, а загородная прогулка. Господа сбились в одну улицу, как в трубу. Мы хлестнули из пулеметов. Никакого сопротивления... — Он кивнул на бермановских конвоиров: — Интересная у вас охрана.

— О да! — воскликнул Берман и обратился к милиционерам: — Пойдем со мной, поможет решить задачку с переводом заключенных.

Всадники оставили лошадей на лужайке. Ворота открылись. Все прошли во двор.

— Здравствуйте, товарищ Берман! — Комендант щерился. — Куда ж их сажать? Тюрьму разгружать нужно!

— Досмотришь представление до конца, — сказал Киту предгубчека, — даже будешь действующим лицом... Этих уплотняйте поближе, — он указал тюремщикам на приведенных из Белобородова, и их увели, — этих куда угодно, — похожих на канцеляристов забрали тоже, — а этих, — ткнул пальцем в милиционеров, — держать под прицелом!.. Господа колчаковцы, оружие на землю! Вместе с португеей! Кто дернется — пулю в лоб!

Арестовать всю конную милицию — двадцать человек! — такого никто не ожидал. Немая сцена длилась долго, с полминуты, затем кто-то из них буркнул:

— Ошибаться изволите... — И под шестью пулеметами взвод разоружился.

— Рассовать их поближе по разным камерам, — приказал Берман. — А вы, господа колчаковцы, кашпелевцы, семеновцы, запомните: кто из вас вперед всех выдаст мне штаб вашей организации, тот жив останется. Я с часок тут побуду... Вот, Илья, и мы умеем брать без сопротивления.

Бывших милиционеров обыскали и по одному сопроводили в кирпичный корпус неподалеку.

— Неужели все? — Кит изумился.

— Все! Они на завтра готовились поддержать городскую смуту. На понедельник назначено восстание, хотели многих арестовать на служебных местах. Кое-кого, кто к этому причастен, мы уже знаем, они у меня



в списках значились, с полтысячи наберется... Сплели, гады, сеть, ползуются тем, что у советской власти мало специалистов. Пробились в секретари и делопроизводители — поближе к текущей информации. Все в их руках оказалось: бланки, печати, удостоверения, учетные карточки. Сколько белогвардейцев с настоящими документами на чужую фамилию — трудно вообразить!.. Ох, и живучий же народ! Вроде бы всех уничтожили, так ведь еще есть, и еще! По уезду что ни село, то готовая банда. Мы против труддезертирства чрезвычайные меры принимаем, передвижения меж уездами регистрируем, а белогвардейские эмиссары передвигаются по губернии свободно...

Берман вспомнил, что волостная головка Богородского не сообщила в губревком о ситуации ни вчера вечером, ни сегодня утром; дежурный по Губчека запросил о подаче сведений и получил телеграмму, что в воскресенье никого из начальства нет.

— В Богородском волостного председателя и военкома куда-то черт унес. Зав общим отделом проявил активность — и тоже пропал подозрительно, а должен был связаться с губревкомом, отчитаться. Тишина тамошняя мне доверия не внушает. Там дело затевается. Взял бы ты взвод с любимым своим «люйсом» и наведалься туда поглядеть.

— То — пожалуйста.

— А сейчас ты мне покажешь, кто из офицериков психикой слабее.

— Тоже пожалуйста. — И Кит повернулся к своим красноармейцам: — Товарищи, вы можете самостоятельно возвращаться в казарму. Спасибо за службу трудовому народу!

Одиннадцатого красные заняли село Вьюны. Новониколаевский горюездний исполком постановил «в восставших волостях весь контрреволюционный и кулацко-спекулятивный элемент, а также неблагонадежную интеллигенцию изъять и заключить в концентрационный лагерь», а в докладе отметил: «Расстреляно на месте отрядами в обстановке, допускающей это, до 250 человек. Кулачеством выполнена разверстка в двукратном размере». На просьбу предсибревкома Смирнова помочь пострадавшему району насущными товарами председатель Совета Народных Комиссаров Ленин велел «забыть про Колывань».

Глава XIX. 11 — 12 июля, Богородское

Сказка Саввиной жизни складывалась неправдоподобно к лучшему. В бумажнике лежали разрешения от разных властей на создание опытного агроучастка, в сумке — средства для безбедного существования, рядом сидела Нина, упросившая речников взять его с собой, и нынче ночью они оставят Богородское, и может статься, она согласится уехать с ним в Баво и — почему бы нет? — выйдет за него замуж. Савва так вверился своей удаче, что не желал допустить мысли об ином.

Он вернул Лидии Олеговне макинтош и попросил прощения, что огород в порядок привести не успел. Нина возвратила ей книгу «Основ-

ные вопросы марксизма» и пожалела, что меньшевик Плеханов простое изложил тяжело:

— В отличие от Ленина, он не умеет ясно мыслить.

Солнце ушло в болото, но яркие сумерки еще держались.

Речники повествовали о приключениях на обских просторах, и, когда запас самых увлекательных баек иссяк, все заговорили про лучшую жизнь — с чего начать и что делать, — и Нина вспомнила, как богородский культурно-просветительный кружок поставил пьесу Островского «Не так живи, как хочется».

— Пьеса очень старорежимная, но правдивая. Наши старики играли с удовольствием, душевно получилось, всем понравилось... У нас в кружке аж сорок пять человек! Ролей на всех не хватает, зато народные массы можем хорошо представлять. Мы и волшебный фонарь приспособили цветные картины на стене изображать. Интересно... Разрешение на проведение спектаклей нам дали. Но на все деньги нужны: на декорации, парики, костюмы, краски, керосин. С членских взносов и со сборов мало получается. С Островского самое большее было двести рублей, и всё партком забрал для польского фронта — да для воинов-то не жалко...

— Грустно тебе сейчас все это бросать, — посочувствовал Савва.

— А я вернусь! — фыркнула Нина, как ножом его резанула. — У меня тут и работа, и общественные обязанности, и друзья, и квартира. Узкий серпик месяца скрылся за черными облаками.

Без стука вошла и поманила Нину в сени Анна Колбаско, жена предсельсовета.

— Сенцов тут?

— Савва, к тебе!

— Здравствуйте. — Ничего хорошего не ожидая, он насторожился.

— Ты чекист? Вызнали про тебя... Алеша слышал, что за тобой придут. Убьют. Уходи куда подальше! — Колбаско надвинула на лицо платок и побежала прочь.

— Ох! Они, наверно, контрольную ленту нашли, как ты разговаривал... — Нина застонала. — Иди огородами, осторожно, к пристани! Если мы скоро не придем, сам в Томск добирайся.

— Ладно. — Он осознал необходимость быть послушным. — Надо так надо, до Томска так до Томска. Запомни теткин адрес: в переулке Татарском последний дом. Ирина Борисовна Гусева.

— Запомнила.

Он зашел в комнату, где дремал Мальшев, взял сумку, буксирной команде решил ничего не говорить, подумал, не поцеловать ли Нину на прощанье, и ткнулся в ее щеку носом. Она его подпихнула — иди, мол, можно без нежностей — и возвратилась к речникам:

— Товарища Сенцова ищут, могут сюда прийти.

— Ну, Сенцов, с тобой нельзя связываться! — возопил капитан. — Не дай бог, все сорвется! — И стал костерить Савву за то, что всегда надрывается на неприятности.

С крыльца донеслись голоса.



— Легки на помине! — Кочегар засуетился: — Прячьте вещи!

Речники побросали дорожные мешки под вешалку, зачихнули сакво-
яжи под кровати. Нина ускользнула в комнату хозяйки.

— Желаем здравствовать честной компании, извиняйте, что нас так
много, — зачастил первый гость, высокий и пышноусый, с расстегнутой
кобурой. — Давайте знакомиться, начнем с вас. Никто из наших к вам не
подселся, это даже удивительно, отлично бы сдружились.

Пришлые повстанцы разместились поближе друг к другу: в вол-
исполкоме, лесничестве, бывшей богадельне, бывших кабаках, бывшей
читальне бывшего попечительства о народной трезвости, кого-то взяли на
постой, а у Панкратовой жильцов не прибавилось.

— Мы эту ошибку исправим. Не потесним? Да вы, кажется, пере-
езжать хотите...

— Да нет, — промямлил капитан, — спать мы хотим.

— Потерпите. Вы все с буксира «Репин»? И правда, угля у вас нет,
не уехать, а водяное начальство про вас забыло... А ваш друг Сенцов где?

— Только что тут был. Да он не друг, просто сосед. Поди-ка, в га-
льюне сидит.

— Во как!.. Проверьте, — попросил усач кого-то из своих и вновь
обратился к водникам: — А вы б, ребята, к нам присоединялись постоять
за правое дело.

— Да наши семьи без нас который день маются! — возмутился капи-
тан. — Жены уже с ума посходили, где мы да что мы! Наша команда под
Ташарой троих потеряла, красноармейцы ни за что пристрелили!

— Мстить надо, — убежденно изрек усатый.

— Мы по комнатам прошлись, — просунулся вперед Дедюхин, —
Сенцова нет.

— А кто есть?

— Хозяйка и девушка, и мужик пьяный спит. Дамы говорят, что
Сенцов съезжать не собирался, а мужика мы пока будить не стали.

— В уборной никого, — доложил кто-то, — так что, если есть же-
лающие...

— Сенцов располагался в какой комнате? — продолжал главный. —
Кто с ним обычно лясы точил?

— Там, где пьяный. Это кожевник приезжий, он редко высовывает-
ся, пьет и дрыхнет.

— Придется его разбудить. — Усач повернулся к речникам спиной и
бросил через плечо: — Утром придете в сельсовет, с каждым поговорим,
что да почему...

— Влипли, — прошептал капитан. — Найду Сенцова — убью.

У Мальшева мужики веселым гоголом оценили обилие разнокали-
берных бутылок.

— Эй, господин хороший! — потрясли его за плечо. — Просыпай-
тесь, дело есть!

— Я не «эй», — проронил пьяница, повернулся на спину и, зевая,
перекрестил рот, — а может, и хороший, но грешник. Я Никита Петро-
вич. С кем имею честь беседовать?

— Командир дубровинского отряда Максимов Прокопий Яковлевич. Документы, пожалуйста, покажите.

Мальшев указал на пиджак. Максимов достал из него удостоверение члена Чемальского кожевенного товарищества и месячной давности выездное разрешение, рассмотрел с обеих сторон и сунул назад.

— Все в порядке... Мы вас разбудили, потому что рядом с вами жил агент ЧК Сенцов, от нас сбежавший.

— Кто? — Кожевник расхохотался. — Чекист? Я сплю или проснулся?.. Это самый простодушный человек на всем белом свете!

— Мы в Дубровино тоже так думали, — засопел командир. — Он вел себя будто бы наивный человечиска. А тут мы нашли ленту его переговоров с Губчека, отчетец о проделанной работе. Сенцов занимался слежкой. Он понимает, как с кем разговаривать, как воспользоваться ситуацией, даже как ее создать. Это спец.

— Нюх у него поразительный, — вставил Дедюхин.

— Черт возьми! — Мальшев сел. — Черт возьми! Не может быть!

— Он умеет втереться в доверие, — процедил Дедюхин. — И ведь кто-то ж ему сообщил, что отряд идет в Богородское! И кто-то сейчас предупредил!

— Он никуда не намеревался? — спросил Максимов.

— Да разве ж мне это интересно? Меня чужое не занимает. — Мальшев помотал головой. — Но я потрясен. Я думал, он блаженный агроном.

Савва шагал в темноте по грядкам, перебрался в соседний огород и услышал, что к Панкратовой нагрянули. «Успел! А теперь?» Ночное хождение с сумкой по чужим усадьбам было весьма опасно: принять его за вора и проверить ночью мог кто угодно. Село не утихло от волнения и не уснуло, однако его окликнули только раз, и он надал ходу через забор и скрылся за кустами. Впереди возвышалась Одигитриевская церковь и открывалась площадь с коновязью, конторой и бдящими повстанцами. Савва, не зная тропинок сквозь дворы, вновь двинулся напролом.

Огромный пес налетел на него с громким лаем, норовя сбить с ног. Он стукнул пса сумкой по морде. Тот вцепился в ляжку зубами, зарычал, потащил к себе. Человек тоже взвыл и стал отчаянно дергать сумку обратно.

— А ну, кто здесь? Отзовись!.. У вас тут воры шалят, однако!.. Эй, кто там? Держи!

Бабахнуло, и пуля вскользь обошла Савве лоб. Он выпустил сумку и, где сгибаясь втрое, где прыгая, преодолел две ограды, выскочил на Гривку и ринулся к Оби. Никто за ним не погнался.

Пытаясь вымыть лицо, он долго не мог унять сочащуюся кровь и безуспешно промакивал лицо платком, превратившимся в липкий комок. По спине запоздало сыпались мурашки страха.

Он понял, что ждать у пристани Нину с репинцами не станет — бо-язно, уплывет подальше и будет их высматривать с удобного места. Сре-

ди лодок выбрал самую маленькую — «Прости, Господи, краду, но не хочу», — а затем шарился почти во тьме, отыскивая чем грести, нашел обломок доски и утянул обласок в воду. Зайдя по колено в Обь, он перегнулся через край валкой лодки, чуть не опрокинул, сполз на днище и ощутил, что неумелому пускаться в плаванье — риск немалый. Боясь попасть на глаза и под выстрел пристанского сторожа, Савва торопливо погреб, стараясь выбраться на стрежень, однако проплыл мимо дебаркадера лишь в двадцати саженях. Никто не заинтересовался плывущим в ночи по течению.

Он пристал к острову, взвалил долбленку на плечо и пошел к другой протоке. Еще один остров, за протокой, Савва тоже не считал подходящим убежищем. Он выплыл на средину Оби и отдался воле волн.

Сказка вдруг кончилась. Он потерял сокровище, которым целый день владел. Он уже не надеялся на счастливую женитьбу. «Почему такая планида выпала?» — думал он, но не задумывался, отчего раньше, когда все складывалось удачно, не спрашивал себя — почему. Лишь для любимой работы обстоятельства были хороши при любой погоде.

Блескучая черная вода качала его, ласкалась к лодке, успокаивала. Савва уснул.

Глава XX. 12 июля, Богородское

Максимов и Дедюхин напросились на постой к Воробьевым, и в понедельник поутру Прокопий и два Ивана, Дедюхин с Духониным, беседовали о важных делах по-домашнему.

— Я Сенцову говорю: «Ты чекист?» — рассказывал Духонин. — Он говорит: «Не чекист, а грузчик при Шишкове и еду в каюте с транспортным сотрудником, тот попросил у сходней подежурить...» Да Сенцову все поверили! Особенно после того, как он с парохода сиганул и чуть не утонул.

— Все, кроме меня. — Дедюхин усмехнулся. — Он прекрасный актер, Мозжухину под стать... Если честно, то я и вам не верю. Сдается мне, Иван Лукич, что вы с покушением на мертвого Шишкова спектакль устроили. Кто бы с топором на вооруженного человека стал нападать? Вашего брата здесь пруд пруди. В Дубровино даже начальник нашего гарнизона чекистом оказался! Село красноармейцы за час взяли. Огромное село — за час! Мы гарнизонного, конечно, сразу расстреляли. Я и вас бы с удовольствием расстрелял, но нам заложники нужны. Сейчас вас посадят рядом с исполкомским, и ждите там до радостного утра, когда ваши томские друзья вашу участь решат. Так что возьмите свои вещи и пожалуйте под замок.

— Вещей у меня нет. — Духонин встал со скамейки и сказал в окно: — Людмила Михайловна, простите, я вынужден уйти. Я будто бы чекист и теперь арестован. Прошу не обижаться и не стараться мне помочь. Этим господам ничего не докажешь.

— Боже мой! — Людмила замерла у подоконника. — Кирилл и Се-
рафим с Настей в поле... Вот так гости! Надеюсь, гости дорогие, я вас
больше не увижу... Иван Лукич, мы вас не бросим!

— Нам собраться — только подпоясаться, — смутился Максимов. —
Извините, так получилось.

— Перестань, Прокопий, — скривился Дедюхин. — Чистить надо,
тщательно чистить.

Дубровинцы и арестованный проследовали в бывший кабак. Возле
него курил мужик с ружьем, а внутри, сгорбясь, сидел Оловянишников
и густо сплевывал на пол. Духонин переступил порог. Дверь за ним за-
творили.

— Здравствуйте. — Иван присел на лавку.

— Здравствуйте! — откликнулся Оловянишников. — Простите, я
плохо вижу и плоховато слышу. Кто тут?

— Духонин Иван Лукич, приезжий с Урала.

— Очень приятно. Я тоже Иван... Филиппович. Оловянишников.
Зав общим отделом волисполкома... Тут на столе оладушки и квас, жена
принесла, покушайте.

— Благодарю, я завтракал.

В голове его, словно заезженная пластинка, крутилась ария Лен-
ского «Что день грядущий мне готовит?»: по давней филерской долж-
ности ему выпадало нередко посиживать в театре. Филерство научило
терпению. «Подождем», — предписал он себе, как бывало прежде много
раз.

— Расскажите, пожалуйста, про Урал, — попросил волостной, — а
то уж больно тоскливо... А если желаете отдохнуть, то лавки сдвигать не
советую, щель образуется, на столе спать удобнее... Меня за должность
посадили. А вас за что?.. Все стремился в люди выйти, и в декабре про-
шлого года оказали мне доверие, выбрали заведующим общим отделом да
еще и секретарем. Другого начальства сейчас на месте нет, поквитались
со мной за всю советскую власть. И всегда с нами, управленцами, так:
там мы за недород виноваты, тут за продрозверстку. Уделали земляки —
места живого нет, все здоровье отбили, не прилечь: все болит. Сашка Ар-
кашёв расстрелять хотел, да Степан Ильин вступился... Простите, если
вам не нравится то, что я говорю... Жене, Елене Дмитриевне, двадцать
девять лет, городское училище завершила по письмоводству, делопроиз-
водительницей в продовольственном отделе трудится, тоже все за нее го-
лосовали. Ей бы в Томск хотелось, конечно, а она тут ради всех старается.
Халатно к служебным обязанностям мы никогда не относились... Жена
у меня молодая, ведь ей с такой моей мордой жить может быть непри-
ятно. Дочкам восемь годков и пять, красавицы, они же всё понимают.
И что они про отца думать смогут, если ему от народа такая благодар-
ность? Старшенькая книжки читает и газеты, стихи хорошо запоминает,
арифметику знает, умница. Маленькая рисует похоже... А за что вас по-
садили?

— Живем без власти! Превосходно получается! — говорил Серафим, на каждое восклицание взмахивая вожжами, и лошадь получала легкие шлепки и везла телегу быстрой. — А если где какое затруднение, всегда столкнемся.

— Ну да, ну да.

Кирилл не спорил, а Настасья болтала ногами и тихонько напевала.

— Я все размышляю, Кир, — рассуждал Серафим, — Богородское способно против Красной армии обороняться? Мы ж как на острове! Сюда попасть — или вдоль берега, а там Гривка как защитный вал, или гатью от Мельниково, а по весне и ее нет, без лодки никуда! Тут и погреба не копают, они обычно на заимках.

— Обороняться способно, оборониться — нет. Против регулярных частей партизаны, как правило, беспомощны. Захотят большевики — захватят Богородское в клещи с Оби и с гати. Кстати, новоявленный есаул Сибирский ничего в диспозиции не соображает: здесь не место для сбора, здесь возможностей для маневра нет...

Дома их огорошило странное известие про Духонина-чекиста. Серафим пошевелил губами и отправился искать начальство.

В конторе Аркашёв что-то внушал телеграфистке.

— Вот ты-то, Александр, мне и нужен! — Серафим вторгся в аппаратную. — Добрый вечер!.. Что творится? Попросились к нам дубровинские, переночевали, а потом увели моего друга, якобы он чекист! Ты воинский начальник, растолкуй, что к чему, почему...

— Здравствуй, Фима. — Аркашёв лениво протянул ему руку. — Честное слово, ничего про это не слышал. Дубровинские не в своей епархии раскомандовались. Если ты за друга ручаешься, отпустим. Он кто?

— Приказчик Духонин из Камышлова, на ярмарку к нам приезжал.

— Не повезло ему с фамилией! — Аркашёв хохотнул. — Ну, прогуляемся... До свиданья, Полина Ниловна. Хлопот полон рот.

Он встал и покрепче подтянул портупею, ощупал кобуру, поправил непривычную для него шапку.

— Я нынче в Мельниково бабарькинских видел, — сказал Серафим по пути к кабаку. — Они обижаются, что все войско в Богородском, а другие села без поддержки остались.

— Они правы. Вот дубровинских в Бабарькино и переведем.

— И еще. Здесь плохое место для сбора: красные Богородское в клещи могут взять...

— Фима! — Аркашёв возмущенно остановился. — Остынь! Предоставь решать мне! Я к тебе хорошо отношусь, но ты уже раздражаешь.

У кабака он поприветствовал охранника и попросил открыть дверь.

— Иван Лукич! — позвал Серафим в глубину. — Где вы? Свобода вас примет радостно у входа!

— Иван Лукич Духонин здесь по ошибке, — пояснил Аркашёв часовому. — Я его отпускаю.

Духонин вышел и улыбнулся.

— Ну и фамилия у вас! Сочувствую.

— Да, каждый шутник норовит расстрелять.

— У меня к вам просьба. — Аркашѐв наклонился к плечу Ивана. — Чтоб не возникли ненужные осложнения, посидите вечеров дома, а завтра я ваших обидчиков спроважу подальше.

— У меня тоже просьба, если позволите. — Духонин вытянулся в струнку. — Там находится человек. Ему нужен доктор.

— Фима, — насмешливо осведомился Аркашѐв, — в Богородском фельдшер есть?

— Нету. Обещали устроить больницу, да забыли.

— И у меня нету ни фельдшера, ни знахаря. Если кого ранят, то оказать помощь представляется, увы, затруднительным... Ну-с, будьте благополучны. — Он красиво откозырял и удалился.

Возле дома Ильина Серафим с Иваном встретили хмурого хозяина.

— Здравствуйте, Степан Лаврентьевич. — Серафим замялся. — Простите за вопрос: вы на заимке хлеб хранили?.. Да не глядите так, кто-то уже проверял... Мы на поле были у Еловки, шли к речке мимо вашей избушки, все у вас настезь, мы и заглянули вам отчитаться. В комнатах пыльно, нетронуто, а вот в подполе перекопано. Если не вы сами хлеб отрыли, то кто-то у вас понахальничал.

— Понятно, — не тотчас ответил Ильин и оперся об изгородь. — Не хранил я там ни зерно, ни говно. Вор — он и в пустом доме что-нибудь найдет, а не найдет, так напакостит. Руки-ноги надо отрывать паршивцам.

Глава XXI. 13 июля, Богородское

Ильин не спал. Мешали шумные постояльцы, собравшиеся в Богородском неизвестно надолго ль. Он маялся взваленными на себя заботами по селу, хотя пока никто ни с чем не докучал. В мыслях теснились три дочки, коих надо встраивать в чужую, но хорошую жизнь, почти параличные родители и болезненная жена. «Жалко, что у отца-матери да у Ксени нет радостей никаких, — думал он, — а теперь уж и на карамельку придется копить». И клял соседа и его пронизательность: «Из-за тебя, Василий, потерял отложенное на черный день!» — а Серебренников будто отвечал: «Почто под мою мерку подлез? Да ты ж даже не знал, куда и как свое добро пристроить».

К утру пришлые утомонились, жена ушла в коровник, Степан Лаврентьевич стал придремывать, однако уснуть помешал девчачий хохот. Дочки часто собирались вместе с тремя братьями Серебренниковыми на границе участков и, дети нового века, что-то обсуждали и покатывались со смеху, но парни уехали и, значит, Сашка, Машка, Наташка сами нашли причину для веселья. Жена прикрикнула на них — те не унимались. «Наталье замуж пора, — озабочивался Ильин. — Василий приобрел для старшего сына заимку: не хотят ли посвататься? И Марья совсем невеста, и Сашка скоро сестер догонит — богородчане болтали, что на царских дочек похожи, упаси бог от такого сравнения после зверства екатеринбургского».



Он натянул штаны, надел рубаху и вышел во двор. Полтора десятка лет назад для Наташки, Машки и еще не появившейся Сашки (Ксения уверяла, что родится мальчик) Ильин посадил малину и смородину, и девиды, как всегда еле дождавшись первой зрелой ягоды, паслись в кустах. Резвились они с Акбаром. Когда-то Сашка принесла его с улицы скулящим брошенным щенком; он вырос в крупную черную лайку и признавал только хозяина с хозяйкой и Сашку, к остальным снисходя по настроению.

— Эй, сороки! Спать не даете!

Акбар высунулся из-под зарослей и снова спрятался. Девчонки затопали на него:

— Акбар! Отдай! Не будь свиньей!

Пес не желал подчиняться.

— Он сумку нашел и не хочет отдавать! — пожаловалась младшая.

— Мы его упрасивали, упрасивали, а он дурачится. — Наталья засмеялась. — Он нас не пускает и вертится всяко.

— Вы так всю смородину переломаете. — Степан Лаврентьевич взял пса за ошейник, вытащил из кустов и вручил Сашке. — Привяжи разбойника.

Дочь повлекла обиженного Акбара к конуре.

— Где эта сумка?

— Он ее туда уволок, — Марья показала под забор, — а она тяжеленная!

Хозяин протиснулся сквозь кусты и увидел сумку — грязную, изгрызенную — ту, которой здесь быть не должно. Он расстегнул ее и в тряпках обнаружил два жестяных цилиндра.

— Как она здесь оказалась?

— Не зна-аем, — сказали девчонки, испуганно глядя на его лицо.

Он унес сумку в дом, достал из тряпок жестянки и обе открыл: все было в целости. Все было реальным, только комната пошла кругом...

Серафим пропел Ивану:

Судьба играет человеком;
 Она, лукавая, всегда
 То вознесет тебя над веком,
 То бросит в пропасти стыда, —

и перешел на прозу: — Посидел в узилище и будто не сидел. Значит, не судьба.

— Значит, предупреждение, — поправил Иван. — А ты в судьбу веришь?

— Ну как же человеку без судьбы? Можем про эти тонкости у отца Филиппа спросить. — Серафим простер руку вдоль Большой улицы, в конце которой высилась Одигитриевская церковь. — Пойдем-ка в храм свечку за твое избавление поставим. Стоило б заутренню отстоять, да не удались мы с тобой как хорошие христиане...

Протоиерей Филипп Асеев в Богородском жил первый год, однако же успел стать человеком уважаемым не только по уму и здравомыслию, но и умелым противостоянием волпарткому, посягавшему забрать церковный дом под культурно-просветительный кружок. По советским законам имуществом церкви стал ведать волисполком, исполняющий указания ликвидационного отдела Наркомюста, но в Богородском победил отец Филипп. Дотоле он восемь лет провел в Монастырском и Анастасьевском и местную жизнь знал хорошо, тем более что и трудился как землепашец, держа храмовое хозяйство на даяния паствы, а семью — на дары земли.

Церковь — каменная, трехпрядельная (в честь Смоленской иконы Богородицы, архангела Михаила и Иоанна Предтечи), в семь куполов, семь колоколов — в местном благочинии почиталась красивейшей.

На ступенях паперти приходящий из Мельникова старик Алипий собирал милостыню и твердил:

— Спаси вас Бог! И вам подадут! И вас не оставят!

— Спаси Бог тебя, дед Алипий. — Серафим дал ему бумажный рубль. — Вчера проезжал я мимо твоего двора и порадовался: всё в достатке, бабы суетятся, тебя ждут, а ты, поди-ка, и вечерню тут просидел.

— Было у Ноя три сына, — шепнул дед, — Сим, Хам, Иафет. Тебя Симой зовут, не забыл я?.. Попрек твой напрасен, ибо я тут очень нужный, я тут Богу служу, к милосердию взываю и взрослых оболтусов исправляю.

— Эх ты! — хмыкнул Серафим. — Ты, дед, человек умный, скажи: есть судьба?

— Без Бога, без судьбы никуда, не сомневайся. За сомнения сорок поклонов пред чудотворной положи.

— Бывай, дед Алипий. Послушаешь тебя — так и рядом сядешь.

— А ты не пугайся, от сумы не отрекайся... — Дед настроился на долгое поучение, однако Серафим уцепил друга за рукав и, перекрестясь, поспешил в двери.

Церковь удивляла роскошью и умно устроенным светом из ввысь вытянутых окон. Друзья взяли по свече и приблизились к темному лику чудотворной Смоленской иконы, укрытому в позолоченную ризу, украшенную изумрудами и рубинами.

— Не отступи от мене, Мати Бога моего, за роптание и нетерпение мое...

Они долго стояли, всматриваясь в глаза Богородицы, но молился лишь Серафим, а Иван растерял слова и мысли и просил душою нечто неосознанное, досадуя, что не может это выразить.

— ...яко Спаса родила еси душ наших...

Иван зажег пред образом свечу и, отойдя поодаль, признался:

— Не получилось общение. Не сумел высказаться...

— Ах, милый ты человек, — Серафим даже обрадовался, — да ведь это лучше, если б ты просто что-то бубнил! Еще б не растеряться!.. Богородица поймет.

— Об этом я только на том свете узнаю.

— Это не поздно, — успокоил Серафим. — О! Отец Филипп, здравствуйте!

— Здравствуй, человек с восхитительным именем. Здравствуйте. — Священник кивнул Ивану.

— Отец Филипп, скажите, ведь в судьбу верить не возбраняется? И даются ж нам намеки некие, указания, как себя вести?

— У! — Отец Филипп потускнел. — Совсем ты, Серафим, заплутал. Что и ожидать, коль в Божьем храме не бываешь. Какие тебе указания нужны кроме всем понятных евангельских? Бес — тот быстро даст тебе указания любые, какие попросишь, знай равняйся да сполняй... Нет в православии такой фигуры — судьба, рок, фортуна, и силы такой нет. Есть жизненные обстоятельства, удел земной. Ну, назови это судьбой, но... что ты тем самым делаешь? Ты ее оживляешь в виде ведьмы, и в эту ведьму веришь, и вздумал, что она тобой руководит! Не ты ею, а она тобой! Ты романтическую литературу плохо переварил... Есть промысел Божий о нашем мире и о каждом из нас в этом мире, однако и мы не пустышки, наше будущее зависит от нашей воли. Мы ж не кальвинисты зашоренные... С высоты своих пятидесяти трех годков могу сказать: то, что ты называешь судьбой, есть самообман. Себя ты стал плохо понимать, оттого и в голове болячки... Взял бы в нашей библиотеке книгу, умными людьми написанную, да почитал, да мне пересказал, а то я все не успеваю.

— Спасибо, отец Филипп. — Серафим поклонился. — И за нахлобучку спасибо. Я все уяснил. Но ведь может же Бог предупредить человека о чем-то?

— Он все может. И показать нам наше ничтожество может. И показать, как Он нас любит, может. Главное, чтоб мы Его поняли верно.

— Ну, простите, отец Филипп. Благословите, пожалуйста.

Отец Филипп перекрестил Серафима, перекрестил Ивана и пошел в ризницу.

Ядовитый дед Алипий попытался что-то внушить Серафиму и дернул его за штанину:

— А вот тебе притча...

— Плут старый! — осерчал тот. — Я тебе такую судьбу пропишу! Людей в грех вводишь, наплел мне лаптей российских! Епитимья тебе — сорок дней тут не бывать!

— Ох, Сим, — Иван увел друга от крыльца, — наверно, закоснел я в ложных понятиях, не умею с ними попросту расстаться. Отец Филипп все убедительно трактует, только про ведьму и поклонение — это он зря... Мы сами творцы своей судьбы, как говорится.

Глава XXII. 13 июля, Трубачево — Нагорный Иштан

Обласок уткнулся в остров. Надежда на свидание с Ниной слабела, но Савва ее не терял: если команда «Репина» свой буксир угонит, то изловить его тут будет легко — по мелеющей протоке пароходу не пройти,

он двинется вдоль другого берега. Путник втащил лодку в густой тальник и, следуя правилу «когда спишь, есть не хочется», весь день спал да спал.

Потом он лежал на траве и глядел в ночные небеса, будто сверху вниз. Лунный серпик совсем истончал. Редкие звезды лежали на небе, как хлебные крошки на столе бедняка. Савва ощущал себя в мироздании маленьким и мимолетным, вроде невидимых зудящих комаров, и думал: «Ничегошеньки мы, глупые, в жизни и в самих себе не понимаем».

Природа помаленьку примешивала к ночи светлые краски; он смотрел на это действие и дивился, но июльская заря явилась с холодком, пришлось подняться и пройтись, чтоб согреться.

Из тумана возникла фигура сердитого остяка.

— Кто лодку в кусты прятал? — спросил он, не здороваясь.

— Я.

— Это Николая Федотова лодка. В Богородское Николай ходил...

Украл?

— Украл.

— Как Николай вернется, ты думал? Как подарки детям повезет, ты думал?

— Прости, не подумал. Мне уплыть надо было.

— Я в Богородское пойду, Николаю лодку повезу, свои дела брошу.

Хорошо это?

— Хорошо... Ой нет, нехорошо.

— Я в Богородское приду, узнаю — Николай пешком в Трубачево пошел. Хорошо это?

— Плохо.

— Кто виноватый?

— Я.

— Ты виноватый, будешь тут сидеть. Николай Федотов накажет тебя.

— Понятно.

Савва не сопротивлялся. Моление о буксире стало еще горячеей.

— Трубачево на том берегу?

— На том берегу.

— Какая тут власть?

— Совсем дурак? Советская власть.

Остяк повернулся, ушел и вскоре проплыл мимо на небольшом обласке с привязанным к нему краденым, усиленно работая веслами против течения.

— Прости, друг! — крикнул Савва.

Солнце согрело землю.

Стало ясно, что за две темные ночи буксир угнать не удалось. Иссякла надежда увидеть Нину в ближайшее время, и таяла вероятность их встречи в Томске. Из Томска Савва решил ехать до Барнаула, ведь разрешение на получение обратного билета он не использовал. Отпускные дни, данные сельсоветом, давно кончились, однако он мог оправ-

даться отсутствием пароходного движения и похвалиться мандатом на устройство бесценного экспериментального агроучастка, благо подпись губпродкомиссара заставит местных начальствующих помалкивать.

Возле Трубачева с парохода выгружались военные с лошадьми. Жажнули винтовочные выстрелы. Красноармейцы рассредоточились и ответили частой пальбой. «Ошибся остяк, — понял Савва, — тут власть крестьянская, но, кажется, ненадолго».

На ревизию Богородской волости прибыл взвод ЧК в сорок человек во главе с Китом-Вийтенко. Боеспособное население Трубачева командир расчел в двести с гаком — по числу двухсот дворов. Соотношение сил сложилось как один к пяти, и следовало допустить двойное преимущество находящихся в обороне, но Кит не мог принять мужичье всерьез и сказал себе: «Впереди у меня не только Трубачево. Если б не необходимость расстрелять офицерский сбор в Белобородово, я б в последние несколько дней разобрался с местным быдлом».

— Товарищи! — протяжно объявил он с борта в рупор. — Герои революции! Пустим изменникам песью кровь!

— Командир! — закричал кто-то из-за сараев. — У нас в заложниках семьи ваших коммунистов!

— Плевать мне на их семьи, — с мягким акцентом ответил Кит. — Делай что хочешь. Я не стану потакать врагам советской власти из-за никому не нужной бабы... Гранатометчики, вперед!

Четверо красноармейцев вскочили и кинули по две гранаты. Три из них для пушного устрашения попали в избы.

— Взвод! К бою!

Под грохот взрывов, свист осколков и звон лопнувших стекол красноармейцы бросились в дым и пыль...

Пораженный Савва, не оглядываясь, побрел по острову, подобрал занесенное половодьем бревешко и, не раздеваясь, не разуваясь, переплыл с ним протоку. Пройдя мимо прибрежной остяцкой деревишки, он отыскал широкую песчаную тропу и пошагал по ней сквозь лес куда б то ни было. Душа рвалась домой. Здешние природные красоты, лужайки да кедрачи, его не радовали. Отмахав полтора десятка верст, он остановился возле села в конце дороги, разостлал на траве пиджак и прилег.

Отдохнув, он проверил бумажник. Серенькая советская пятисотка осталась нетронутой: Дедюхин постыдился ее изъять, Савва поспешил разменять — денег на поездку должно хватить. Документы, лежавшие вместе и промокшие под позавчерашним дождем, слипшиеся, высохшие, походили на слоеное пирожное. Он легко отделил дубровинский листок, пострадавший в строчке по сгибу; про опытный участок по выращиванию морозостойких зерновых почти не читалось, но он этим не обеспокоился, скомкал повстанческое распоряжение и выкинул. Свидетельство без фотографии — «Предъявитель сего Сенцов Савва Георгиевич есть действительно агроном с. Баево Нижне-Кулундинской вол. Барнаульского у. Алтайской губ., что подписью и притиснением печати удостоверяется», — выглядело попорченным, хотя годным к предъявлению. На баевском

волисполкомском выездном дозволении сносно сохранился лишь типографский штамп, а рукописный текст проявился по соседству на тонкой бумаге губпродкома. Комиссарский мандат, некогда заботливо уложенный в середину, ныне прорванный и превратившийся в мутное чернильное пятно, прочесть теперь мог только Савва, помнивший это разрешение наизусть...

Председателю Томской губернской чрезвычайной комиссии
 Берману М. Д.

ДОНЕСЕНИЕ

Сего дня, 13 июля 1920 г., в 17-00 сотрудниками милиции с Нагорный Иштан был задержан нежданный гражданин, по предъявлении удостоверения личности оказавшийся агрономом с. Баево Барнаульского уезда Сенцовым Саввой Георгиевичем. На вопрос, как он здесь оказался, Сенцов С. Г. отвечал, что бежал из с. Трубачево Богородской вол., в котором расположились мятежники против советской власти, и пробирается в Томск, чтобы оттуда направиться в родное с. Баево. Помимо удостоверения личности, выданного Нижне-Кулундинским волисполкомом, у Сенцова С. Г. оказалось выездное разрешительное удостоверение вышеназванного исполкома, рукописание на котором испорчено попаданием воды, поскольку, по словам Сенцова С. Г., ему пришлось переплывать Обь. Разъяснения, данные задержанным, и его тяжелое нервное состояние показали правдоподобными, и Сенцов С. Г. был отпущен с советом добираться до Томска водным путем либо дорогой на Тигильдеевы Юрты и далее.

В 18-30 при дежурном обходе окрестностей сотрудниками милиции был найден утерянный документ следующего содержания: «Дано настоящее разрешение представителю революционных крестьянских сил Сенцову Савве Георгиевичу на организацию опытного участия (далее три слова затерты). Председатель временного революционного крестьянского комитета Зибельман. 8 июля 1920 г. Дубровино». Поняв, что Сенцов С. Г. является не тем, за кого себя выдает, а на самом деле является связным агентом мятежников и подпольным агитатором, были предприняты широкие действия по его вторичному задержанию, но ни в самом с. Нагорный Иштан, ни на пристани, ни при конном розыске на дорогах по направлениям к Тигильдеевым или к Базанаковым Юртам Сенцов С. Г. обнаружен не был. Так как, по собственным словам агента, его ближайшей целью является Томск, милиция с. Нагорный Иштан считает необходимым срочно предупредить Губчека об очень возможном появлении в городе опасного контрреволюционного лица, злоумышляющего на опытное участие в мятежных действиях против соввласти.

Старший милиционер с. Нагорный Иштан Нелюбинской вол.
 Бек Н.

Глава XXIII. 14 июля, Елгай — Бабарыкино

Терновой, начальник 5-го района уездной рабоче-крестьянской советской милиции отдела управления Томского гороездного исполкома, не терпел панибратства, требовал обращаться к нему не по имени-отчеству, — он не дядя родной, — а называть в соответствии с принятым: товарищ. Ему не удалось проявить воинские таланты ни в германскую, ни в Гражданскую, и ныне он использовал свой шанс, решив очистить от контрреволюционных банд вверенную ему обширную территорию в полдюжины волостей.

Потратив несколько дней в Вороновской волости на подавление недовольных, он получил сведения, что бунтовщики от Дубровина (на юге) до Трубачева (на севере) намерены соединиться в Елгае и планируют наступление на Вороново. В Елгай отовсюду нагрянули милицейские и воинские отряды, однако, обманутые, никого не застали. Восставшие встретились в Богородском.

Имея для похода под началом семьдесят пять человек и сорок подвод для амуниции, продовольствия, будущих раненых, своих и чужих, Терновой помощи в губвоенкомате не просил. Но милиции совладать с мятежом было невозможно, и губревком послал в Богородскую волость отряд чекистов-интернационалистов под командованием Кита-Вийтенко. Терновой поспешил опередить его и марш-броском из Елгая выйти к линии бунташных сел Бабарыкино, Баткат, Богородское.

С юности любимой книгой Тернового было замечательное издание «Русский чудо-вождь А. В. Суворов». Суворову он подражал в быстроте и натиске. Он прощал графу и князю усмирение крестьянских восстаний и хорошо его понимал, ведь сам сейчас тем же занимался.

Всем выдали просроченное жалованье за май и за июнь, настроение преобладало приподнятое. День выдался облачный, не припекало. Отряд наступал лежа — ехал на телегах. Еще до полудня, ничуть не устав, милиция приблизилась к Позднякову, деревеньке на левом берегу Шегарки; до Бабарыкина оставалось около трех верст.

На правом берегу возле речушки, впадающей в Шегарку, Серебренниковы ладили навес для скошенной травы. Терновой подскакал к косарям.

— Хозяин! — кликнул он сорокалетнего. — Иди-ка сюда!.. В армии служил?

— Служил. — Василий Иванович, прищурясь, осмотрел всадника. — Интендантом в Челябинске.

Терновой расхохотался.

— Ясно. А в колчаковской?

— Спаси господи. Мы люди мирные.

— Ну ладно, мешать не будем. Хотел узнать: кто в Бабарыкино хозяйничает, наши там или бандиты?

— Нас никто не тревожил. Стрельбу не слышали. А вы кто будете-то?



— Мы — уездная милиция. Похоже? — Терновой поправил фуражку.

— На стольких подводах?.. Стою кумекаю: то ли переселенцы на север лучшую землю искать подались, то ли татары за товаром?

— Колочий ты мужик. Средняк?

— А я не девка, чтоб меня мять. — Серебренников улыбнулся одной щекой. — Средняк, да.

— Покажи-ка лошадь. Конфискую за язык твой.

— Сказал, что мешать не будешь, а сам что творишь? — Серебренников стервенел, но сдерживался. — Старуха она, четырнадцать лет ей...

— Давай-давай.

— Валентин! — позвал Василий Иванович. — Веди сюда Маланью да смотри, чтоб не споткнулась. Начальник на жеребца своего сменять хочет.

— О-ха-ха! — Терновой закачался в седле. — Бог с тобой! Потешил. Живи! — И умчался к обозу.

— Новые господа вылупились, — презрительно ему в спину процедил Серебренников. — Разбойники, сволочь...

Вскоре он услышал дальнюю пальбу.

Терновой попал под прицел бунтовщиков, перекрывших южный проезжий путь, и сделал вид, что отступил. Оставив при обозе нескольких милиционеров, отряд взял вправо, лесом через баткатскую дорогу; повстанцы ее не охраняли и даже не смотрели в ту сторону. Разведка донесла, что круговой обороны нет. «Пимы сибирские! — плюнул Терновой. — Воевать затеяли!»

Каратели охватили Бабарыкино в полукольцо, вышли из леса и, вооруженные винтовками Мосина — пять пуль в полминуты, — обстреляли улицы. Захваченные врасплох крестьяне, с их десятикратным перевесом сил, пытались ускакать, убежать, спрятаться. С полтысячи верховых подняли пыль по селу, уходя на север. Пеших мятежников милиция прижала к Шегарке, речке здесь весьма узкой, но до спасительной тайги проплыть под пулями смогли не все.

К церкви принесли двадцать трупов. Пленных повязали и усадили тут же. Женщины голосили, рвались к мужьям — охрана отгоняла.

— Кто главарь? — спросил с паперти Терновой.

— Вон лежит, — нехотя ответили пленные. — Убит. Не бабарыкинский он, из Десятово. Канаев.

Избитая и на три дня запертая в училище комячейка, выйдя на волю, побеседовала с новыми пленными по-свойски. По опросу, у всех остались больные престарелые родители и дети в несовершеннолетних годах. Оказалось, что убежденных противников большевистской власти нет, есть мобилизованные, взявшиеся за вилы по принуждению. На показательный расстрел никого не нашли, возню с поиском негодных элементов отложили. Согласно выясненному, никто у колчаковцев не служил и им ничем не способствовал, однако, по опыту Тернового, белогвардейцы обязательно обнаруживались в протоколах дознания и бывший зауряд-прапорщик

Русской императорской армии превращался в прапорщика армии Добровольческой...

Ближе к вечеру Терновой получил записку: «Тов. начальник 5-го района милиции! Я принял на себя командование по чистке и требую согласования со мной своих планов. Где я могу находиться, вам сообщали. Сейчас я уже в Баткате. Вчера продотрядцы заняли Саргат и Астальцево. Я знаю, что вы взяли Бабарыкино. Поздравляю с удачей и прошу воздерживаться от партизанских рейдов. Предлагаю вам идти в Осинники и назавтра в 12-00 ударить по Нащеково с выходом на Богородское. Я с продотрядом пойду к Богородскому через Мельниково. С коммунистическим приветом помкомбат ЧК Кит-Вийтенко».

Терновой обозлился. Поросший польским мясом Вий отчитал донского казака, будто проказливого мальчишку, зачислил себе в подчиненные, ткнул мордой в чужие победы, захожему продотрядцу приписал захват Саргатских Юрт, мимо которых тот просто прошел, сравнил это со взятием Бабарыкина, волостного центра, назвал успех удачей, небрежно отнял возможность первым войти в Баткат и поскорей допросить родственников поручика Аркашёва, то бишь есаула Сибирского, учинившего здешнюю смуту. Радовала только легкость всего достигнутого красными товарищами; после рассказов о колыванском сопротивлении тут говорить было не о чем.

Терновой приказал следовать в Десятово, дабы проверить, точно ль оно повстанцами брошено и куда они скрылись, а уж потом податься в Осинники.

Пред тем как милиции сняться с места, на задворках села поймали троих беглецов из Батката, привели к церкви, записали фамилии.

— Кто-нибудь их узнаёт? Может, чьи-то родственники? — Терновой окинул взглядом толпу; никто знака не подал. — Это бабарыкинского общества люди?

— Нет, — откликнулись на площади.

— Значит, никому они тут ни к чему... За шпионаж приговариваю задержанных к высшей мере наказания. Товарищ Чекмарёв, возьми шестерых, скомандуй...

Взводный отсчитал шестерых, в кого палец попал. Передернули затворы винтовок. Пойманные переминались, молчали, не переглядывались, и только маленький, курносый, небритый попросил:

— Граждане, если кто будет случаем на станции Называевской, легко запомнить, скажите любому железнодорожнику, меня там все знают, мол, Михаил Романов, легко запомнить, расстрелян за веру в светлое будущее. Вот такой я, Михаил Романов. — Он пригладил волосы и усмехнулся.

Предгубревкома Познанский обнародовал в газете «Знамя революции» приказ: «Все захваченные бывшие колчаковские офицеры и другие предатели расстреливаются на месте. Все не сдавшие Красной армии огнестрельного оружия расстреливаются без суда... С не исполняющими этого приказа будет поступлено без всякой пощады, как с явными изменниками».



Глава XXIV. 15 июля, Богородское

Духонину снилась белая лошадь. «Зачем ты приходишь?» — спрашивал он. Она удивлялась. «Я никого не предавал, не хотел предавать», — говорил он. Она кивала. Он жалел прогнать ее, гладил её умный лоб, и она Ивану клала голову на плечо.

Он пробудился. Лошадь осталась ждать его там, в непонятном мире...

— Заспались нынче, Иван Лукич. — Настасья прищурилась. — Ничего худого не примстилось?

— Да нет... Лошадь ко мне ластилась.

— Я знаю, что сон сей означает, — объявил Серафим. — Коней ставят на переучет, вот они к нам и жмутся. Меня аж трясет, как представлю, что придут их отбирать... Бестолочи! О последствиях не думают! Свернут этой власти шею...

— Ты и так живешь не при большевиках, — напомнил Кирилл.

— Ха, в самом деле!.. Но Иван Лукич прав: ненадолго это. Красные перед Мельниково выстроились нас добивать. Я, ребята, не откажу себе в удовольствии с ними подраться.

— Я тебя вперед убью за такие желания, — пообещала Настасья.

— Да ведь, Настенька, иначе с самим собой будет противно. Правда, Иван Лукич?

— Правда, Сима, чистая правда.

— Поостеречься бы, первыми не лезть, — проронил Кирилл.

— Кирилл Данилыч! Ваше благородие! — Духонин положил ладонь на сердце. — Простите, я на правах старшего скажу. В июне вам повезло: в городе офицеров густо брали, их уж на свете нет. ЧК не станет вникать, что в добровольческом движении вы не участвовали, оружие не держали. Расстреляют как беяка... И не захочешь, а что есть под рукою, то и схватишь — нож ли, топор ли.

— Кир у нас человек птичьего полета, вроде начальника штаба. — Серафим надул щеки. — Кир сказал, что в Богородском войско собирать нельзя: если большевики появятся, тут нет возможностей для маневра. Я Аркашёву это передал, а тот посуетился и всех своих увел к Нашеково — теперь в шести верстах отсюда заградлиния в два пулемета, а на окраине деревни казачья застава. Я Сашку спрашиваю: «Почему такая оборона?» Он орет: «Тут фронт, рядом болото — к вам не пройти!» Я ему: «А почему по гати с Мельниково хоть колобком катись — никто тебя не съест? Почему с пристани кто хошь приплывай?» Он орет: «Это временно! С Томска движется офицерская рота».

— Он или болван, или провокатор. — Кирилл нахмурился. — Почему он командует?

С гати раздался выстрел.

— Я — посмотреть! — Серафим кинулся в сени и выскочил с винтовкой. — Настя, иди к Людмиле!

— Иди, Настя, иди! — Кирилл тоже схватил берданку, и он и Иван метнулись за другом.

— Дураки! — крикнула Настасья. — Убьют! Дураки!

Мужчины высунулись на улицу: по Большой бежал с ружьем Федор Жилин.

— Красные! — выпалил он. — Конные, человек сорок! Я хотел у Старицы залечь, у мостика, но одному как-то не то. Хорошо, что вы тоже... Подьте за мной!

— Дайте мне оружие! — взмолился Иван.

Жилин вынул из-за пояса наган и с подозрением вручил человеку в очках.

Кит-Вийтенко вступил в Мельниково беспрепятственно, походной колонной по четыре, решил не ждать условленного времени и повернул отряд к Оби. Помкомбат ехал с ручным пулеметом в открытой двуколке, реквизированной вместе с конем, и обозревал поросшее лозой и березняком болото. «Среди такой природы могут жить только очень серые люди» — в этом он не сомневался.

Впереди торопился в Богородское невысокий сухощавый человек. «Спешит предупредить о нас. — Кит нацепил пенсне, достал маузер и, хоть проку от этой смерти уже не было, выстрелил. — Такие должны умирать все равно». Старик Алипий упал. «Врут про зажиточность сибиряков. Австрийская беднота благоденнее», — обобщил Кит. Шагов за двести пуля попала точно в затылок. «Товарищ маузер и без приклада замечательно бьет».

Ни карт, ни планов здешних мест Кит, собираясь в поход, не обнаружил. «Русские не имеют оснований для продолжения жизни и не стараются об этом, — считал он. — Ленивый азиатский дух и мутная азиатская кровь испортили их. Всё в запустении. Мировая революция заставит Россию поделить свои богатства между теми, кто в них действительно нуждается». На плоской сибирской земле взорам латышей и немцев, венгров и чехов открылось Богородское. Взвод держал направление на церковь: обычно рядом с нею в селах находились и присутственные места, и базар. «Тут, говорят, чудотворная икона Матери Божьей, — вспомнил помкомбат. — Кажется, Она сегодня потекает большевикам».

— Пан Кит сказал: это последнее село, потом вернемся до Томску, — подал голос в строю Гонза Гейсек.

Кит повернулся выразить неудовольствие. Одна пуля свистнула возле уха, другие запели среди всадников. Стреляли с обеих сторон улицы. Гейсек повалился в пыльный шлях. Пауль Штайн, штириец, почти земляк, с остановившимся взглядом лег на лошадиную шею. Колонна сбилась, вспыхнула суматоха. Раненые сползали с седел и прятались под забор.

— Feuer! Schießen, blöde Scheiße!* — взвился Кит.

Новая пуля впиалась ему в плечо. Он взбесился.

* Огонь! Стрелять, глупое говно! (нем.)

— Feuer, курвы!.. Auseinanderziehen!* — Он вскинул «лююис» на локоть и дал злую очередь по избам, оградкам и огородам, вырывая щепу, ссекая ветки.

Взвод, провожаемый пальбой, в беспорядке поскакал на площадь.

Навстречу из пристанского проулка появились конники. За спиной у Кита настала тишина. «Не может быть! — ахнул он. — Окружили? Так глупо вляпаться!»

Командир неизвестного отряда поднял фуражку над головой — жест, принятый в германской и австрийской армиях — мы свои! — подскакал к Киту и, отдав честь, доложил с латышским акцентом:

— Товарищ помкомбат, начмил 4-го района Абол по приказу губревкома прибыл на помощь вам. Со мной тридцать человек.

— Вовремя! — выдохнул Кит. — Эффектная встреча... Где у них волисполком?

— Вас надо перевязать. — Абол показал на прорванное кроващее плечо.

Рану забинтовали. Волисполком нашли. Нервное напряжение помкомбата не убывало — в контору он вошел так, будто хотел пройти ее насквозь. Абол влекся позади.

— О! — Из аппаратной выглянула Полина Ниловна и мученическим голосом сказала: — Это вы стреляли?.. Ну, хоть вы меня отпустите! Я здесь безвылазно четыре дня. Устала смертельно, все время спать прикладываюсь. Моя смена не приходит, боится. А мне правда нужно отдохнуть, а то я при отправке сообщения сбиться могу.

— Придется потерпеть. — Кит взял телеграфистку под локоть и увел обратно. — Дайте мне Губчека.

Она тягостно села за клавиши. Он раздраженно стал диктовать:

— 15 июля, Богородское. Трубачево, Бабарыкино и ближайшие села от банд освобождены. На указанной территории в моем распоряжении сто семьдесят человек — мой взвод, продотряд, отряды милиции 4-го и 5-го районов. Жду приказаний. Помкомбат Кит.

Чуть погодя пришел текст: «У аппарата Берман. Спасибо за службу. В Богородском находится человек из штаба восстания, приезжий, его надо найти и взять живым, прошу отнестись к этому с крайней ответственностью. Есаул Сибирский тоже нужен живой. Конец связи». День начался скучновато, но оказался полон неожиданностей и обещал много интересного.

— Общую информацию будете давать? — спросила Полина Ниловна. — Для сводки событий.

— Хм. — Он задумался. — Напишите: в Томском уезде белобандиты уничтожены. Хватит... Где ваше советское начальство? Мне подчиненных надо лечить, кормить, хоронить.

— Зав общим отделом Оловянишников взаперти вон там. — Полина Ниловна показала в окно на бывший кабак. — Другие отсутствуют.

* Рассредоточиться! (нем.)



С двумя чехами он пошел освобождать Ивана Филипповича. Чехи сбили прикладами замок. Хлебнувший свежего воздуха арестант всплескивал ладошами, благодарил. Чекист прервал его и поручил организовать достойный обед на полтораста персон, отчего зав общим отделом погрузился и сослался на сложность нынешнего положения. Кит напомнил значение слова «саботаж» и сколь легко вернуть Ивана Филипповича под замок. Он также возложил на Оловянишникова попечение о раненых и заботу об убитых и решил, что трех-четырёх часов на претворение пожеланий в жизнь вполне достаточно. Еще Кит поинтересовался, кого тот укажет проводником до Нащекова.

— Да ведь туда гать есть, начинается при въезде в Богородское, за мостиком, — сказал Оловянишников. — Только она не про лошадь построена, хлипкая. Из осинок она. Бревна, известно, в такую даль не на-таскаешься.

— Все у вас хлипкое! И страна хлипкая... То кто у церкви?

— Псаломщик. Баранов Сергей Павлович.

— Сергей Павлович! — рявкнул помкомбат, поманил его пальцем и улыбнулся подошедшему: — Как вашу супругу зовут?

— Федосья Кузьминична.

— Сейчас мы поступим так. — Кит протер пенсне, приладил его к переносице и возвел глаза на собеседника. — Вы идете с нами проводником до Нащекова, а на случай, если будете плохо себя вести, Федосья Кузьминична останется здесь закладницей. То не подлежит дискуссии. До дому заходить не надо, мы уже выступаем.

— Заступник мой еси и прибежище мое — Бог... — Баранов перекрестился. — Домой я не пойду. Зачем понапрасну беспокоить? Правда, Иван Филиппович?

Но Оловянишников смотрел в сторону.

— Правильно, — одобрил Кит. — Судьба у вас такая. Мне тоже нет интереса с вашей Федосьей знакомиться и времени нет.

Он вынул из нагрудного кармана часы, щелкнул крышкой — они сыграли бодрое начало «Райнер-марша». «Через пятьдесят пять минут Терновой ударит по обороне в Нащеково, следует помочь ему там, где бандиты нас не ждут».

Известие о приходе большевиков, пулями встреченных, разлетелось мгновенно. Нина повязала красную косынку, проведала свою квартиру и поспешила в исполком. На площади интернациональные товарищи разговаривали не по-русски, а их командир, статный и плотный, дружелюбно беседовал с псаломщиком. Появившись перед крайне утомленной сменщицей, Нина извинилась за побег и поклялась отработать.

Полина Ниловна, прежде чем отправиться спать, вернула книгу Лидии Олеговне. Не было нужды возвращать дневник странствий Потанина по Северо-Западной Монголии и брать что-то не менее далекое от сегодняшних треволнений, однако она прошлась к Панкратовой и до-

вольно громко рассказала хозяйке про перестрелку, про помкомбата и что сообщение об уничтожении всех белобандитов уже отправлено на телеграфные пункты.

Жильцы столпились в коридоре. Речники взволновались, решили напомнить о себе начальству телеграммой и выпросить угля иль хотя бы дров, чтоб добраться до Новониколаевска или обратно до Томска.

— Загостились мы, — произнес Мальшев, — пора по домам.

Полина Ниловна вдруг ему украдкой подмигнула, и он обронил:

— Пройдусь-ка я к знакомому, пока советские мой горячий источник не сничтожили...

Взяв книжку записок Русского географического общества, Полина Ниловна попрощалась. Мальшев проводил ее вдоль огорода.

— Вас ищут, Никита Петрович, — прошептала она. — Сейчас в Нащеково крестьян перебьют и примутся за вас. Помкомбат — чекист деловой, дотошный да еще чуть не убитый — он с Богородского не слезет. Пока его нет, приходите побыстрей ко мне, а ночью за вами катер пришлют. Я в общей информации место и дату переставила, новониколаевцы дали знать, что поняли.

— Спасибо. Буду.

На улице он повернул направо, а она побрела налево.

Полина Ниловна Лазарева, вдова подполковника, погибшего давным-давно, весной восемнадцатого, напросилась в подполье на нынешнюю должность и жила по документам, выписанным на девичью фамилию. На Оби ей, камской уроженке, особенно вольно дышалось. Она помогала добрым людям, думала, что этой востребованности ей всегда не хватало, надеялась, что все вернется на круги своя обновленным, и совершенно не представляла, как это может быть.

Ее изба стояла к площади передом, к лесу задом, к реке боком, не выходя напрямую ни к площади, ни к лесу, ни к реке. Мальшев здесь не задержался, попросил Полину Ниловну собрать ближе к ночи самое нужное и быть готовой уехать тоже, ибо в его побеге ее заподозрят несомненно. Он решил выждать время в ближайшем березняке, а приезжие пусть постучат по дереву палкой — сигнал самый простой, ночью большого внимания не привлекающий.

— Позвольте, дорогая Полина Ниловна, поднести вам в подарок маленькую вещицу.

Никита Петрович взял ее левую руку и надел на безымянный палец идеально пришедшийся перстенок.

— Ну что вы! — Она густо покраснела. — Ваше превосходительство! Не нужно!

— Не переживайте, пожалуйста, драгоценность не семейная, попала ко мне случайно, а вам на черный день сгодится. Это брильянт. Можете купить дом.

Мальшев неловко постоял у шкафа, делившего комнату на кухню и прихожую, поклонился и ушел.



Полина Ниловна трепетно рассматривала перстень, — ничего подобного у нее во всю жизнь не бывало! — улыбалась, растерянно размышляла, куда его спрятать, и пока положила за иконы. Уезжать не хотелось, но она более всего боялась попасть в ЧК, не выдержать пытки. Голова с недосыпа гудела, однако Полина Ниловна даже не пыталась уснуть, стала готовить к отъезду наиболее необходимое, коего накопилось немислимое количество, и все в сотый раз перебирала, перекладывала.

Вечером она наскоро всухомятку поела, прилегла и забылась, а проснулась оттого, что в дверь настойчиво стучали. Сердце вздрогнуло и заторопилось. С дрожащими руками, стараясь выглядеть равнодушной, она впустила местного уполномоченного ЧК, помкомбата и еще двоих очевидных чекистов.

— Здрав-ствуй-те! — осклабился Хабалов, злой и дерганый.

— Здравствуйте. Что случилось?

— Мадам, — Кит явно желал обойтись без Хабалова, — нам ясно, что вы работаете не на нас. Мы были там, где жил тот, кого мы ищем, и мы знаем, что вы его предупредили. Если вы поведаете, куда он скрылся, вам многое простится. Прошу вас не тратить наше время, оно дорого.

— Лазарева, с тобой не шутят! — взорвался Хабалов.

— Заткнись, — велел ему Кит и кивнул на раскиданные вещи и саквояж: — Я вижу, Полина Ниловна, вы хотите нас покинуть. Вероятно, завтра утром на буксире «Репин»? Имеете шанс: ребята под телеграмму водного ведомства дровами разжились. Они тоже ваши люди?

— Нет, мне подадут аэроплан.

Она обрадовалась, что все-таки усмехнулась. Ей стало ясно, что все вдруг для нее кончается, и стало жалко, что ничего не успела, и стало стыдно, что глупое сердце все бьется и не может успокоиться.

Из глубокого жакетного кармана она вынула наган, наставила его, как учил муж, на уровень цели и нажала на курок. Револьвер в кулаке подпрыгнул, и уполномоченный Хабалов с открытым ртом и пробойной во лбу завалился Киту под ноги. Помкомбат, сшибая чехов, отскочил за шкаф. Полина Ниловна аккуратно выстрелила в другую цель — человек упал, как жестяной солдатик в тире. «Надо, чтоб он услышал», — подумала она, и третья пуля разбила оконное стекло, рикошетом от сточной трубы угадала в голову чекиста у дверей — тот заметался, остановился и сел.

Молодой чех попал в Полину Ниловну дважды. Кит, шагнув из-за шкафа, увидел ее падающей и выстрелил мимо. «За нее не похвалят. Всем нитям конец».

— Кто эта женщина? — Иржи Ворач взглянул в ее мертвеющее лицо. — Она забила их, как яблоки посбивала... Марек, подь сюда! Марек! — Ворач вышел на крыльцо и вскрикнул: — Мой боже! Маречек!.. Маречек! То ведьма!

Ильин исповедался. После покаяния он продолжал говорить, стараясь что-то в себе допонять, и вновь возвращался к происшествию с безделушками — чудо ли это?



— Многое в мире выше нашего понимания, — отвечал отец Филипп. — Среди тайн живем. Чудо случается и в обыденном. Вам Господь послал чудо, чтоб укрепить в приятии мира сего. Радостно, что вы приняли все достойно: потеряв, не озлобились, а обретя, поделились. Прежний Степан Лаврентьевич, мрачный, суровый, коего я помню, вряд ли воротится. Жалость проснулась в человеке, и стал человек другим.

— Слезливым стал, — подтвердил Ильин, — умиляюсь всему, как старая барышня. Раньше печалился, что девок нарожали, а сейчас довольный хожу. Почему вдруг, отец Филипп?

— А почему нет, отец Степан? — Священник рассмеялся. — Солидный вы человек, а смешной... Все делается во благо. Даже если что-то не делается. Даже если Богом предреченное не сбывается.

— Как это? — Ильин поразился.

— Про пророка Иону помните?

— Помню. Во чреве китовом.

— Про кита не главное. Бог сказал Ионе: «Иди в Ниневию и обличи ее во грехах». А Ниневия — это столица Ассирии, Ассирия враждовала с Израилем. Все равно если б вам сказали лет пять назад: «Идите, Степан Лаврентьевич, в Берлин и поведайте немцам, какие они скоты». Иона подумал: «Разве я сумасшедший?» Он пошел не в Ассирию, а в порт, решил от Бога убежать: если, мол, я не в Израиле, то и не при делах. Отправился он аж на другой край моря, но Бог воздвиг бурю, тут Иона и попал с корабля во чрево китово. Видит: во чреве хуже, чем в Ниневии, — и согласился пойти туда проповедовать. Пришел к врагам и объявил, что за содеянные гадости Ниневия будет разрушена. И все поверили и стали каяться! И Бог пожалел их и не покарал. Конечно, Иона обиделся: ведь не хотел пророчествовать — заставили! — и получилось вранье, неприятно. Он сказал Богу: «Ну и кто был прав? А теперь мне лучше помереть, чем жить!» Бог сказал Ионе: «Ты так сильно огорчился?» Иона и разговаривать с Ним не стал, ушел за город и стал ждать — вдруг Ниневия все-таки рухнет? Жара стояла страшная, и Бог вырастил над Ионой растение, чтобы тень была, а после взял и засушил. Иона затосковал. Бог его спросил: «Сильно переживаешь?» Иона сказал: «Очень!» И Бог сказал: «Ты растение пожалел, а злишься на Меня, паршивец ты собачий, за то что Я пожалел великий город, где лишь детей сто двадцать тысяч!..» Не исполнил Бог Свое пророчество, да и к лучшему!.. И о нас, грешных, предначертанное Бог волен изменить.

— Прекрасную притчу напомнили, отец Филипп. Спасибо. Пойду, пожалуй. Прощайте.

— Прощайте, Степан Лаврентьевич, спасибо за колечки. Лаврентью Игнатьевичу с Татьяной Романовной низкий поклон. Прощения у них прошу: уж которую седмицу не соберусь зайти, а ведь соседи! Ксении Анисьевне и дочкам тоже кланяюсь...

Любое подношение на нужды церкви принималось с горячей благодарностью. Горстка золотых колечек, принесенная Ильиным, позволяла

закупить по хозяйству множество важных мелочей и открывала долгий счет на томском свечном заводе.

— Отец Филипп! — Псаломщик дождался, когда Ильин уйдет. — За участие в братоубийстве наложите на меня епитимью, пожалуйста.

— Какую чушь ты на себя выдумал? — Священник подпер лицо ладонью. — Я не уразумел маленько. Какая епитимья тебя устроит? Поклоны станешь считать? Триста, а не двести? Глупо... Тридцатилетний, женатый, а глупый. Формальность это, к исправлению не ведущая. Не нужно тебе сие врачевание, излишне оно, ты в душе себя уже наказал, хоть и не виноватый... Что там было?

— Побойсье. Сперва по Нащеково с дороги милиция ударила. Хитро так, люди ж воевавшие! Выманили казаков из укрытия, а те и рады — за милицией погнались попусту! В это время главный милицейский к деревне с другой стороны подступился. Вот это я видел, как раз хохол со своими ландскнехтами по гати подошел. Мне казалось, никого в живых не оставят... Большинство все-таки сбежало. Кто-то в болоте прячется. Побросали одеяла, хлеб, сметану... Пленных человек под семьдесят. Трудно рассказывать...

— Да ты уж все рассказал.

Глава XXV. 16 июля, Богородское — Нащеково

Настоящая фамилия Мальшева была Малахов, но, несмотря на соименность знаменитому севастьяпольскому кургану, омич Никита Петрович происходил из рода, прославленного мирным екатеринбургским архитектором, и не имел отношения к генерал-майору, бывшему турок в 1877-м. Первым памятным событием в воинской биографии Никиты Петровича стало отсутствие такового: в шестнадцать лет ему, ученику Сибирской военной гимназии, не удалось попасть в Болгарию и участвовать в ее освобождении. Затем он окончил московское военное училище и поступил в Петербурге в Академию Генштаба. В 1881-м Малахов стал свидетелем последнего всесословного единения общества — в многотысячной толпе прошел за гробом Достоевского. То, что нельзя было представить при ажиотаже русско-турецкой кампании, народилось позже: выросло поколение с мозгами, закрученными на интернациональные папильотки, и в девятьсот пятом столичная молодежь поздравила японского императора с разгромом русского флота под Цусимой, а еще через десять лет большевики призвали превратить войну германскую в гражданскую, чего невдолге и добились...

В 1881 году Никита Петрович женился. К огорчению родителей Вареньки, он по завершении академии увез молодую жену в тьмутараканские края, после похода Скобелева по закаспийским землям еще не нанесенные на карты Российской империи. Опоздав к Скобелеву в Болгарию, Малахов опоздал к нему и в Туркестан. Но в 1885-м возник конфликт между Россией и Афганистаном, поручик Малахов упросил гене-



рал-лейтенанта Комарова взять его с собою в отряд, вышедший против афганцев и войска британской разграничительной комиссии, и участвовал в присоединении реки Кушки к России. Тут Александр III поставил точку в расширении южных рубежей. От скуки Малахов пристрастился к кожевному делу и мастерски им овладел. Подрастали сын Николай и дочка Оленька.

В начале девятисотых, имея в памяти один боевой день и двадцать лет тоскливой службы, Никита Петрович изготавился к отставке, однако началась русско-японская война, и он устремился в Китай. В 1904 году под Ляояном подполковник Малахов водил солдат в штыковую атаку, отчего заслужил стишки к фамилии, срифмованной со словом «ахов». Воинский опыт он приобрел и не однажды закрепил, но относился к этому печально. В девятьсот пятом выдалось знакомство с подполковником Лавром Корниловым, начальником штаба стрелковой бригады, при мукденском отступлении ответственным за арьергард армии, и Малахов жалел, что с таким душевным и многознающим человеком не удалось встретиться еще в Ташкенте, где квартировали неподалеку.

По прискорбном завершении войны выйдя в отставку, Никита Петрович приехал в Томск; там ждали жена и дети, Николай учился в университете на медика. Стоило сыну получить диплом, глава семьи перевез ее в Гатчину и, к ликованию Вари, прочно обосновался под Петербургом в домике с огородом. Николай стал военным хирургом. Оленька вышла замуж за издателя, пристрастилась к декадентской литературе и упоенно декламировала:

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа и дьявола
Хочу прославить я, —

а родители не умели сыскать противоядия от этой злокозненной дури.

В четырнадцатом разразилась Великая Отечественная война, как ее называли газеты, или — в обиходе — германская, хотя на том фронте, куда вызвался Малахов, немцев не было: он попросился на Кавказ под руку Юденича, памятного и как адъютант Туркестанского штаба, и как командир полка под Мукденом. Невзирая на свои пятьдесят четыре года, Малахов лихо сражался с турками и за находчивость и отвагу при взятии Эрзурума стал полковником. Год спустя, со свержением самодержавия, в армии катастрофически проявились революционные настроения: «Мир народам! Хлеб голодным! Земля крестьянам!» — солдаты дезертировали, а в бой, стремясь отвоевать свою страну, рвались лишь армянские добровольцы. Попытки главнокомандующего Корнилова навести порядок на фронтах и в правительстве кончились неудачами. Худшее не замедлило предстать: большевики совершили переворот и навязали свою власть всей России. С заключением декабрьского русско-турецкого перемирия армия отхлынула с завоеванной территории. Малахов вернулся домой. Жена

пребывала в растерянности; Ольга сохранила уверенность в декадентской прозорливости того, что станет, но творцы «нового слова» рисовали картины разные; Николай продолжал служить государству, потерявшему идейную определенность.

После Октябрьского переворота границы России прохудились. Законов не было, руководствовались «революционной совестью». Никиту Петровича ужаснул заключенный коммунистами и врагами Брестский договор: неприятель забирал Малороссию и прибалтийские земли, туркам отдавали отторгнутые у них аж в конце 1870-х Батум и Карс. «С красной сволочью надо кончать», — решил Малахов, попросил у жены прощения и стал собираться на Кубань, к командующему Добровольческой армией Корнилову, а пока улаживал домашние дела, газеты возвестили, что Лавр Георгиевич погиб. Тогда полковник вдруг запил — пил, не думая ни о темном, ни о светлом, кусками читая скучные романы поэта Полонского, без удовольствия копаясь в огороде, — и так провел два месяца. Его встряхнуло известие о бурном освобождении Сибири. Он добрался до Шадринска, к своей старенькой тетке. Армия Сибирского правительства вскоре отбила город у большевиков, он явился к командиру дивизии, и тот обрадовался: «Никита Петрович! Не узнаете? Поручик Вержбицкий! Под ваше начало пришел необстрелянным в девятьсот четвертом!» — теперь он тоже был полковником. Полтора года Малахов воевал, наступая до Ижевска и отступая за Ангару. Он вспоминал Корнилова и горевал, что не хватает его ни Югу России, ни Сибири. Малахов верил: при Корнилове, обратившемся к Потанину с просьбой объединить антибольшевистские усилия, — договорись два сибирских казака! — русская история могла быть иной...

Стало очевидным, что семеновское Забайкалье долго не продержится, последние белые уйдут до лучшей поры за рубеж. В январе 1920 года Никите Петровичу предложили остаться в красной Сибири, дабы, как при Гришине-Алмазове, царство ему небесное, иметь боеспособное подполье. Если летом восемнадцатого смогли смести большевиков самостоятельно, то с войсками, ждущими вдоль границы от Алтая до Кореи, дело выглядело еще более осуществимым. Генерал-майор Малахов получил сеть внедряемых в советскую администрацию информаторов и по уездам намечаемые офицерские отряды. Ему велели копить силы, не поддаваться на авантюры, не вмешиваться в партизанщину. Официально направленный в Семиречье, он перевоплотился в Малышева, поселился в Бийске, вступил в уездный кожевенный кооператив. Дети находились в Крыму: Николай — капитан в корпусе Слащёва; Ольга с мужем обосновались в Джанкое. Жена по-прежнему жила в Гатчине и в общих чертах знала о положении Никиты Петровича.

Деревенские вспышки гнева там и сям, скоропалительные, тщетные, удручали: его натурально мutilовало от невозможности что-либо тут изменить. Красные выкашивали крепких крестьян с уверенностью селекционера: «Лучше “пере”, чем “недо”». Без сторонней поддержки даже алтайская армия Плотникова казалась обреченной на гибель.

В томском офицерстве Малахов нутром учуял провокатора, уж слишком вызывающе вели себя те, что хотели к сибирскому воинскому союзу присоединиться. Это подтвердил их безумный смотр в Белобородове, чекистами расстрелянный. Однако ему стало горячо не в Томске, а в Богородском. Савва Сенцов близко подобрался к Никите Петровичу, но все ж не раскусил. «И я в Сенцове чекиста не раскусил, — думал Малахов, — да с ним бы и сам черт не разобрался, таких кренделей Сенцов напек...» Наверное, на допросе кто-то из томских телеграфистов выдал секреты передачи сведений: ЧК узнала, что в июле рекомендации поступали из Богородского.

Полине Ниловне тоже непременно следовало уезжать. Маленькая симпатичная женщина нравилась Малахову и умом, и спокойным поведением, напоминала улыбкой Вареньку. Никиту Петровича мучила недавняя стрельба там, где жила Лазарева, и навязчивые дурные мысли он отгонял: «Скоро узнаю».

...К берегу пристал катер и заглушил мотор.

Кануло должное время, а условленный знак не подавали. Если с Лазаревой что-то случилось, ждать было глупо; приезжие наверняка тоже растерялись. Он решил идти на пристань и поступать по ситуации, но сперва трижды ударил палкой по березе — звук получился слабый, а сук сломался. Тонюсенький народившийся месяц едва виднелся. Малахов вознамерился рискнуть — впотьмах пройти мимо лазаревского дома.

Возле села заухал филин: «Уу! Уу! Уу!» — невыразительно, будто человеческому голосу подражал. И вновь после краткой паузы три раза: «Уу! Уу! Уу!» Обостренное восприятие подсказало: «Это ж приказ собраться! Вместо трех длинных свистков. Остроумно. Не свистеть же, в самом деле!» Он пошел вперед, навстречу двум силуэтам.

— Никита Петрович? — спросил высокий.

— Я.

— Подполковник Айтемиров, ваш знакомый. С нами подъесаул Коростелёв.

Офицеры и генерал обменялись этикетными фразами, и Айтемиров тяжело вздохнул:

— Лазарева погибла. При аресте. Трех с собой прихватила! Соседи в ее избе уже хозяйничают. Я помахал у них перед носом чекистской бумажкой. Они говорят: вещи, которые к отъезду приготовила, томские чекисты забрали.

— Ясно, — молвил Малахов. — Убита, значит... — И словно услышал тихий голос Полины: «Ну что вы!»

— Если здесь ничего более не нужно, пойдём на катер?

— Да.

В темноте у дебаркадера команда буксировщика таскала дрова.

— Ой! — Увидев Никиту Петровича, капитан споткнулся. — А вас ЧК искала!

— Уже нашла, — ответил Айтемиров.

— О черт! — Капитан вздрогнул. — Простите, не заметил. Вы как-то за спиной...

— Вы чей будете, гражданин? — ласково осведомился Айтемиров.

— Мы с товарищами вот... водных путей сообщения...

— Вас по ночам заставляют работать? — посочувствовали им.

— Нет... Мы просто стараемся.

— Кажется, вы скрыться хотите. — Капитана похлопали по плечу.

— Что вы! Не-ет! — простонал капитан и объявил: — Ребята! Дрова грузим, потом спим.

...Катер с Никитой Петровичем удалился вниз по течению. Малахов стоял у борта, смотрел в черное небо и стыдился повернуться к офицерам: слезы текли по щекам, в горле колючий комок застрял.

— Не откажите, господин генерал, с нами «купца» испить, — позвал Айтемиров. — У нас три термобутылки с горячим чаем.

Малахов не оборачивался, только кивал.

Елизарову снился прапорщик Плетнев. В осенней тобольской косто-ломке он, молоденький Володенька, поднял взвод в атаку и упал с пулей в шее; солдаты снова залегли. Покойный Володенька терзался сомнением, стоило ль так умирать. Фельдфебель Елизаров его успокаивал. Сушило во рту от самогона. «Дайте водички, Иван Лукич», — попросил Плетнев. Иван босиком прошлепал в сени, выпил из кадки с полковника, вернулся. Прапорщик пропал.

Иван оделся, натянул сапоги и отправился гулять.

У Жилина не спали и даже шумели, будто что праздновали. Он постучал. Дверь открыли чекисты и очень обрадовались. Жилин, убийца гражданина Сапоженца и уличаемый в нападении на отряд ВЧК, содержался под охраной в бывшем кабаке; его домашние отсиживались на заимке. Иван заявился в разгар обыска, но не смутился и распушил усы:

— Почему здесь? Кто велел? Все на двор!

— Ух ты! — Кит крутанул головой туда-сюда по-кошачьи. — Какие грозные ночные гости! Вы кем будете?

Иван наотмашь сунул ему удостоверение.

— Духонин!.. Ха! Очень приятно! Восхитительно! Теперь у меня есть начальник штаба!.. Да вот окуляры у вас, простите, не генеральские. Только личность за плохими очками не скроешь...

Чекист всерьез приценился, можно ль при отчете заменить пропавшего белогвардейца этим приезжим человечком. Более приличный кандидат не намечался, а если предгубчека останется затеей недоволен, то человечка легко порвать, как бумагу.

— Ты кто? — Иван вдруг ощутил себя генералом. — Скотина! сволочь! дрянь! Почему сидишь, гнусная рожа?

Комната закружилась, и он повалился на разбросанные вещи.

— Откачать его! — Кит схватил графин и вылил воду на бузотера. — Протрезвить и сразу ко мне! Обыск окончен.

Духонина утащили прочь. Помкомбат остался один, лег на кровать, зажмурился, поплыл в сон. Вздремнуть ему не дали — принесли задержанного и уронили на половик.

— Скоты, — определил Иван. — Сволочи.

Его усадили на стул и встали рядом, придерживая.

— Как вы себя чувствуете? — полюбопытствовал Кит и усмехнулся краем рта. — Давайте попросту. У меня к этому селу свои счеты. Меня так отлично встретили! Я отплачу. Слово чести!.. Вы нездешний, у меня к вам претензий нет, хотя за ваше поведение вас нужно расстрелять вместе с прочими. Но мы поступим так: вы признаетесь, что состоите в руководстве бунтовщиков, к вам будет другое отношение, вас увезут в Томск, а там, возможно, судьба улыбнется... В каком вы чине?

— Я? Слуга царю, отец солдатам...

— Я эти стихи знаю... — Кит помолчал, пристальней всмотрелся в пьяного буяна, подумал: «Поглядим, что получится. Какой дом нарисуем, в том и заживем».

— Я, — Иван напрягся, — хочу спать.

— Не препятствую. Через четыре часа вас разбудят... Пусть его выскоблагородие посидит с остальными.

Духонина отвели в кабак. Здесь заперли ночной улов — десяток местных контрреволюционеров и подозреваемых: на полтораста дворов не так уж мало, коль еще в Нащекове восемнадцать мертвецов и примерно полурота пленных.

— Иван Лукич! — воскликнул Серафим. — Мы надеялись, ты убежал... ан вон тебя ведут.

Он и Кирилл, недавно сюда доставленные, обозревали площадь в окно с прибитыми к подоконнику створками.

— Влип я... — Иван завалился на стол. — Ваш волостной учил меня на столе отдыхать. Уснуть надо...

— Зря тебя ЧК зацапала. — Серафим потер лоб. — Буксирные ребята у Петроградихи живут себе...

— Я стихи написал, — пробормотал Кирилл. — Слушай.

Обнажены святые тропы,
 Обожжены и ум, и опыт
 О чем сказать, куда идти,
 Но сам оставил только шепот
 На затухающем пути.

— Шибко грустное, — проворчал Серафим.

— Поставлю для тебя восклицательные знаки после каждого слова — будет веселей.

Кирилл стал бродить от стойки до двери и обратно. Избитый Жилин недвижно лежал на сдвинутых лавках. За стойкой невидимо, но слышно молился Ильин:



— Спаси, Господи, и помилуй родителей моих Лаврентия и Татьяну, жену Ксению, дочерей Наталью, Марию, Александру...

Ивану снилось белое от жаркого солнца поле. Лошади не было. «Слепая белая лошадь — это ты, — произнес кто-то за спиной. — Ты так себя видишь. Ты ее жалел, боялся, не знал, что с ней делать. Сейчас ты понял, кто это, и она больше не придет».

«Плохо, если человеку не с кем откровенно поговорить и сам с собой он не может договориться», — бродило в мыслях и вспомнилось, как тяжело обиделся енисейский налетчик Адальберт Пискаровский, с кем Иван отказался перемолвиться. На заре филерской карьеры он выследил Пискаровского, да тот сумел бежать — вынул гвоздь из сортирной двери и воткнул часовому в горло. Елизаров снова нашел Адальберта, и братья его живым не рискнули. Пискаровский что-то хотел сказать именно Елизарову, но тот не пожелал с экспроприатором общаться. Скрученного бандита задушили подушкой. Лицо убитого напоминало лицо плачущего ребенка...

— Полковник Духонин! — крикнули с порога. — Полковник Духонин, выходи!

— Кто? — Серафим ахнул. — Кто?

Иван разомкнул глаза, приподнялся, надел очки, слез со стола.

— Прости меня, Сима, и пусть Настасья простит, но, кажется, не верну я вам долги.

— Да брось ты с долгами! Ты правда полковник?

— А чем фельдфебель хуже полковника? — хмыкнул Иван и шепнул Серафиму: — Вырви гвоздь из вешалки. Сам не могу, заметят. — Он обнялся с друзьями: — Пусть все у вас будет добром!

Вешалкой служили вколоченные в стену гвозди. Серафим ухватил один из них в кулак, расшатал и вытянул, сунул Ивану в карман:

— Горжусь честью быть твоим другом.

— Полковник Духонин! — Широколицый красноармеец постучал прикладом о крыльцо.

— Не надорвись орать, — прорычал арестованный и вышел на улицу.

— Вот это да! — сказал Серафим Кириллу. — Вот! Это! Да!

Трое красноармейцев сопровождали Духонина к дому Жилина.

— Прощу, пан полковник. — Широколицый пропустил его в сени.

— Чех? — Иван шагнул вперед и обернулся.

— Ясно дело! Добромил Хашек, бывший ефрейтор.

— Прости, брат. — Иван вонзил гвоздь ему в горло, выдернул из рук винтовку и выстрелил в сзади идущих.

Хашек пал на колени, зажал плещущую кровь обеими руками, но быстро ослаб и затих. Другой упавший не шевелился. Третий конвоир лег и замер.

Кит выпрыгнул из окна.

— Гранаты! — кричал он во все стороны. — Закидать! Окружай!

«Погубят дом! Сгорит!» Иван пальнул по спящим у избы красноармейцам и в кого-то попал, проскочил в комнату, полез через подоконник и зацепился за него ремнем винтовки. Высвободить ее не получилось, он повернул ствол на бегущую к нему толпу и последние патроны потратил наудачу. По полковнику выстрелили все. В разорванном пулями сюртуке и разбитых очках, он с минуту сидел в оконном проеме как живой, потом свергся на землю...

Заключенные пытались уловить, что происходит.

— Учись, Кир, у полковника из гвоздя стрелять! — шумел Серафим.

— Может, это не Лукич? — Кирилл усомнился.

— Лукич!

С полчаса спустя появился Абол с милиционерами.

— Собирайтесь, — потребовал он. — Пойдем в Нащеково судить вас.

— Почему туда? — Серафим насторожился.

— Там ваших больше. Одно дело — один протокол.

— А где полковник Духонин? — не отставал он.

— Застрелили.

Серафим глотнул воздуха побольше и закачался.

— Вечная память воину Иоанну! — возгласил Ильин. — Даруй, Господи, Царствие Небесное жизнь за ны положившему!

— Аминь. — Серафим и Кирилл перекрестились. — Аминь.

— Пойдем, — сказал Абол. — Если ты побежал, я остальных расстреляю, потом тебя догоняю.

— У нас неходячий. — Кто-то показал на лежащего.

— Вставай! — Абол потряс Жилина за ворот, и голова у мужика качнулась, как плохо пришитая, потрогал его висок, поднял веко... — Он умер. — Начмил достал из кармана зеркальце и поднес к губам. — Умер. Можете не беспокоиться.

Арестованные, крестясь, молча сгрудились возле Жилина. Задумчивое лицо Федора Алексеевича принадлежало будто не умершему, а лишь отвернувшемуся от людей, с коими ему толковать не о чем.

Из болтовни охранников конвоируемые узнали, что вчера в Нащекове казаки завидели милицейский заградвзвод, решили его покрошить, покинули заставу, но взвод скрылся в лесу, а основные силы Тернового стройно, с ружейным огнем вошли в деревню стороной, по скошенному лугу, как по плацу. Кит чуть припоздал и наткнулся на аркашёвский «фронт» — неглубокие, по пояс, окопы и небольшой, сложенный из дерна люнет. Бывшие тут пулеметы повстанцы поволокли обороняться от Тернового, и помкомбат легко смял скверно укрепленные сооружения и разметал мужиков, не умевших воевать вместе. Теперь в траншеях и взрытой земле валялось кровавое тряпье. Здесь Кит оставлял заградотряд милиционеров Абола, а интернационалистов погнал в Нащеково по березняку краем болота.

Ныне тем же путем двинулся конвой с богородчанами. Следы паники спасавшихся от Тернового и угодивших к Киту-Вийтенко встречались повсюду. Выбор был мал: пуля, плен, болото. Есаул Сибирский с конными ушел в широкую брешь между отрядами Тернового и Абола и исчез в тайге, а те, что бросили оружие, уже сутки сидели у косогора под оцеплением и ждали объявления своей участи.

— Здравствуйте, мужики! — Усталый и грязный Митя Матвеев приветственно помахал прибывшим левою рукой; перебитая правая висела вдоль тела. — Рад вас видеть!

— Много радости, да! — Кто засмеялся, кто усмехнулся.

— Как вы тут? — спросил Серафим.

— Да вот... — Митя заморгал, — калечные да голодные... Сало потерял, когда драпал, и хлеб... Да уж недолго осталось, потерпим.

Самочинно назначенные к расстрелу семьдесят два человека смотрелись цифрой допустимой, чтобы вписать их в чекистское донесение как обязательно и даже протоколно уничтожаемых врагов соввласти, а потому суд казался излишним, но Кит сочинил еще и по-иному. Он взял за образец созданные в прошлом месяце губернские и уездные тройки по борьбе с труддезертирством и составил такую же волостную по ликвидации контрреволюции, включив в тройку местного председателя волисполкома, местного военкома и себя как представителя ЧК и губернской власти.

Оба начальника были ему нужны для подписей под списком казнимых односельчан. Председатель и военком, парни лет тридцати, боялись и подписывать, и понести кару за происшедший бунт, и под взглядом Вия ежились. Помкомбат ЧК, смакуя унижение старших, велел им оформить приговор с коммунистическим вступлением и собственноручно.

— Пиши ты, Гриша, — военком тщательно сравнивал пальцы обеих рук, — у меня почерк корявый и с ошибками...

— Спасибо, Федя, — тоскливо отозвался председатель, — я тебе как-нибудь тоже найду занятие, поверь... Товарищ помкомбат! Я прошу расстрелянных отдать по семьям, пусть родные похоронят.

— Правильно, — согласился Кит. — Я хотел их в окопах засыпать, но вы рассуждаете правильно. Не будем устраивать идольский могильник. Пусть сами хоронят своих мертвецов.

Солнце, большое, белое, распласталось во все небо. Над пустой дорогой струилась пыль; никто сюда не ехал, а пыль плыла.

— За что жизнь мою свели и твою? — раздраженно твердил Серафим. — Молодец Иван! Славно умер! Я ведь не из жалости его привечал, не только из интереса! Я чувствовал, что он настоящий!.. Что с бабами нашими станет, боюсь подумать... И ведь куда ни кинь — никак не жить.

— Да... — Кирилл мрачнел. — Ну, моя-то нелепая жизнь и кончилась нелепо. Ты всегда жил на земле, а я все себя искал, Бога тревожил. Кто я? Крестьянин? химик? офицер? поэт? Люди говорят: бондарь.

— Ты человек! — крикнул Серафим.

Ильин глядел ввысь, шевелил губами.

Взводный милиционер Чекмарёв окликнул поименно всех арестованных — все находились в наличии. В цепь вступили три интернационалиста с «льюисами» наперевес и военком Михайлов с исписанной бумагой.

— Приговор, — захрипел он. — Принимая во внимание открытое и зверское восстание с оружием в руках против советской власти в момент напряжения всех ее сил для отражения внешних капиталистических врагов, чрезвычайная тройка Богородской волости постановила применить высшую меру наказания, расстрел, к кулакам и белым офицерам, взятым на поле боя или с обнаруженным оружием... — Далее в произвольном порядке следовали имена и фамилии казнимых, должности и фамилии судей. — 16 июля 1920 года, деревня Нащеково.

Военком отшагнул назад. Пулеметчики хлестнули в три огненные струи по кричащим, машущим кулаками и по бесстрастно ждущим. Потом по стихшей поляне медленно прошлись несколько чекистов и сделали с десятков выстрелов.

Глава XXVI. 17 июля, Томск

Предтомгубчека Берман получил донесение помкомбата Кита-Вийтенко вместе с экипажем буксирного парохода и запиской допросить этих речников по поводу их участия в дубровинском возмущении.

Донесение содержало данные о восемнадцати бандитах, убитых в бою при деревне Нащеково, и семидесяти двух, там же расстрелянных. Берман просил избегать круглых цифр в отчетности, но девяносто все-таки не сто. Хуже обстояло с человеком из штаба восстания — полковником Духониным, ибо фигура речи не должна воплощаться в фигуру реальную — не генерал, и на том спасибо! — вероятно, фамилия ненастоящая, да и полковника второпях застрелили при попытке к бегству. В целом отчеты Кита свидетельствовали, что работу по очистке Богородской волости от вредных элементов он выполнял превосходно, и придирачься по мелочам не стоило. Ранение в левое плечо подтверждало его самоотверженность и готовность к смерти на благо революции.

Собственных усилий Берман тоже приложил немало. Вьюны и Кольвань гасили долго, потому что не получалось влиять на их головку, но уже в Дубровине удалось даже и провести своих в командование, и отступивших на север не упустить. Отлов ушедших в тайгу был обычно тяжел и опасен: они шли на крайности и считались закоснелыми преступниками; выходящих из леса, просящих или требующих, крестьяне принимали настороженно, нищebroда с берданкой могли и пришибить спокойствия ради. Предгубчека рассчитал придержать беглецов и всех вместе уничтожить; в Богородской волости поле деятельности подготовили серьезно — заранее спровадили подальше начальство и участковую милицию, приходи и войей, — Аркашëв вовремя встретил дубровинцев и оставил у себя до прихода карателей, еще и местную контру подсобрал.

Сомнительный для вождя народной бури поручик Аркашѣв возник лишь по авантюристичности характера и безнравственности: ему намекнули на его будущую великую роль и он не смог отказаться. Он про несчастное завтра мужиков и деревенок даже не думал, он в своем воспаленном мозгу всю Россию спасал, идиот, — в этом Берман не сомневался. Несмотря на переходящие из доклада в доклад обязательные фразы про колчаковцев, управлявших мятежом, было ясно, что офицерский штаб не стал связываться в Богородском с доморощенными бунтарями и проходимцами. Однако господа оказались ненамного умней и достойней: подтверждение тому — глупый смотр в Белобородове и показания на допросах в ЧК, отчего офицерское подполье лишилось и четкой телеграфной связи, выданной из страха за жизнь, все равно конченную.

Крестьянство оставалось огнеопасным матерьялом. Шептунам не составляло труда добавить словесного огоньку к перетертым разговорам про богохульство, трудфронты, расстрелы, хлебную разверстку, сверхобложение маслом и яйцами, лишение покосов и порубок — и гидра сопротивления возрождалась, вытягивала новые шеи, изрыгала ядовитый смрад капитализма.

Пролетарии грабили своего революционного соратника крестьянина, как помещиков и капиталистов, но все зависело от тракторки, и — по мнению Бермана — если революционер не может изменить действительность, он волен устранить причину ее ненужной характеристики. Стояла задача улучшать и умножать агитационную работу, даже путем распространения типографских листовок, что позволит косноязычному комячишнику выглядеть политически подкованным.

Вопиющая безграмотность царил и в ЧК. Когда Берман увидел, что в фамилии Богданов имя Божье пишут через «а», он устроил для следователей час правописания и спросил: «Вам не стыдно, что еврей учит русских русскому языку?» Они захотали. Он обучал их поиску проверочного слова, но, если «пароход» проверялся словом «порох», начальник не мог признать занятия вполне удачными.

Впрочем, без реального подтверждения силы ни болтовня, ни просвещение никуда не годились. Так, нынче утром в информационно-инструкторском подделе горюездисполкома Берман прочел доклад богородского волостного инструктора РКП(б), где говорилось: «Партийная работа пошла гораздо успешнее после восстания, ибо люди убедились в своем ничтожестве».

Сегодня, однако, получили известие, что взбунтовался Нагорный Иштан: там кулачье избило коммунистов, упродком сбежал, милиция сбежала. В этом селе недавно побывал клятый Савва Сенцов, бесследно канувший и четвертый день безуспешно ожидаемый у его тетки: не такой уж дурак, чтоб появляться у нее и вообще в Томске, — назавтра можно снять засаду.

Берман заглянул к Семочко. Тот завершил допрос речников и отпустил их. Уходя, они толкались в дверях и радостно повторяли:

— Прощайте! Очень приятно!

— По дубровинскому делу они получают пострадавшие, — доложил Сёмочко. — Про Савву ничего не знают. Он с ними не общался, да и понятно... на кой они ему?

— Ну и хрен с ними. Я чувствовал, что от них никакого толку.

— От них толку нет. А от меня?

Сёмочко опять продемонстрировал умение выжимать из камня воду. Допрос команды буксира «Репин» выявил близкое знакомство Сенцова с полковником Духониным еще по пароходу «Богатырь». Пасьянс раскладывался так: джокер Сенцов имел касательство и к томскому военному подполью, и, по сёмочковской догадке, к алтайской армии Плотникова. Похоже, Сенцов пытался возмущать крестьян в разных местах Томской губернии, чтоб оттянуть части Красной армии с Алтая. Узнав о Кольвани, он, очевидно, счел поездку туда ненужной и продиктовал дубровинскому крестьянскому комитету командировать себя и Духонина обратно в Томский уезд, якобы насильно мобилизованных.

— Мне кажется, — сказал Берман, — роль агронома мы все-таки очень преувеличиваем. Он обычный агент. Но...

Расклад в отсутствие Сенцова обстоятельной проверке не мог быть подвергнут и как рабочий годился.

— Погоди-ка еще! — хищно отозвался Сёмочко. — На той квартире жил кожевник приезжий, вроде бы с Алтая, имя-фамилию они не знают. Он все время пьянствовал, с ними не разговаривал. Савва жил в его комнате. Так вот: этого кожевника томская ЧК арестовала!

— Томская? Наверно, Кит. Наверно, кожевник уже в живых не числится.

— Нет! — Сёмочко заерзал на стуле. — Эти чекисты до китовских арестов появились. И они увезли кожевника на катере! И катер ушел не в Томск, а вверх по реке!

— Может, новониколаевские? — Берман озадачился. — Хреновинка!

— Мотя, спроси Кита, страх как интересно!

В аппаратную он увязался за Берманом. Они отправили в Богородское телеграмму и вернулись.

— Налей, Март, яду, — попросил предгубчека.

Сёмочко поставил на стол рябину на коньяке, разлил по стаканам. Он не перебивал молчание друга-начальника, помаленьку смаковал старорежимный напиток и носился мыслями по афише кинематографа: выбраться на игровую и рисованную «Гибель “Лузитании”» или на Макса Линдера либо предпочесть наше — «Барышню и хулигана» с поэтом Маяковским или «Уплотнение» с наркомпросом Луначарским?

Берман думал: «Руководство подпольем может таиться где угодно. А если оно рядом? в ЧК? в губревкоме? Ведь предлагал Шишков в чекистских душах покопаться, вскрыть гнойники внутри органов. Внедриться в ЧК враг должен непременно, и он уже тут».

Служба Берману нравилась, но в Москву он перевелся б с удовольствием. Все решалось по личной симпатии сверху, и пока теплилась надежда, что Беленцу удастся перебраться в столицу и Алексей Иванович сформирует свой двор, не забыв томскую охрану.

— Матвей Давыдович, — телеграфистка принесла ленту, — вам ответ.

Берман и за его плечом Сёмочко прочли: «17 июля, Богородское. Сенцов скрылся при начале мятежа. Кожевник пропал позавчера. Об аресте его чекистами я узнал от вас, ко мне они не обращались, их не видел. Хозяйка квартиры, дворянка, злостно утверждает, что ничьими именами не интересовалась. Помкомбат Кит».

Глава XXVII. 13—18 июля, Нагорный Иштан — Томск

Из Нагорного Иштана Савва ушел не сразу. Поначалу он бестолково бродил где попало, совсем устал и лег в чье-то сено.

Из дома тотчас выбралась грузная женщина и подняла крик:

— Ты зачем тут разлегся? Убирайся! — И позвала мужа по-немецки: — Прогони его. Он мог уже что-нибудь украсть.

Савва хорошо знал немецкий — изучал его в сельскохозяйственном училище, затем самостоятельно освоил необходимую иноязычную агрономическую терминологию, а в Баеве общался с меннонитскими колонистами, перенимал у них опыт и брал изданные в Германии пособия по землепользованию.

— Уходите, пожалуйста. — Худощавый муж грозно поджал губы.

— Не ругайтесь, — по-немецки сказал Сенцов. — Я хотел отдохнуть. Я ухожу.

— Вы немец? — Муж встрепенулся. — Простите ее, она не хотела вас обидеть. Мне от нее тоже достается... Меня зовут Фридрих Райнхардт, а это моя жена с библейским именем Марта.

Марта улыбнулась и пригласила откусать некое овощное блюдо. Фридрих рискнул не обращать внимания на взоры супруги и выставил штоф водки. За ужином гость разочаровал их тем, что он русский, но удивил знаниями языка, немецкой культуры и, конечно, земледелия. Они даже засмутились своей грубой речью, ибо Савве в Казани ставил произношение выходец из Гамбурга, а они родились под Саратовом и никогда не видали страны отцов. В уважение к традициям хозяев Савва отказался называть их Фридрихом Петровичем и Мартой Петровной, звал Herr Reinhardt и Frau Reinhardt, а они из этикета перешли на русский. Объяснив супругов Филемоном и Бавкидой, он привел их в умиление, и фрау Райнхардт перестала коситься на выпивающего мужа. Они оставили незваного гостя ночевать. Банные дрова Фридрих сэкономил и показал душ с нагретейшей водою в бочке, поставленной на крышу сарайчика.

Поутру хозяин повел на свое картофельное поле с буйной ботвой и слабо растущими клубнями. Оказалось, он обильно удобрял почву рыбной мукой.

— Зря вы так, — заворчал Савва по-русски. — Вы же всю солонку в суп не высыпаете? Лучше б при посадке чуть-чуть в каждую лунку добавили перегноя. С картошкой теперь ничего не поделаешь, и не старайтесь поливать: она уже уверена, что растет правильно... А чтоб лучше дышала, поокучивайте. — И немного распространился про ее приязни и претензии.

— Здравствуйте. — Сосед Фридриха по участку, пасмурный и мешковатый, заинтересованно приблизился. — Слушаю, как вы землю лечите. Не откажите, пожалуйста, и у меня посмотреть. Уступи мне, Фридрих Петрович, доброго человека.

— Сто грамм — отдам. — Немец засмеялся.

— Договорились, — кивнул сосед.

Павел Михайлович Веретёнов, из городских, надеялся, что его с семьей земля прокормит. До Гражданской войны он возглавлял обувную артель, ныне ж по обязательной трудовой повинности числился кооператором случайного товарищества, где, кажется, работал только председатель — мошенник новой кройки, собиравший членские взносы от избежавших госслужбы и сочинявший отписки в горкомтруд.

Обозрев посадки, Савва давал советы и прихлебывал скверного вкуса самогон, закусывая с грядок. Фридрих откланялся.

— Трудно одной ногой стоять в городе, другой — в деревне, — рассуждал агроном. — Тут весь человек нужен... И власть вас заставит, куда обе ноги поставить. Она спросит, кто этот буржуй с дачей... Отсюда продукты как повезете? Они ж неучтенные, а значит, злоумышленно заработанные. У вас их милиция отберет как государственную собственность!

— В Томске огородик нигде приткнуть не удастся. — Веретёнов мрачнел все более. — А по причине характера, простите, я не умею с советскими порядками ужиться, даже по нужде служить не могу.

— У них своя правда, — глубокомысленно обронил Савва.

— Ну да, ну да, — Веретёнов поморщился, — разумеется. Важно понять каждого. Слыхал... Но хочу ль я знать подноготную преступной правды? Не хочу!.. Простите, налить больше нечего.

Савва почувствовал, что вдруг стал неприятен подвыпившему Павлу Михайловичу, попрощался и пошел прочь.

Впереди лежала широкая пыльная дорога. На жаре и от сивухи его разморило, он прилег в какой-то ложбинке и спал очень долго — за прошлое и на будущее, как настоящий бродяга.

Пробудился он по предрассветному холодку, изрядно искусанный комарами. Дорога его дождалась; он вяло, изнывая от жажды и с больной головой, зашагал дальше. Донимали слепни, крупные и голодные, бьющие в лоб и жалящие в спину; он от них отмахивался пучком лебеды, аж руки устали. Отдыхать присаживался все чаще и в Тигильдеевы Юрты прибрел к полудню.

Юрты оказались селом со стеклозаводом и мечетью. Савва жалел, что здоровадается со встречными по-русски; ему нравилось говорить с со-

беседником на его языке, но прежде он мало общался с татарами, сибирскими и казанскими, да и пьяный ум подзабыл обиходные фразы.

Выше по течению Томи путник окунулся в реку, и мнилось, век бы стоял на песке и мелкой гальке среди тихих, убаюкивающих волн. Уверенность в своей надобности селу и миру сильно истончилась. Он видел в воде отражение бородатого растерянного человека и не узнавал в нем Савву Сенцова. «Суета суетствий... — вспомнил он. — Всем время и время всяцей вещи под небесем: время рождати и время умирати, время садити и время исторгати саженое... Но даже печалец Екклесиаст уверял: “Несть благо, но токмо еже возвеселится человек в творениях своих, яко сия часть его”». И Савва призвал себя идти и пошел дальше.

В Губине он не задержался, украл у кого-то сквозь изгородь несколько тощих морковок, продремал ночь в стогу и двинулся к тракту.

Запрет на частную продажу хлеба не давал возможности сытно поест, но в Зоркальцеве он все-таки заглянул в лавку и безнадежно оглядел полки со скобяными и прочими хозяйственными мелочами.

— Кажись, с похмелья маетесь? — полуспросил хозяин.

— Да нет...

— Издалека?

— С Нагорного Иштана.

— В Томск?

— Ага...

Разговор завершился удачно для обоих: агроном перебрался в надворную избушку, разменял пятисотку, поел, выпил, купил еще, потом еще и перестал обращать внимание на время.

Сутки спустя его отыскал покойный пьяница дядя Зина и пригрозил увести с собой к чертям собачьим. Савва перепугался. Хозяин успокоил его тем, что бояться больше нечего, коль деньги кончились, однако честно оставил сдачу, и ее хватит уплатить за перевоз.

Перепулав вечер с утром, Савва пошел в город.

С рассветом ему открылся Томск в церквях и рощах.

На перевозе слепая белая лошадь принюхалась к Савве и улыбнулась.

Эпилог

Прежняя жизнь Саввы Сенцова обескуражила б любого историка, столь она была незатейлива, однако, неожиданно закружась в водовороте событий, и он оказался заметным человеком. Вероятно, где-нибудь могут проявиться его деяния — так ли это, бог весть, а в какой интерпретации, сказать и вовсе невозможно.

В воспоминаниях Н. В. Иванова «Чем жить?» есть упоминание архивной находки в «четыре листа машинописных — ни автора, ни названия... При донесении о расстреле. Семьдесят два мужика в одной деревне! И несусветным образом записки офицера, который вернулся из австрийского плена». Речь идет о Кирилле Даниловиче Кабинетском.

Вдова скрывала реальную причину смерти, и потомки думали, что он пропал без вести.

В мемуарах Иванова неожиданно встречается и Никита Петрович Малахов, в 1957 году живший в сенцовском селе Баево. Иванов знал его как «деда Малышева, приослепшего и даже не седого, а желтого с прозеленью». По словам мемуариста, Малышев всегда «трудился кожевником, и руки у него то ли от работы, то ли от старости были коричневыми и жилистыми. Он сказал моей матери: “Ты, Таисья, съезди куда, крести дите”, нашел меня кривыми пальцами и погладил».

О многих реальных людях, здесь упомянутых, мы больше ничего не знаем. История не любит рассказывать все и сразу.

Мятеж в междуречье Оби и Шегарки возгорался до августа 1920-го. Помкомбат Кит-Вийтенко рыскал по уезду и гасил контрреволюционные настроения встречным пулеметным огнем.

Вадима Васильевича Бородаевского (из Дубровина) и Ивана Абрамовича Хохлова (из Батурина) расстреляли.

Александр Семенович Аркашѐв пытался в ЧК спасти жизнь просьбой об отправке на польский фронт и гнусным предложением взять семью в расстрельные заложники, но пули не избежал.

Филипп Долматович Плотников, собравший войско на степном Алтае, в октябре проиграл решающее сражение и покончил самоубийством. Его голову накололи на шашку и провезли по селам.

Поднявшего мятеж в Мариинском уезде Петра Кузьмича Лубкова в 1921 году убил агент ЧК. Труп командующего «народной армией» возили другим крестьянам напоказ.

Пароход «Богатырь» в честь подвига Вронского назвали именем Дзержинского. Сам Константин Александрович Вронский уволился из ЧК, стал капитаном парохода «Катунь» и участвовал в устье Оби в торговых операциях с Западом, однако рано и обидно нелепо умер — в 1924-м от простуды. Жена и грудная дочка погибли вскоре после его похорон — провалились сквозь тонкий речной лед.

Филипп Козьмич Зобнин в 1920-х преподавал в школе и скончался в 1930-м. На его домике прикреплена мемориальная доска о последнем адресе Потанина.

В 1933 году томская заразная лечебница стала называться инфекционной больницей имени Г. Е. Сибирцева, и сам Геннадий Евгеньевич работал в ней вплоть до своей смерти в 1952-м.

Михаил Бонифатьевич Шатилов по 1933 год был директором Томского краевого музея, о чем там гласит мемориальная доска. Его оговорили участником белогвардейского заговора, сослали на Соловки и в 1937-м по очередному надуманному обвинению расстреляли вместе со знаменитым философом Флоренским. Ольга Александровна пережила мужа на тридцать лет.

Богородские клирошане протоиерей Филипп Иванович Асеев (с двумя сыновьями) и псаломщик Сергей Павлович Баранов расстреляны в 1937 году.

Молодой и малограмотный Яков Моисеевич Познанский, в июне 1920-го переведенный из Москвы на пост предтоmgубревкома, сидел в председательском кресле до января. Дальнейшая карьера складывалась на Украине, где с 1924 по 1926 год он был наркомом соцобеспечения, но в политических битвах той поры проиграл. В 1937-м расстрелян.

«Сибирский Ленин» Иван Никитич Смирнов в 1923—1927 годах был наркомом почт и телеграфов и одним из лидеров «левой оппозиции». Исключен из партии как троцкист. В 1931-м, занимаясь в Москве хозяйственной деятельностью, он возглавил подпольную антисталинскую организацию, два года спустя был арестован и в 1936-м расстрелян по делу «троцкистско-зиновьевского центра» вместе с другими известными партийцами Зиновьевым и Каменевым.

Илья Павлович Кит-Вийтенко в 1934 году дослужился до начштаба Военной академии; в 1936-м получил два года лишения свободы за обморожение двух с половиной сотен курсантов, но в лагере стал начштаба охраны и, по ходатайству замнаркома обороны Тухачевского и прочих причастных к заговору против Сталина, был в том же году освобожден и назначен начштаба дивизии. По делу Тухачевского находился в 1937—1956 годах в лагерях. Умер в Москве в 1977-м.

Матвей Давыдович Берман сделал блистательную карьеру (в 1923—1924 гг. нарком внутренних дел Бурят-Монгольской АССР, в 1927—1928 гг. председатель ГПУ Узбекистана, в 1932—1937 гг. начальник ГУЛага, в 1936—1937 гг. замнаркома внутренних дел СССР, в 1937—1938 гг. нарком связи) и был расстрелян в 1939-м при бериевской чистке.

В отличие от сталинца Бермана память о ленинце Шишкове в Томске бережно хранится: на бывшем здании Губчека висит мемориальная доска, а возле управления ФСБ стоит бюст.

Алексей Иванович Беленец с 1920 года жизнь провел в Москве на партработе и умер в 1976-м. В его честь в центре Томска установили мемориальную доску и назвали улицу.

Константин Михайлович Молотов с 1922 по 1938 год исполнял в Москве партийные обязанности, затем отбыл восемь лет в лагерях Кузбасса и, освободившись в 1946-м, предпочел потеряться на просторах СССР.

Прах Потанина оказался беспокойным: его перенесли с уничтоженного кладбища Иоанно-Предтеченского монастыря в Университетскую рощу, поставили бюст, но то, что здесь могила, на постаменте не значится. Именем Потанина названа улица на томских задворках.

Старинное богатое село Богородское превратилось в деревеньку Старая Шегарка. Некоторые деревни запустили и с карт исчезли. Обь течет все так же, только и это уже другая река.

Юрий КАЗАРИН

ЗИМНЯЯ ВОДА

* * *

Лед разносился на впалой реке,
словно колечко на левой руке —
тонкое, с темным изъёмом,
на золотом безымянном.

Тень удлиняется — не унесешь:
хочешь обнять — обнимается дрожь,
словно земля для солдата
павшего — великовата.

Глина прижмется — и тесно ему.
Тронешь лопату, узнавшую тьму...

Холоду мало, холоду мало —
вот и вода исхудала.

* * *

Под каждой крышей твердая блесна
из влаги и небес, из холода и речки.
Осины потаенная весна
освобождается у печки:
о, запах смерти, вербы и любви,
и жизнь огня в оттаявшем полене,
и рыбка серебристая в крови,
и лес в сугробах, ставших на колени,
и в рукавах озноба воробьи...

* * *

И снег освободит березовые выи.
И голая ветла натянет вдоль ручья
в узлах веревки бельевые
небытия.

И вербные шмели объятая раскрывают.
И шире неба в озере светлеет полынья.
И в горле — от любви — не застревают
шмелиные узлы небытия.

* * *

Зимняя вода — не мертва зима —
строит в проруби, прямо в себе, дома
из лучей твердеющих, брошенных вкось,
в бездну вонзенных — проходит ось,
по которой пятится к тебе ведро:
жидкое, черное серебро
выплеснется шорохом — на льду ни следа,
долго кто-то смотрит с высоты сюда...

Бредит горлом ласковым зимняя вода.

* * *

Как будто воздух сделан из ресниц —
так пасмурно. Доверчивых синиц
с ладони легким семенем кормлю.
В слепом слепое высмотрит слепец —
и видит тьму, не опуская век.

И чайной ложкой ласковый творец
в твоём окне помешивает снег.

* * *

Небытия чужое чудо —
потянет музыкой оттуда:
она безвидна и легка,
как дождь, текущий в облака.



Как снег, все валится — оттуда —
из рук отчаянья и чуда,
как вечный снег из первых рук...

Где замыкает узкий круг
небытия неслышный звук.

* * *

Подо льдом вода неглубока,
и на льду следов издалека
выпуклые тянутся овалыцы.
Мальчику малиновые пальцы
поцелует в проруби река.

В небе зябнет левая рука —
там, где отдыхают облака,
белые от влаги постояльцы,
беглые, нездешние пока...

* * *

Воздуха звери царапают кровлю,
звери вечерние в окна стучат
веткой, наполненной треском и кровью —
твердой, как зимний надломленный сад.

Утром в развалинах снега и взгляда
зверь умирает, и в друзьях дворца
черный скворечник и неба громада
держат скворца по велению сада
волей родного отца —
главного в мире Скворца.

* * *

Нити времени — не паутины:
с крыши нежная дратва воды
убывает в отдушину глины
и мышинные учит ходы.
Словно взгляд проникает в мышленье
и тревожит пасхальные швы,
повторяя свое шевеленье
шевеленьем бессмертной травы.

* * *

Воздух одет в воду,
в музыку и свободу
шума внутри ведра
мятого, на заборе —
дном к небесам: как море
небо стоит с утра —
здесь, посреди двора...

Господи, что такого —
колокола пустого
голос находит слово
из вещества иного —
гнутого, как подкова,
зимнего серебра.

* * *

Жизнь дерева и облака над ним
понятна им, неведомым, двоим, —
и третьему незримому — ему,
живущему в своем большом доме,
и я иду всю жизнь к его крыльцу —
остановлюсь и улыбнусь скворцу,
и проведу ладонью по лицу...

* * *

N. Z.

Вселенная больна сознанием,
нежнее снежного — касаньем
чего-нибудь, кого-нибудь,
где ливень ивы с придыханьем
в себе полощет Млечный Путь.
Нежнее смерти и свободы,
прямее боли и беды
твой Млечный Путь вырастает в воды,
где льется ива вдоль воды.

* * *

По слуху, от птицы до птицы,
иду от щегла до синицы,
до ласточки первой не сплю —
на веки, на взгляд, на ресницы
тяжелые слезы леплю —
по кругу от звука до слога
иду от ресницы до бога,
от вербы до вербы не сплю —
великие слезы коплю...

* * *

Не пустота — похолоданье,
не шерсть, а иней на стволе
сосны: изнанка мирозданья,
заплата неба на земле.

Собака лает у соседки,
и совпадают наши сны:
и вывих общей тишины,
и вывих голоса и ветки,
как вывих сердца из страны.



Денис ГЕРБЕР

ШВЕДСКИЙ БОГ

Р а с с к а з

1.

Он все представлял иначе. Он рассчитывал долго стоять на краю лодки, бесконечно смотреть в темные байкальские бездны и не спеша прощаться с жизнью. Вышло по-другому: всего несколько секунд балансировал на ходящей ходуном корме и неумело бухнулся в холодную воду. Набитые камнями карманы уверенно потянули вниз, как два маленьких якоря. И сам он был якорем, в последний раз выброшенным за борт, — только якорем без цепи.

Чудовищная яркость наполнила сознание. Вместе с тем мысли выскользнули из головы. Он просто погружался, погружался, погружался, безмятежный, как грузило. «Нужно ли открывать рот и самому глотать воду? — подумал Игорь. — Или дожидаться, когда воздух закончится, чтобы потом захлебнуться наверняка?» Мысль была глупой. Он решил оставить все как есть.

Несмотря на то что рот остался закрытым, вода все же попадала внутрь. Она сочилась через нос, уши и даже сквозь закрытые глаза. Человек лишь снаружи кажется добротно скроенным и герметичным. А оказывается, он протекает, как автомобиль дешевой сборки.

Вдруг ворот куртки впился в горло. Он почувствовал, как верхняя пуговица упирается в кадык. Погружение прекратилось. Только сейчас — не на берегу и не на корме лодки — он почему-то ощутил страх. Безмятежность сознания рухнула. Будто кто-то наступил тяжелым сапогом на девственное дно, подняв клубы коричневого ила. Мысли калейдоскопом закружились в голове. И даже не мысли, а так, обрывки беспорядочных образов.

Игорь понял, что его тянут на поверхность. Промокшая ткань куртки давила на горло. Из открытого рта вырывались гроздьи пузырей, словно кто-то стравливал воздух из баллона. Весь мир качался. Тело болталось в вязком пространстве, имея одну-единственную опору — матерчатую удавку на шее. Он почувствовал, как внутри вскипает злость: кто мог так

бесцеремонно тащить его обратно? Игорь даже замахал руками — то ли для того, чтобы помешать всплытию, то ли пытаясь добраться до ненавистного человека за спиной.

Тут они вынырнули на поверхность. Волны качались, перелетая через голову, одна за другой били в лицо звонкими пощечинами. В нос и глаза попадала вода. Игорь услышал чужое дыхание у себя за ухом. Человек кряхтел, отплеывался. Затем невидимая рука снова потянула за шиворот — к утопающему в тумане силуэту резиновой лодки. Незнакомец пыхтел, загребая одной рукой. Игорь мог бы помочь ему, но отчего-то безвольно повис, отдавшись чужой воле. Только когда человек попытался затащить его в лодку, Игорь отмахнулся и полез сам.

Они лежали на резиновом дне плечом к плечу и учащенно дышали. Небо над Байкалом покрывали низкие тучи, одна из которых была черной и выпуклой, как валенок.

— Ты что, плавать не умеешь? — отдышавшись, спросил человек.

Игорь неуверенно кивнул и ощупал руками лицо, словно проверяя: не подменили ли?

2.

Человека звали Петром. Он представился сразу, как только они пристроились на тонкие сиденья. На вид ему было чуть больше сорока. Широкое лицо потрепано временем, курением, пьянством, неудачным браком, бог знает чем еще. Глаза, голубые, как у кинозвезды, нелепо смотрелись на этом ороговевшем лице. Фронт между лысиной и короткими рыжими волосами проходил посередине головы, ближе к затылку.

Петр завел мотор, и лодка, дребезжа, понеслась к берегу. Оба тряслись от холода.

— Я на тебя случайно наткнулся, — сказал Петр, перекрикивая шум двигателя. — Туман же, не видно ничего. Тут смотрю: вроде лодка. И всплеск совсем рядом. Тебя качнуло, что ли?

— Качнуло, — подтвердил Игорь.

— А почему не выбирался? Я нырнул — вижу: на дно идешь, как дерьмо.

— Оно как раз всплывает...

Они приближались к берегу. Петр, сидя на корме, постоянно отклонялся в сторону — пытался разглядеть за Игорем правильное направление. Его нижняя губа тряслась, как у обиженного ребенка, приходилось ее прикусывать.

На берегу, метрах в тридцати от воды, маячила небольшая палатка. За деревом изящной раковиной примостился серебристый минивэн. Черным пятном выделялось остывшее кострище, вокруг которого, словно мasonicкий циркуль, лежали два побелевших от времени ствола.

Петр быстро наладил огонь и поставил воду в гнущем алюминиевом котелке. Он бросил Игорю запасной рыбацкий костюм, сам накинул

какое-то тряпье, найденное в багажнике машины. Промокшую одежду они перекинули на веревку над костром. Обувь с вывернутыми языками пристроили на камни. Все это походило на ритуал какого-то языческого культа. Сырая одежда и обувь сдерживали беспокойных духов огня.

— Все вещи в лодке остались, — пожаловался Игорь.

— Теперь не найдешь. Мы когда всплыли, лодки уже видно не было. Хорошо, свою «резинку» нащупал. А то плавали бы сейчас, как эти... рачки микроскопические...

— Эпишура, — подсказал Игорь.

— Вот-вот, как эпишура.

— Надо завтра вдоль берега пройтись. Может, прибило где-нибудь.

— Пройдись, пройдись, — с сомнением пробурчал Петр.

Когда вода закипела, уже начало смеркаться. В котел закинули тушенку и суп из пакета.

Петр достал из рюкзака пластмассовую бутылку без опознавательных знаков и плеснул прозрачную жидкость по кружкам:

— Давай, чтоб не заболеть!

Они выпили залпом, символически занюхали рукавами. Игорь почувствовал, как горячие угли зардели где-то внутри. Пьянящая волна вмиг добралась до головы.

— Какое тут заболеть не заболеть — за второе рождение пить надо, — пробормотал он.

Петр расценил фразу как предложение и налил еще. Пока в котелке созрел суп, они прикончили четверть бутылки. Затем поели и продолжили.

Выпив в очередной раз, Петр вытер рукавом струйку, бегущую по небритому подбородку, затем стряхнул остатки из кружки прямо в огонь. Костер пыхнул голубым пламенем, как огромная конфорка.

— А тебе что, нужно оно, это второе рождение? — зло процедил он сквозь зубы.

— Что? — Игорь выпучил глаза.

— Ничего! Думаешь, я не видел, как ты сам в воду прыгнул? Качнуло его! Голова у него, видите ли, закружилась!

Они поднялись на ноги, осматривая друг друга мутными взглядами.

— Ты что несешь-то, рыбак? — прошипел Игорь, покачиваясь.

— А то и несу! Несу в народ веру и справедливость. Ты мне, сучонок, хоть спасибо-то сказал, за то что я жизнь твою спас? — Он потряс кулаками, как дирижер. — Вот этими самыми руками выгащил за капюшон твой китайский.

Игорь нелепо переступил через костер и бросился на рыбака. Они сцепились и свалились на землю. Почти минуту боролись, пыхтя, сопя, разбрасывая миски и сырую обувь. Еще столько же лежали, устало трепеща. Затем Петр отцепился и на карачках приполз к своему месту у костра.

— А тебя просил кто-нибудь спасти меня? — раздался из темноты надрывный голос.

Петр нащупал бутылку и налил спирт в обваленную землей кружку. Он уже занес руку, как в освещенный круг вступил Игорь и резким движением выбил кружку. Самого его шатнуло и унесло обратно во тьму.

— Спасатель хренов, — донеслось с земли. — Плавает тут... МЧС России. Чип-и-Дейл недоделанный.

Петр не ответил. Тусклым взглядом он глядел на красные угли, из которых тут и там выскакивали желтые язычки. Шелест догорающего костра растворялся в мерном шуме байкальских волн, которые где-то рядом атаковали берег. Вскоре послышалось легкое всхлипывание Игоря. Сначала он сдерживал плач, после стал реветь навзрыд, как ребенок.

3.

С хмурыми похмельными лицами они шли вдоль берега и глядели на тусклое море, простирающееся до горизонта. Лодки нигде не было видно.

— Ты из-за бабы, что ли?.. — спросил Петр. — Прыжки свои из-за бабы совершаешь?

— Я что, Евгений Онегин?

— При чем тут Онегин? Скорее Кусто!

— Сейчас дощутишься!

Они остановились на небольшой возвышенности, оглядывая бухточки и прибрежные воды.

— Да бесполезно искать ее. Унесло уже давно.

— Наверное. Я ее у мужика в поселке арендовал. Вернуть бы, по хорошему.

— А ты когда топиться собирался, тоже вернуть хотел? Думал, придешь такой сине-зеленый и паспорт свой потребуешь?

Игорь мрачно скосился и сдержанно хмыкнул:

— Какой паспорт? За четыре бутылки водки арендовал, без гарантий. Да и не знал я еще тогда наверняка... Ладно, пошли.

Они двинулись обратно к лагерю, лениво передвигая ноги.

Утро было серым, точно пепел от костра. Шумели волны, нервно кричали чайки.

— Ты сам-то что здесь делаешь? — угрюмо поинтересовался Игорь.

— Рыбачу.

— Не видал я что-то рыбы твоей.

— Да была тут вчера одна. С тебя ростом. Еле-еле вытащил. — Петр по-дружески хлопнул его по плечу. — Рыбеха, блин! Эндемик байкальский!

Вернувшись на стоянку, заварили чай. Похлебывая из кружки, Игорь ощупывал свои сырые ботинки. Расшнурованная, с длинными вывернутыми языками, обувь словно подверглась допросу инквизитора.

— Может, чего покрепче? — как-то обиженно спросил он.

— Можно.

— Только не так, как вчера, а то нажрались, как тарбаганы.

— Ты думаешь, у меня тут винокурня или завод ликеро-водочный? Всего полбутылки осталось.

— Спирта?

— Разбавленного!

Петр извлек из рюкзака початую бутылку и плеснул жидкость в кружку.

— Чай не выливай, — велел он, — из одной попьем.

Чавкая, он отпил половину, поменялся кружками и запил несладким чаем. Напарник допил остальное, кряхтя и откашливаясь.

— Что, не пошло? — оскалился хозяин спирта.

— Хорошее всегда с трудом дается!

— Надо же! Какие мы... лапидарные.

Несколько минут они сидели, наслаждаясь теплом, расходящимся по телу.

— Если не из-за бабы, тогда из-за чего? — спросил Петр, наливая снова.

— Слушай, тебе какая разница? Что, кроме баб, другой причины быть не может? Я женат вообще, не студент какой-нибудь влюбленный.

— Да не заводись. Я помочь хочу.

— Вчера помог уже. Теперь что, психологическая реабилитация? Давай допивай, чего доквашиваешь?

Чай мешался со спиртом, оставляя во рту вяжущий вкус. Петр не выдержал, нарезал хлеба и вскрыл банку сайры. Из рюкзака появилась еще одна пластмассовая бутылка.

— А говорил, не ликеро-водочный! — воодушевился Игорь. — Ты сюда спиваться приехал?

Через полчаса бутылка почти опустела, лишь на ребристом доньшке бултыхались четыре прозрачные лужицы. Сайру тоже прикончили; Петр макал в банку кусочек хлеба, собирая маслянистый бульон.

— А что, причина обязательно должна быть? — вяло говорил Игорь. — Такая нормальная причина, чтобы ее можно было в документ записать. Мол, убил себя потому-то и тому-то... А как я казенными формулировками сказать могу, что нет у меня причин особых? Просто жил и понимал: живу-то я не так. Работаю не там, где хочу, сплю не с тем, с кем хочу. И главное, сам-то я — не тот, кем хочу быть! И ничего, ничего с жизнью этой проклятой сделать не могу! Вот говорят: измени себя сам. А кто изменил? Покажи мне таких. Все слабые. Все! Один Мюнхгаузен молодец! Взял и сам себя за волосы вытащил. А больше никто.

— В церковь ходил?

— Да ходил! — отмахнулся Игорь.

— Что, попы — лицемеры, скажешь?

— Нет. Нормальный был мужик. Сразу понял, что к чему. Говорит... Говорит: «Самоубийство — самый страшный грех». А я ему: «Чего страшного-то? По своей воле уйду, никого за собой не тяну».



— Ну, а он?

— Говорит: «Господь тебе жизнь дал как дар великий. И нехрен этим даром разбрасываться». Я ему: «Ну, так дар ведь, могу и распоряжаться». А он: «Не ты дал, не тебе и отнимать».

Петр долил остатки спирта, и они безразлично выпили.

— Я вот что думаю, — продолжил Игорь. — Самоубийство — самый страшный грех. А убийство чем лучше? Или я себя прикончу по собственному желанию, или убью такого же человека, но который этого не хочет. Что страшнее-то? А если я пятерых завалю — что, самоубийство все равно хуже?

— У других ты только тело убиваешь, а у себя еще и душу.

— Соображаешь! — Игорь одобрительно покачал пальцем.

— А ты что думал! Тут бабке в пуп не дуи. Я тебе много чего рассказать могу.

— Ну давай. Расскажи.

Петр предпринял попытку отыскать спиртное, однако, кроме едкого запаха в пластмассовой бутылке, ничего не обнаружил.

— Знаешь ли ты, например, что Иисуса не на кресте, а на дереве распяли? — проговорил он, с трудом шевеля губами.

— Чего-чего?

— Нет, ну, может, и на кресте тоже. Но этот крест нужно рассматривать сим... символически, как и всю Библию. Иисус же как говорил? Притчами! Вот и Библия — одна большая притча. — Петр доверительно наклонился ближе, почти положив голову Игорю на плечо. — Есть одна гравюра старинная, где Иисус на дереве распят. И это тоже нужно рассматривать сим... символически. Дерево — это мудрость. Вот, скажем, Один, шведский бог, он себя тоже к дереву приколол, чтобы обрести бесконечную мудрость и знание. Сам чуть не помер, зато мудрость получил.

— Нажрался ты до святотатства последнего, — остановил его Игорь. — Шведский бог у него! Пошли в палатку.

4.

Следующее утро несколько не отличалось от предыдущего. Небо и байкальские волны играли всеми оттенками серого. Надрывались чайки. Петр оседлал выбеленную временем корягу у самой воды. Он курил и глядел, как пенные языки стараются дотянуться до его сапог. Вскоре из палатки выполз Игорь. Он уселся рядом, нарушив равновесие коряги, и как-то странно оглядел дымящуюся сигарету.

— Ты чего там вчера про символизм в Библии плел? — спросил он. — Шведский бог какой-то...

— Да-а, так.

— В семинарии, что ли, учился?

— Ага, в семинарии. В политехнической. Пойдем-ка.

Они подошли к палатке, где Петр долго копался в рюкзаке. Дым от зажатой в губах сигареты попадал ему в глаза. Наконец он вынул подшивку старых журналов, связанных шнурком от ботинок, и протянул Игорю. Это были номера «Науки и религии» столетней давности.

— Вот, жена сунула — костер разводить и задницу вытирать, — буркнул он, выжимая из сигареты последние затяжки. — Я тут начитался за два дня, теперь могу и о Боге порассуждать. Ты посмотри пока, а я вздремну: голова раскалывается.

Петр упал в палатку, так что снаружи остались лишь ноги в резиновых сапогах. Без особого энтузиазма Игорь полистал журналы. Картинки напомнили ему «Технику — молодежи» и прочие ежемесячники, которые он читал в юности. На душе стало тепло и тоскливо. В одном из номеров он нашел литографию Эшера — ту самую, на которой руки рисуют друг друга. «Иначе это нужно изображать, — усмехнулся он про себя. — Один человек за волосы вытаскивает из воды другого, а второй в это время вытаскивает первого».

Он сунул подшивку обратно в мешок, и вдруг рука наткнулась на мягкие снаряды пластмассовых бутылок. Вот где винокурня! Одна за другой из желтого брюха рюкзака вылупились три емкости, без всяких сомнений, наполненные спиртом. Не воду же рыбак с собой привез.

С минуту-другую Игорь оглядывал торчащие из палатки ноги, затем поднялся и стал рыться в чужих вещах. Он обшарил и пропахший маслом минивэн, заглянул в мешки, что лежали в лодке. Ничего похожего на снасти не обнаружилось.

— Рыбак, блин.

Бухта, в которой обосновался Петр, была великолепной. Байкал здесь открывался во всю ширь, до самого горизонта. Две возвышенности защищали лагерь от ветра. Никаких обрывов и длинных спусков к воде. Единственный минус — нехватка дров. Несколько одиноких сосен, растущих на берегу, могли одарить лишь хворостом, а за нормальными долгоиграющими дровами приходилось идти за возвышенность: там, вдалеке, начинался настоящий лес.

Днем они дошли до ельника и насобирали две огромные охапки — этого должно было хватить до следующего утра.

— Тебя домой-то везти? — хмуро поинтересовался Петр, когда они возвращались.

— Куда?

— Ну домой. Откуда ты там приехал...

— А-а... Отвези, конечно. Но не сегодня.

— Естественно, завтра. Сегодня-то куда?

Петр резко остановился, будто наткнулся на змею, и выронил охапку дров. Нет, не выронил — бросил намеренно. Игорь только открыл рот, как удар кулаком пришелся ему прямо под глаз.

— Ты чего?! — взревел он. — Осатанел?

Тот попытался ударить снова. Они сцепились как кошки и покатились кубарем. Минуты две, не больше, они пыхтели, слабо били кулаками морды, матерились, затем успокоились.

— Что творишь, козел? — отползая, хрипел Игорь.

Петр, переведя дух, сел на землю.

— Все я понял про тебя, прыгун ты стриженный! — сказал он с одышкой. — Домой приедешь и опять на тот свет намылишься?.. Ну, чего молчишь? Не так? Удавиться собрался или с балкона сигануть? А может, пулю в лоб — по-декадентски?

Игорь нашел силы подняться. Он стоял, пригнувшись, как вратарь в момент пенальти. Его ботинок слетел с ноги во время борьбы, но он будто не замечал этого.

— И чего ты привязался ко мне, скотина?! — заорал он с надрывом. — Что пристал? Или чувствуешь ответственность за жизнь мою никчемную? Думаешь, нашел кого-то ничтожнее себя и будешь ему мозги промывать?

— Пошел ты! — буркнул Петр и начал собирать дрова.

Сучья постоянно вываливались из его трясущихся рук, и он нагибался за ними снова.

— Да ведь сам ты — ничтожество! — не унимался Игорь. — Впервые в жизни совершил нормальный поступок, да и то случайно. Давай теперь, цепляйся за свое геройство! Кроме моего спасения, в жизни твоей никакого смысла!

Он машинально стал помогать собирать рассыпанные сучья. Потом заметил свой ботинок и натянул его.

— А я вот возьму и снова прыгну, — пригрозил он спокойно. — Тогда и не останется никакого смысла в геройстве твоём. Будешь дальше водку пить, заливать жизнь пустую, пока не сгинешь. Тебе повезло, что спас меня! Скажи спасибо, что я топиться неподалеку начал. А то бы сам, глядишь, в воду сиганул.

— Чего?

— Да ничего! Рыбак хренов. Нет у тебя ничего: ни сетей, ни спиннинга — ничего нет! Только спирта полный рюкзак.

— Я сети поставил...

— Куда поставил? Что ты мне говоришь!

Собрав дрова, они двинулись к лагерю.

— Что варить будем? — спросил Игорь, глядя под ноги.

— Макароны и тушенку, — сухо ответил Петр.

5.

Под утро Игоря беспокоил тревожный сон. Снились какие-то дровазаготовки, лагерные рабочие в черных телогрейках. Одна из длинных сосен покренилась под ударами топора и, точно мачта утопающего фрегата, медленно поползла вниз. Он проснулся и понял, что сон

длился всего одно мгновение — пока снаружи раздавался громкий треск. Несколько секунд Игорь пытался понять, что могло трещать, потом оглядел пустую палатку, встрепенулся и стал суматошно выбираться.

На корявой сосенке рядом с палаткой висел Петр. Его тело раскачивалось на короткой веревке, будто огромное новогоднее украшение. Когда Игорь схватил нож и подбежал, ноги повешенного несколько раз дернулись.

Отрезать веревку оказалось непростой задачей. Когда он приподнял тело вверх, натяжение пропало, и плотные волокна никак не поддавались лезвию. Пришлось чуть опустить висельника. Петр уже хрипел, размахивал руками, то ли стараясь помочь, то ли отгоняя спасителя. Наконец, оба рухнули на землю.

Отдышавшись, они лежали молча. Друг на друга не глядели.

— Я тебе денег немного займу, — неожиданно проговорил Петр.

— Что?

— Отдашь мужику в поселке, у которого ты лодку взял.

— Спасибо.

— И тебе спасибо.

Игорю вдруг стало стыдно за все паскудное, что он наговорил вчера. А к стыду подмешивалось другое чувство, твердое и теплое, — гордость за совершенный поступок. Подобную радость, наверное, ощутил и Петр, когда вытащил его из озера. Нет, такое поганить нельзя.

...После обеда они скидали вещи в минивэн и поехали. Машина кренилась на неровностях дороги. Игорь смотрел на хмурые байкальские просторы и вспомнил про лодку. Интересно, кому она достанется? Кому попадет в руки? Почему-то ему не верилось, что она может утонуть или разбиться о камни. Ничто не исчезает просто так — ни лодки, ни люди.



Ольга ДОМРАЧЕВА

ЛУБОЧНЫЙ СОН

Жара

вишня по-свойски облокотилась на подоконник,
тополиный пух в дом не зван, да вхож.
у дороги пчелы терзают донник
и стоит веселый шальной гудеж.

звонкое эхо сососедских бессонниц —
сытый пес кабысдох,
на лбу черная дворяжья лейба,
спит под вишневым кустом,
ароматами пьян.
белой черепахой солнце
сонно ползет по пустыне неба —
лето в зените.

сосед, старый меломан,
напялил вязаный свитер.
напевая мелодию Элвиса Пресли,
лезет на чердак,
достаёт лопату для снега,
ощупывает черенок — цел ли?
старик всегда был чудаком.
и сейчас мудрее всех
скучно выживших из ума —

лопата в порядке, а где-то
свой пух готовит зима.



пойдем на яр

пойдем на яр смотреть, как облака
пасут Иртыш и вдаль его уводят,
их воля ненавязчиво-легка,
и полногруды пышущие воды.

пойдем на яр, там взнузданный Иртыш
уходит с облаками на закате
по волнам золотистых запятых
за тлеющую точку невозврата.

пойдем на яр, где свет сроднился с тьмой.
и нет реки... ни облака... ни вдоха.
сквозь чернотал иди на голос мой,
отталкивай крючки чертополоха.

прозреешь враз на ветреном яру,
когда Иртыш покорно входит в русло,
и чайка, словно ангел наяву,
о жизни говорит с тобой по-русски.

Бабушка Манюшка

Бабушка Манюшка, бабонька, бабочка.
Спицы бормочут в руках.
Зреет закат перламутровый, яблочный.
Бабушка, бабонька, так
нитка спешит, ей не ждётся, не терпится
свиться в глухой свитерок.
Злая зима — узловатая, в терниях —
тихо ползет на порог.

Бабушка Манюшка — белая куколка,
баюшки-баюшки-бай.

Спицы стучат... или ветками — гулко как —
окна царапает май,
тянет за ниточку — по небу катится
солнца пушистый клубок.
Рядится яблоня в белое платье.
В сердце саднит узелок.
Крылья в саду расправляет безвременник.
«Только смотри не замай» —
вьется, порхает у самого темени
бабочка, бабушка Мань...



НЕ СОН НЕ ЯВЬ...

не сон не явь но вешняя вода
 течет сквозь тьму неведомо куда
 в висок стучит бес сна весна блесна
 мигнет секунда снова тишина
 над поплавком замрет во все глаза
 ты жизнь распознаешь по голосам
 и разрывая время плавником
 заглатываешь слово целиком
 небесья льды пропанешь головой
 сорвешься в воду снова чуть живой
 на тех белуг поющих яви сны
 не напасть ни лески ни блесны

Акулина

белолицая, чернобровая Акулина
 приходила,
 песню снежную заводила.
 небо в рясе едва чадило луны кадилком.
 беспородная сука жалобно в лад скулила.

«баю-баюшки, бедки-детки, подрастайте,
 подрастете — время сонное наверстаем».

синеокая, хладносердая Акулина
 оплела дома словесною паутиной,
 где Иртыш, молодецки сопя,
 выгнул спину.
 март придет, заорет,
 встанет клином.

а сейчас баючит вихрями Акулина.
 небу недосуг свысока увидеть
 над церквушкой крест,
 колкий, спелый иней
 на поселке.
 сон здесь лубочный, длинный.

здесь Москва и не снится —
 тыщи верст до столицы.
 вдоль ослепшего окна
 бродит улица бледна.
 где-то в дали-далеко
 эхо сплевывает кровь.

«...боже святы́й, нам не дай...» —
зги господней не видать.

запевает псина,
воет Акулина.

птица

прилетала птица бела бледней,
истончался свет на конце крыла.
ворковала песню семи дождей
у семи холмов, на семи ветрах.

и ползло-сползало с души рваньё.
и в глазах рождался нездешний свет
от щемящей веры, а песнь ее
о корнях и небе лилась окрест.

я давала птице пшена с горсти.
и трещали почки на ветках верб,
а в земле, ворочаясь, шли ростки
неизменно вверх.

Когда...

Когда сровняю впадины бессонниц,
а дни утратят каверзу и цвет,
когда луча прокравшийся бесенок,
задев слегка, не поцелует век,

когда устану греть на сердце ревность,
забуду, как любить и жить взахлеб,
когда пойму, что время многомерно
и кто его сквозь нас упорно льет,

чтоб семя прорастало невесомо
внутри, собою заполняя брешь...
тогда я не скажу в упрек ни слова —
крылом, пернатый, пуповину режь.

Веди к Нему, и я за все отвечу,
за каждый вздох, а ты воркуй, вещай —
тогда гортанность птичьего наречья
пойму, но не сейчас.

Василий ДОМРАЧЕВ

**ДЕНЬ АНГЕЛА
СВЕТЛАНЫ И ВАСИЛИЯ**

* * *

Как хорошо, что есть еще у Родины
в запасниках садов густые заросли
душистой, черной, сладостной смородины
и много сострадания и жалости.

Как хорошо, что на лугах Отечества
еще так много солнца, злаков, клевера.
Любовь моя в лугах печалью лечится,
чтоб вновь любить, надеяться и веровать.

* * *

Вызревали в поле колоски
там, где ночи были коротки.

Не хватало паре темноты —
столько было в сердце теплоты.

Столько было страсти и огня —
не остуживала ночь меня.

Столько ласки павилось во мне —
доставало света и луне.

Столько было нежности внутри —
меньше алой краски у зари.

* * *

Вот дом давно знакомый и подъезд.
Пока стою, охваченный смятеньем,
твое окно бросает рой надежд —
за ним желанные кочуют тени.

Но в черной двери — кодовый замок,
и высоко до твоего балкона.
Сегодня что-то сердцем я продрог.
Мне эта дрожь по юности знакома.

Пока течет листва, живая чуть,
пока твой свет не потушили шторы,
я слабому сердечку прошепчу:
«Ну, не горюй, не надо, что ты, что ты.

Пройдет и этой осени пора,
с тугим огнем и громом в небе странным.
Ведь и она здесь только до утра:
ее влекут пути, моря и страны».

* * *

Масленица. Проводы зимы.
День ангела Светланы и Василия.
Стою на дне сосновой тишины —
зеленая она и темно-синяя.

Откуда же, откуда этот шум? —
высокий шум разлуки и печали,
в котором о тебе так много дум,
в котором все, о чем мы промолчали.



Яков МАРКОВИЧ

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК

* * *

Это надо ж присниться —
Какая счастливая доля! —
Сколько весит синица,
Берущая крошки с ладони?

Я промерз до прожилок,
А в теле приятное жжение —
Этих легких снежинок
Кружение, кружение, кружение.

Кто-то ласково манит
Игрою на виолончели.
Снится море и мама,
Доска через балку — качели.

Платье синего ситца
Ей выстирать в море недолго.
Сколько весит синица,
Берущая крошки с ладони?

Это надо ж присниться —
Снежинки, снежинки, снежинки.
Сколько весит синица
И ты, возвратившийся к жизни?

* * *

Я снова вернулся туда, где бумажный кораблик,
Где зяблик окрасился красками для восхищенья,
Где пес сам ошейник приносит для дальних прогулок —
Свернешь в закоулок какой, а там уже — новое царство.

Ну, здравствуй, огурчик, созревший в чужом огороде,
И вроде мне друг, но со мною не хрумкает пес,
Он ос золотистую песню глотает ушами,
Он шагает корку как дар возмущенных ворон...

Не тронь лучше память. В сегодня спешి возвратиться.
Та птица давно улетела, а пес твой издох.
Не мог и бумажный кораблик в штормах сохраниться,
Печально, конечно, но жизнь — это горестный вздох.

* * *

То ли спишь, то ли чудо ты зришь наяву —
Синеву облака ли жемчужат иль вишня,
Лишний раз расцветая не вешней порой,
А игрой листопада в березовой роще?
Стало проще увидеть и даль, и грибы —
Как рябит оголенной березка! —
И неброско горят еще кисти рябин —
Не рубин, а лишь шарики воска.



Виктор РОЖКОВ

НАСЛЕДНИКИ КИПРИАНА

П о в е с т ь *

Глава 7

Хотя и называлась Мангазея во время описываемых событий «златокипящей государевой вотчиной», по сути своей была она простой бревенчатой крепостицей с несколькими сторожевыми башнями, полузасыпанным рвом, парой церквей, неуклюжими купеческими навесами и лабазами. Совсем уж причудливые строения приречного посада были созданы на основе богатого воображения их хозяев.

Но тут же надобно отметить, что жизнь в Мангазее проходила часто очень и очень бурно, на фоне такого кипения страстей, какое не всегда можно было увидеть и в более крупных северных поселениях той поры. Совершенное неприятие воеводской и прочей власти лишь для вида прикрывалось внешней покорностью. Поэтому совсем по-другому прошли встречи Дионисия в Мангазее, на которые он возлагал столько надежд и от которых, как он думал, зависела вся его дальнейшая жизнь.

В первых двух домах, куда он обратился поначалу, ему сразу не повезло: хозяева отсутствовали, их не было в городе. В третьем доме, большом и добротном, богатом по мангазейским меркам, привратник и на пороге его не впустил. Все расспрашивал через чуть приоткрытую калитку: кто, откуда и по какому делу хозяин ему потребен. Дионисий пускаться в объяснения не стал. Попросил лишь доложить о себе. А когда привратник после долгих уговоров выполнил его просьбу, то Дионисий услышал и вовсе нелепое...

Привратник, неуклюжий, длиннорукий, лохматый, едва не набросился на Дионисия, забасил озлобленно:

— Ты пошто, чернец, людей добрых булгачишь по-пустому? К лицу ли при летах твоих да при сане духовном лжу излагать? Хозяин наш тебя ведать не ведает и велел впредь беспокойство ему не чинить. Шествуй-ка от двора поспешно, и штоб я николи не зрил тебя...

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 7, 8.

Не зная, что и подумать, Дионисий молча повернулся, зашагал вдоль улицы, размышляя: «Как же сие деется?» Несколько лет тому назад он, также в обличье монаха, был с почетом принят в этом доме. Его не знали куда усадить, чем накормить, и вдруг сейчас вот такие слова. Неужто случилось что-то неведомое ему, зачеркнувшее все его старые знакомства и связи? Кто теперь растолкует, объяснит ему все это?

Выйдя к небольшому земляному валу, за которым кучно роились крайние дома посада, Дионисий услышал вдруг негромкое:

— Эй, Божий человек. Постой-кось!..

Он поднял голову и, удивленный, остановился. К нему спешил привратник, который несколько минут назад так неприветливо встретил его. Сейчас лицо его выглядело неузнаваемым: приветливым и виноватым, будто его умыли живой водой. Он подошел, сдернул с головы шапку, низко поклонился.

— Ты уж прости, бога ради, за невежество мое, отче! Нельзя мне было давеча по-иному молвить с тобой на подворье нашем. Людишек лишних было предовольно...

— Бог простит, — ответил спокойно Дионисий и, глядя в глаза привратника, спросил: — Еще што?

— А то, что ныне за полночь хозяин наш придет к тебе на подворье Милентия-кузнеца с поклоном и с делом, обоих вас касающимся.

— Передай, буду ждать.

— Передам. Еще раз прости, отче.

— Шествуй с богом.

Подворье Милентия-кузнеца располагалось в одной из посадских улиц, хотя понятие «улица» как в посаде, так и вообще в Мангазее с полным правом можно было считать условным. Если в крепости, где жила мангазейская «вершина», пусть и мало, но все-таки считались с порядком при возведении подворий, то на посаде их строили, вернее, сбивали и лепили буквально из чего придется и как придется. И уж, конечно, где вздумается хозяину этого так называемого дома.

Милентий же кузнец был отменный, да еще и искусный во многих ремеслах, поэтому и на подворье его все было устроено с добротной хозяйской рачительностью. В самом же доме, с хитросплетениями коридоров, больших и малых прирубов, не зная расположения их можно было и заблудиться.

Все это было придумано и на совесть сработано кузнецом не зря, так как давало ему возможность соорудить в доме и несколько тайных небольших, но весьма удобных помещений для отдыха, длительных дружеских бесед, а ежели придется, то и для надежной обороны. Были и тайные запасные выходы из этого подворья, сказочного видом, но надежно продуманного и построенного мангазейским чудо-мастером и великим задумщиком — Милентием.

И вот в одной из таких тайных комнат встретились вновь, как бывало когда-то на Москве, два больших государевых человека, два боярина:



Дмитрий Дмитриевич Белосельский, ныне инок Дионисий, и Михайло Игоревич Торутин — ныне торговый гость с Пинеги-реки прозванием Михайло Дударев. Человек он был заметный, умный, к новой жизненной ипостаси приспособился намного быстрее Дионисия. Если тот, спасая голову от плахи, уходил в новую для него жизнь лишившись всех своих нажитков и богатств, то Михайле удалось вывезти и надежно припрятать все, что было наиболее ценным в его доме и окрестных поместьях. Исчезнув на несколько лет из виду, по слухам, распущенным его приверженцами, он скрылся в иноземных краях, а на самом деле пребывал в одном из дальних монастырей, куда внес в свое время несколько крупных денежных вкладов. Объявился он немалое время спустя в Мангазее, уже в новом облике зажиточного пинежского купца.

В круговерти городской жизни, когда почти каждый день отсюда уходили и прибывали сюда новые люди: рыбаки, охотники, мореходцы государственной службы и те, что за свой страх и риск занимались приисканием новых земель, появление купца не прошло незамеченным.

— Грамоту дорожную и опасную воеводе казал?

— Казал.

— Што положено в казну и здешним служилым людям отдал?

— Отдал.

— Ну и иди себе с богом, торгуй, наживайся и для себя, и для мангазейской купечки и прочей славы.

В гостевой светлице у стола, покрытого добротной самотканой скатертью, стояли два человека, стояли молча покуда, как бы приглядываясь друг к другу. Замысловатый бронзовый светильник в виде чудесной сказочной птицы, испускающей пламя из клюва, чадил сладковатым дымком, отбрасывал желтовато-багровые отсветы на лица.

— Ну, здрав будь, боярин Дмитрий.

— Здрав буди, боярин Михайло.

— Обнимемся, друже?

— Господи, да како же иначе?

Они обнялись, облобызались трижды, всплакнули даже на радостях. Беседа их далее не потекла, как следовало ожидать, душевно и спокойно. Многие их понятия и идеалы жизни были беспощадно разрушены, утрачена суть их, как и ощущение собственной значимости. Разве можно было сравнить жизнь людей, приближенных к царю, с нынешним их угасанием в бесчестности и безвестии?

— Брат Дмитрий!

— Брат Михайло!

— Вишь, друже, и сказать нам ныне друг другу боле нечего. Все переговорено, переплакано. Я уж ныне ни о боярстве, ни о месте своем в жизни не печалюсь, едино честна горесть на сердце: оговорники-злодеи наши не дали честию и мечом Руси до конца послужить, како наши предки навсегда служили.

Произнеся это, Михайло горестно поник головою. Надолго в светлице воцарилось молчание. Вошел хозяин дома кузнец Милентий и вслед



за ним жена его Авдотья, статная, видная, быстроглазая, принесла с собой холмогорской росписи подносы с закусками, винами, медами, поставили на стол, поклонились достойно и ушли. Михайло на правах человека, часто бывавшего в этом доме, стал угощать Дионисия.

— И запьем, брате, чашу, как, бывало, на Москве-матушке пивали. Ноне нам едино в жизни есть — душу сохранить от бесчестия, в вере до конца дней своих еще более укрепиться, како каждому православному русскому человеку и надлежит быть...

— Тако, друже, тако... А теперь поведай, што слышно о делах наших, ибо, возможно, я вскорости град сей надолго оставлю.

— Слухов немало ноне средь мангазейских дворов вьется, но главный в том, что и тебе, и княгине Манефе с сыном учинен большой розыск. Вовремя вы сумели с городу уйти, а то по следу вашему коч был пущен со стрельцами во главе с думным дворянином. Ну а грамоты о вас и у здешнего воеводы есть, так што на виду вам шибко бывати не надобно...

— Ну, спаси бог за беспокойство твое, ты у нас в краях здешних едина надежа.

— Покуль жив, в любом малом и большом деле помогу неотступно.

— Спаси бог! Выпьем?

— Выпьем, друже.

Они осушили две большие чары с медом и вновь долго смотрели друг на друга затуманенными от слез глазами. Не могли от волнения начать нужный разговор.

Хозяин же, кузнец Милентий, тут же воспользовался этим, принялся подносить новые яства и вина в кувшинах, хотя други-товарищи не притронулись ни к тому, ни к другому. Вздыхали часто, старались как могли приуменьшить горечь воспоминаний о минувшей жизни.

— Слово дайте молвить, отцы мои почтенные, — неожиданно вступил в беседу Милентий. — Всех дел ваших не ведаю, но об одном, што меня заботит более других, сказать хочу не откладывая: отцу Дионисию в Мангазею являться надобно тайно и только в ночную пору, не иначе.

— Бог сохранит, — перекрестился Дионисий.

— Бог Богом, — как бы в раздумье произнес Михайло Дударев, — а поостерчься тебе, отче, верно, не мешало бы... Я на обратный путь провожатых тебе дам до лесных краев, — наконец проговорил Михайло. — А в другой раз в град Мангазейский в одиночку штоб ни ногой, прощу тебя, отче.

— Ладно, ладно, охранители, оберегатели мои, — взгляд Дионисия потеплел в благодарной улыбке, — все сотворю как сказано, по-вашему. Вам же особый низкий поклон от игуменьи Марфы за благорасположение к делам обители нашей, за то, што щедро столь одариваете ее заботой сердечной и дарами разными.

Михайло и Милентий после слов этих встали, поклонились достойно, помолчали время малое, и лишь тогда Михайло проговорил:

— Обители этой, как видится мне, многие лета стоять и крепнуть. И пусть она наипервейшей станет в пределах югорских — так, нет, други?

Дионисий и Милентий молча склонили головы.

Крутогорбая отмель посада, окаймленная россыпями мельчайшей желто-коричневой гальки, была едва ли не самым бойким местом Мангазеи. Здесь стоянка судов: кочей, казачьих стругов, только что пришедших в Мангазею и тех, кому предстоял еще страдный путь на Енисей, Лену и в вовсе неизвестные полуночные края.

Здесь и торг: шалаши, лачуги, а то и добротные сбитые лавки российских и иноземных купцов. Рядом же, как говаривали в Мангазее, «самоёдское торжище». Купцы-самоеды, селькупы, остяки разложили на траве рыбу — свежую, соленую, вяленую, задымленные олени и медвежьи бока, остроги, крючья и ножи из моржовой кости с затейливыми насечками и рисунками. Место тут людное, шумное, буйное, горластое, взрывающееся порой бранью, криками, а то и пальбой из пищали. Люди здесь, как волны в ветер, колышутся из стороны в сторону, удивляют мельканием, буйством красок, переливистым многоголосьем, а то и залихватскими песнями подвыпивших купцов и покупателей.

Здесь же среди других судов и два добротных груженных струга Игнатия. Уложено все порядком, место к месту: гвозди, скобы, топоры, пилы, инструмент подручный в мешках, от людей недобрых в случае чего защита. Тут же Дионисий и Игнатий и трое его молодцов, да три же монашки из молодых, те, что согласились Богу служить в обители новой под рукой игуменьи Марфы.

Еще раз окинув взглядом стоящие неподалеку струги и уже расположившихся там монахинь, Игнатий перекинулся несколькими словами со своими помощниками и лишь потом обратился к Дионисию:

— Все к делу спроворено. Отче, благослови в дорогу.

— С богом! Молодцы-то твои с нами?

— Да, помогут поначалу в обители, а уж потом вместе в град сей возвратимся.

Разговаривая, они направились было к стругам, но тут Игнатий почувствовал, что его кто-то крепко ухватил за рукав.

— Ох и торопкий ты есть! А ты повремени, повремени, — услышал он чей-то недобро звучащий голос и, повернувшись, почти лицом к лицу столкнулся с чуть полноватым, но крепким парнем в серой поддевке.

Ба, да это ж известный всей Мангазее первый воеводский служака, старший стражник — Федот Курбатов! Тот, что уже пытался недавно взять Игнатия у ворот. Федот тем временем, выпустив рукав Игнатия, картинно подбоченился, другой же рукой поигрывал концом своего кушака перед лицом Игнатия. Тот понял, что это был вызов и жест, означающий сейчас почти что безраздельную власть и над ним, и над всеми его спутниками. И это было близко к правде. Более десятка стражников в таких же



серых кафтанах, как и их старший, стояли неподалеку, на гребне отмели. Стоило ему крикнуть, и они тут же схватили бы товарищей Игнатия и его самого... Что делать? Положение казалось безвыходным. Самые отчаянные мысли возникали в голове у Игнатия и тут же отменялись им.

— Вот и погибель близка твоя, гилевщик проклятуций. Чего воззрился, аль не так сие?

— Так, так, про погибель ты молвил верно, — спокойно согласился Игнатий, — только вот чья она будет, моя аль твоя, тут подумать надобно...

— Это как же понимать?

— А вот эдак. Ты со своими псами еще не сподобился ухватить меня для пыток и казни, а я тебя в миг единый на тот свет спроважу. — Игнатий приоткрыл полу поддевки, и теперь можно было видеть за поясом его две ручные, иноземного дела пищали. — Вот и считай теперь... Ну крикнешь ты своим, ну ринутся они, яко псы голодные, на меня, но я-то ранее их сумею из пищали тебя побить... Меня, конечно, схватят, но ты к тому времени... вернее, душонка подлая твоя в аду уже будет...

По лицу стражника можно было понять, какие мысли обуревают его сейчас: «Вот он рядом, считай в руках самых, и ухватить не можно... А может, рискнуть?..» Он быстро, будто ненароком, глянул на Игнатия, лицо его яростно исказилось. Но Игнатий, спокойно улыбаясь, положил ладони на рукоятку пищали.

— Подумай, слуга воеводской. Бою тому я научен издавна.

— Пропади ты пропадом, проклятый! — выдавил сквозь зубы стражник.

— А дале к стругам пожалуй, — насмешливо проговорил Игнатий, — я со товарищами тебя не обижу, даже награда будет тебе.

В суতোлке и пестроте торжища сцена эта прошла незамеченной, мало ли что бывает... Встретились два человека, направились к стругам, вот и весь сказ... Да и струги эти отошли малозаметно. С утра до вечера судов здесь всяческих десятки перебывает.

День погожий, ветер попутный — чего еще надобно дорожному человеку? Распустили паруса, струги тут же набрали ход. Заворковала, забурилась вода у кормы, а берега будто поплыли в стороны и вдаль, то смыкаясь почти, то расходясь широкими плесами, чешуйчатыми серебристыми мелями, лесистыми островками-кораблями. Встречные суда или плоты тут редкость. Ну а чтобы обогнал кто — такого здесь отродясь не бывало. По берегам, куда ни глянь, непролазная чащоба: заросли камыша да круто заплетенные игривой весенней волной мохнатые плети ивняка, дичь, безлюдье...

И все же через несколько дней после того, как здесь прошли вверх по течению струги Игнатия, можно было увидеть на берегу человека, с трудом идущего через заросли кустов и россыпи камней. Хотя он был добротен и в меру одет, он успел местами разорвать свое одеянье и вымазаться в смоле и саже. Приглядевшись, любой мангазеец тут же узнал



бы в нем старшину городской стражи — Федота Курбатова, которого увез недавно вверх по Тазу наиглавнейший мангазейский буян и гилевщик Игнатий Воротынской.

В данный момент на лице Курбатова кроме крайней усталости отражалось безразличие, что свойственно людям, которые за короткий срок пережили злость, отчаяние и безвыходность. Как результат — полная душевная опустошенность. Если бы рядом присутствовал сейчас человек, наделенный возможностью читать мысли других, то он с удивлением отметил бы, что мангазейский стражник в злочлечениях, случившихся с ним, прежде всего винит себя.

«А ведь друзья и знакомцы издавна тебя разумным чтили, сам воевода не единожды одарял, да и к делам тайным, бывало, ставил. А тут промашка столь глупая вышла. Не сумел гилевщика заглавного — Игнашку ухватить. Опоил будто тот зельем каким, в миг единый опутал. И вот теперь плетись, как душа заблудшая, добирайся в Мангазею-град на посмешище людям добрым, а самое главное, о чем и помыслить страшно, на разбор-расправу к воеводе за глупость и недомыслие свое...»

Ах, гилевщик, распрезлодей Игнашка! Слова-то какие молвил, в путь обратный отправляя, с подковыркой разбойной: “Ты, слуга воеводской, ноне в обиде не будешь. На-ка вот, держи. — И сунул за пазуху продолговатую, тяжело ощутимую кису с позвякивающими монетами. — Возвернешься в град, не говори о том, што мы вверх по Тазу отправились. А у меня людишки верные и на воеводском подворье есть. Все едино о словах твоих ведомо мне будет. О сем подумай. А зла я тебе не желаю. Служба твоя, всякому ведомо, хуже собачьей!”»

Шагал, спотыкаясь часто, мангазейской городской стражи старшина Федот Курбатов, и сердце его до краев было переполнено горестью и унижением, которых не выскажешь, не доверишь никому, ибо горести человека малого — кому они нужны ноне на свете?

Глава 8

Среди мангазейских торговых гостей Сысой Мясоедов считался одним из первых. В облике его не было ничего примечательного: незаметен, неказист, преклонных годов; не молчун, но и лишнего никому не скажет, с людьми приветлив, какого бы звания они ни были. Не было в нем и пресловутой купеческой хватки: надо не надо, а барыш коли чуешь — хватай поболее. Дела он вел широко, вроде бы они все на виду были, хотя на самом деле об истинном лице Сысои Мясоедова в городе знали два-три человека.

Так уж, видно, решила судьба, что одним из них был не кто иной, как набольший мангазейский гилевщик дворянский сын Игнатий Воротынской. Пожалуй, только он мог вот так нежданно-негаданно, как лучший из подворотни, явиться в этот миг перед Сысоем Мясоедовым, когда тот благодушествовал один за огромным столом, щедро уставленным разнообразными питиями и яствами.



— Свят, свят, свят, — закрестился купец, увидев Игнатия, — да рази ж можно, разбойная ты душа, так вот людей добрых пугать?

Игнатий при этих словах рассмеялся, но как-то с подковыркой, ехидно даже, и это крайне не понравилось купцу.

— С чего это возвеселился ты столь, аль не дело молвил я?

— Это ты добрый человек? — продолжая все так же посмеиваться, спросил Игнатий.

— Ну, я...

— Гореть тебе, Сысой, в аду на большой сковороде за такую доброту...

Слова эти, как видно, крайне задели купца. Он вскинулся, покраснел.

— Я те не Сысой, а Сысой Нилыч, меня, бывало, тако сам воевода мангазейский величал.

— И воеводе на той сковороде место приготовлено — одного вы с ним поля ягода.

— Вон оно што! Да ты кто есть таков? Гилевщик, вор, смутьян, голова твоя за Разбойным приказом в Москве записана, по всей державе российской в розыске состоишь, да стоит мне кой-кому словцо шепнуть...

Опять засмеялся Игнатий, подошел к столу, уселся поудобней, налил и выпил залпом большую стопку меду.

— Пес ты, пес, Сысойка! Пустое брехать стал, ранее такого за тобой вроде бы не водилось. Я ежели и беру што-то, только у таких, как ты, и тебе подобных набольших злодеев, беру открыто: силой молодецкой, сабелькой честной. А из люда серого ни едина душа от меня не победовала, ты же, пес, — Сысой при этих словах вскинулся было, но Игнатий продолжал неотступно, — ты же, пес, грабишь всех подряд без разбору: правого, виноватого, богатого, бедного — и еще смеешь грозить мне... Слово еще сбрхнешь — и твои хоромы воровские, все лабазы, затынки и в городе, и окрест — на дым-пламень пойдут, хошь?

— Да Игнатушка, да соколик, да господь с тобой, — заюлил купец, — да рази ж я могу што супротив тебя, прости Христа ради, он всем прощал — нам велел!..

Игнатий вскочил, бросился к купцу, схватил за грудки, затряс так, что посыпались пуговицы кафтана.

— Не смей имя Господа всуе повторять, творения свои мерзки сим именем светлым прикрывая. Таки, как ты, самого Иуды хуже, ложью по самое горло напитавшись...

— Игнатушка, Игнатушка, — уже хрипел побелевший от страха купец, — смилуйся, николе боле не дерзну на такое!

Игнатий легко отшвырнул купца, и тот, как куль муки, ткнулся в стену. Немного погодя Игнатий уже без особой злобы окликнул его:

— Сядь за стол, облик людской прими, слушай: я отныне досмотр за тобой учиню, здесь, в Мангазее, аль на море, аль еще где наш люд гилевой все равно за тобой приглядывать будет да слушать, не болтаешь ли лишнего чего, а во всем остальном наш прежний сговор в силе.

Купец уже очухался, закивал головой.

— Теперь вот...

Игнатий достал из висящей у него на ремне кожаной сумки с серебряными заклепками небольшой сверток. Когда развернул полотняную тряпицу, то у купца тут же дыхание едва не перехватило. Такого узорочья давно не зрил купец Мясоедов.

— Остынь малость, — усмехнулся Игнатий, — вона лицом, лицом-то аж вспыхнул весь... Сие узорочье люди добрые на обитель собрали. Вели-ка позвать меняю Абрамса.

— Игнашенька! — заерзал на лавке купец. — Зачем тебе меняла, пошто тебе вручать ему такую благодать? В чем нужда, кака потреба у тебя? Все без денег предоставляю, а узорочье припрядь покуль аль мне на сохранение препоручи...

Известный мангазейский меняла, толмач и лекарь, крещеный еврей Абрамс не замедлил явиться. Достав толстое увеличительное стекло, он долго рассматривал разложенные на тряпице предметы, потом спросил, глянув на Игнатия:

— Ходу* нет за ними?

— Нет, на обитель люди пожертвовали.

— Тебе верю, но придется идти ко мне в дом, таких денег у меня с собой нет.

— Ты уж, Абрамс, смотри, — будто бы с заботой, строго даже, вступил в разговор Сысой, — штоб не в обиде гость мой был.

— За все время жизни в городе, — сказал Абрамс, — на меня никто не обижался, я даю цену настоящую, и это тебе хорошо известно.

И действительно, цена, предложенная Абрамсом, не только удовлетворила, а даже удивила Игнатия. Мало того, Абрамс сам предложил ему:

— Хочешь, я заплачу тебе корабленниками?*** По словам побывавших в Мангазее уважаемых больших негоциантов, это сейчас самые весомые монеты в мире...

Когда они закончили в доме Абрамса все расчеты и уже прощались, Игнатий спросил:

— И все же скажи, Абрамс, ты всегда такой добрый или я чего-то не понял?

— Меняла не может быть добрым, он должен быть справедливым, брать за свою работу положенную плату, и тогда люди всегда будут идти к нему. А сегодня если я и прибавил тебе кое-што в цену, то от себя. Ты же сказал: деньги на обитель, для Бога значит, а я искренно поверил в Иисуса! Ты думаешь, легко было менять веру, я думал об этом не год, не два, а многие годы. Меня отговаривали, просили, били не раз, потом проклинали, как похоронили вроде, но я стоял на своем, мучился, голодал неделями, истязал себя и все ж нашел в себе силы и свершил желаемое —

* Ходу — здесь: воровского следа.

** Корабленник (корабельник) — золотая монета с изображением корабля, вплоть до XVI в. чеканившаяся в разных государствах Западной Европы в подражание английскому золотому ноблю.



принял православную веру, ибо она справедливей, светлей и выше любой другой веры.

Горячность и взволнованность Абрамса, когда он произносил эти слова, так подействовали на Игнатия, что он растерянно и неловко простился и заспешил на посад к Милентию.

За все это время Игнатий и Абрамс, обговаривающие, а потом и производящие столь важное для них дело обмена ценностей, собранных на постройку островной обители, как-то не обращали внимания на присутствующего здесь же Сысою, а между тем им нужно было бы и этим заняться. Как ни старался держать себя в руках мангазейский купец, его едва что не корежило от переполнявшего желания, да что там желания — дикого, необузданного взрыва страсти, охватившего и подчинившего себе всю его натуру: взять, отнять, отбить боем рассыпанное на старой тряпиче богатство, все это пронизанное колдовскими отсветами и солнечными искрами узорочье и россыпь иноземных золотых монет. Это желание выворачивало наизнанку всю его душу.

Совсем малое время после ухода Игнатия и Абрамса пробыл дома купец. Прикидывая, отбрасывая и вновь лихорадочно перебирая в уме способы, которые помогли бы ему овладеть только что виденным богатством, он немедля накинуд на плечи полушубок и, постоянно оглядываясь по сторонам, заспешил на окраину посада, где в землянках ютились его особо доверенные приказчики.

Неизвестно, с кем и о чем он там говорил, но уже через полчаса можно было видеть Мясоедова, пробирающегося среди землянок и лачуг посада в сопровождении двух рослых приказчиков.

К ночным тревогам, крикам и даже к пицальной стрельбе в Мангазее давно привыкли. Но в этот день поутру случилось, видно, что-то из ряда вон выходящее: уж больно рано наполнились народом, оживленным разговорами, а то и ожесточенными спорами, городские улицы, причем везде звучало имя Абрамса и постоянно повторяемые слова: «Завалинку и окно выломали, воевода со стрельцами в доме менялы разборы ведет...»

Сам Абрамс с перевязанной грудью, бледный до неузнаваемости, лежал на широкой аккуратной постели и с трудом, морщась от боли, отвечал на вопросы воеводы Домашина.

— ...Да николи такого ранее не бывало. Сторожевые мужики у меня добрые: из стрельцов старых, народ уважительный, верный. Злодеев, што попытались ломиться ко мне, отбили достойно...

Состояние Абрамса, видно, не очень-то волновало воеводу, ему хотелось узнать другое.

— Пошто злодеи ночные столь бесстрашно и нагло ломились, ай богатства какие особы появились на мену у тебя?

— Да ни с какими богатствами особыми на мену ко мне уже давно не обращались, чего этих дурней по ночи понесло — понять не могу! — прямо, а главное, смело глядя в глаза воеводе, отвечал Абрамс.



— Ну-ну... — явно недоверчиво протянул воевода. — Темно дело сие, ох темно... Покопаемся, поузнаем, пошто и кто на таку отвагу разбойну решился... Лежи-полеживай, поправки тебе доброй, — кивнул он на прощание Абрамсу.

Поздно вечером с соболезнаваниями и расспросами к городскому меняле явился Игнатий, да не один на этот раз, а с молодцами добрыми. Прямо с порога заявил:

— Много выпытывать не буду, одно спрошу: лица-то ты их зрил ли, ну этих, што ломились к тебе? Како, по-твоему, не воеводские ли прихлебники?

— Лиц не зрил. В огневой кутерьме, што учинили они, не до этого было. А што касаемо воеводских — на них не похоже.

— А купец Мясоедов?

— Нет, тот не дурак, так вот прямо не полезет, да и трусоват весьма.

Абрамс, неудобно повернувшись на постели, ахнул, схватился за грудь и, только помедлив и отдышавшись немного, спросил Игнатия:

— Ну, как твои содруги духовны — меной нашей довольны?

— Довольны, кланяются тебе за старание.

— Слава богу! — скромно произнес Абрамс. — Передай им, што и еще им радость вскоре будет. Днями в Мангазее должны появиться кочи вновь прибывающего сюда воеводы. Там и мне с верными людьми посылка добра есть. Должно там быть все необходимое для проведения службы в храме, и особенно ценные — византийской работы семисвечник, дикирий и трикирий*. Пригодятся в новой обители...

— Еще раз низкий поклон за заботы благородны, поправки тебе наискорейшей.

— Слава господу! — склонил голову на грудь Абрамс.

Как выходило из всей вышеприведенной истории, лучше всех на день сегодняшний чувствовал себя Сысой Мясоедов. И недаром он вскоре пригласил на хлеб-соль купца Михайлу Дударева, которого это предложение не только удивило, но и насторожило. Он хорошо знал, что представляет собой Мясоедов, как и то, что он никогда и ничего не делает без личной выгоды. Конечно, они и раньше по многу раз встречались, говорили на ходу, обменивались торговыми и прочими новостями, но общих интересов у столь различных по характеру и взглядам людей не было да и не могло быть.

«Зачем я понадобился ему, да и вообще, о чем можно беседу вести с таким человеком?» — думал Дударев, подходя к мясоедовскому подворью, крикливому, громоздкому и неуклюжему, где многое казалось лишним и неприятным для глаз.

Это ощущение не покидало Дударева и в те минуты, когда слуги вели его по многочисленным переходам, минуя боковые покои, а затем рас-

* *Дикий, трикий* — соотв. двухсвечник и трехсвечник.



пахнули двери в гостиную светлицу. Огромный стол был уставлен малыми и большими блюдами и подносами с закусками, сулеями, кувшинами и бутылками с русскими и иноземными винами, пивом, брагой, медом и квасом.

— Да, гостенек мой, гостенек дражайший, ай спасибо, што не побрезговал нашим убожеством, — соловьем разливался, слащаво улыбаясь, Мясоедов.

Фальшь, которая звучала в каждом слове этого человека, неприятно задела Дударева, но он сдержался, улыбнулся, натянуто поблагодарил.

Соблюдая гостевой чин, Мясоедов выпил за здоровье гостя и тут же, будто вспомнив, о чем говорил в начале встречи, продолжил:

— Вот уж никак не думал, што соблаговолишь побывать у меня, да еще за столом гостевым...

— Это почему же? — стараясь, чтобы вопрос его прозвучал как можно спокойнее, спросил Дударев.

— Почему, почему...

Лицо Мясоедова являло сейчас саму невинность, но можно было догадаться, что за этим он скрывает что-то весьма значительное и оно готово вот-вот сорваться с его губ. Мясоедов чуть помедлил, словно собираясь с духом, глаза его засветились торжеством, и отдельно, подчеркивая каждое слово, он сказал:

— Ты-то ранее в боярском звании своем, поди, и не за такими столами сиживал, а мой стол тебе в унижение да в потерю есть...

К удивлению Мясоедова, Дударев воспринял эти слова спокойно и даже с усмешкой.

— Ну, вижу, постарался ты, раскопал, узнал обо мне кое-што, и што же из этого следует?

В голосе Дударева не звучало ни тревоги, ни волнения самого малого, и это вдруг озадачило и даже насторожило Мясоедова, и он неожиданно со злом выкрикнул:

— Гонор свой боярской да удаль прежнюю показать хошь? А што, ежели я сейчас вот к воеводе мангазейскому направлюсь: «Так, мол, и так, батюшка воевода, правишь ты нами, стараешься, а неведомо тебе, што в граде нашем, чужое имя присвоив, боярин опальный обретается...» Воевода тут, конечно, в сердцах ладонью об стол хлоп! Стрельцов к тебе, ан и в железах ты за запором крепким!

Вновь на лице Дударева не дрогнула ни одна черточка, наоборот, слова Сыся будто прибавили ему уверенности, и он, уже издевательски усмехаясь, спросил:

— Судьбинушку мою горькую ты описал весьма прелюбопытно, но я никак в толк не возьму, от меня ты што хочешь?

— Во! — оживился Сысой. — Это уже не боярский, а купеческий разговор, чего хочу, чего хочу... Ну, во-первых, со дня сегодняшнего с половины торговлишку свою поведешь: половина дохода — твоя, половину — мне...

— Ух ты! А не многовато ли будет?

— Чего, чего многовато? Говорю это во-первых, а еще ты должен мне будешь...

— Ну хватит! — Дударев рывком поднялся из-за стола, и лицо его полыхнуло гневом. — А и верно о тебе сказывали недавно в светлице сей и за столом этим, што пес ты преподлый, Сысойка!

Лицо Сыся мгновенно стало дряблым, пошло пятнами, и он, уже спотыкаясь на каждом слове, едва вымолвил:

— Како сие в светлице этой да за этим же столом? Никто мне слов таких здесь не говаривал...

— Неужто? А с гилевщиком наипервейшим кто здесь наемни меды-вина распивал? А кто такожды наемни гостю иноземному Симону Грандини соболей боле сотни продал, а соболя-то, между прочим, за государевым оброком значатся... Да коли я начну в час сей все твои злодеяния упоминать, то мне и ночи не хватит! Ну, — глядя презрительно, как на что-то непотребное, спросил Дударев, — так кому надобно к воеводе идти?

— А-а-а! — как помешанный, завыл и замотал головой Сысой. — Да што же это такое, господи боже мой! Опять на меня напасти сыплются! Ну виноват я, виноват — мой грех, так ведь повинную голову и топор не всякий сечет! До скончания века в должниках у тебя буду, не губи только, — протягивая руки к Дудареву, совсем по-собачьи заскулил Сысой.

Дударев отвернулся, плюнул в сердцах, направляясь к двери, но тут ему дорогу переступил Игнатий Воротынской в сопровождении двух здоровенных гилевщиков, почему-то радостно разулыбавшихся при виде Сыся.

Все сняли шапки, а Игнатий, тоже улыбаясь, но мрачновато, уважительно обратился к Дудареву, будто он, а не Сысой был хозяином этого дома.

— Ты уж прости нас, што мы так вот бесчинно, не спросясь врываемся, беседу вашу с этим упырем прерывая. Дельце у нас к нему есть скороспелое, и уж коли ты здесь очутился, то милости просим побыть, послушать. Дельце то стоит того...

Все это время, пока говорил Игнатий, Сысой молчал, но это молчание стоило ему многого. Он весь трясся, будто в лихорадке, сжимая и разжимая пальцы, и вдруг, вытянув руку с трясущимися пальцами и указывая на Игнатия, истошно выкрикнул:

— Дьявол, дьявол ты! Опять явился душу мне терзать!

— Э, нет, ты мне это название не давай, это твое, твое имечко! Ты знаешь, — обратился Игнатий к Дудареву, — кое дельце за упырем сим водится? Это ведь он с двумя приказчиками своими ночью в дом Абрамса ломился, в жадности дьяволовой своей намереваясь узорочье и монеты разны забрать, кои православны люди на построение обители святой собирали.

— Да неужто? — изменившись лицом, испуганно переспросил Дударев. — Человек русский, крещеный — и деяние тако? Господи!..



— Содельники его по разбою, — указывая на Сысою, продолжал Игнатий, — наказаны как надобно: на посадском стане высекли их ба-тожьем на снегу в чем мать родила и, кресты нательные сорвав, так же вот нагишом и босыми в бега отпустили. А ну, — сказал угрюмо Игнатий пришедшим с ним гилевщикам, — теперича вы тут постарайтесь-ка во славу Божью!

— Не сметь, не сметь! — отчаянно завопил Сысой. — Я званья купеческого, меня на Москве люди большие знают!

— А, не простой злодей, а вблизи заслуг великих пристоящий? — презрительно протянул Игнатий. — А ну, сымай крест!

— Не посмеешь, я истый есть христианин-богомолец! — вновь возопил Сысой.

— Не был ты им никогда. Продад деяния веры великой православной, в грабительство святынь пуцайся!.. С богом, молодцы! Потрудитесь на деле правом, — обратился к гилевщикам Игнатий и, сорвав крест с Сысою, ударил ногой в широко распахнувшуюся дверь светлицы.

В этот вечер так никто и не заступился за Сысою. Несмотря на то что народу на улицах было предостаточно, вопли и крики о помощи оставались безответными. И пришлось ему испытать то, что испытали его приказчики — содельники по грабежу: голым и босым бежал Сысой по мангазейским улицам под издевательский хохот, свист и улюлюканье толпы.

Глава 9

Бухта Благополучия на Соловецких островах в Белом море была известна еще в начале XV века, когда местные монахи Зосима и Савватий основали здесь обитель. Акт этот поначалу не привлек особого внимания, но весомость и значение православия, все громче заявляющего о себе, подсказали необходимость возведения здесь монастыря, могущего стать со временем не только центром, но и исходным пунктом для столь необходимого продвижения идей православия на восток и Крайний Север, именуемый пока стороной югорской, полной мглы, страхов и безверия.

Надо сказать, что раньше о сооружении такой обители, как Соловецкий монастырь, не могло быть и речи, так как не было умельца-строителя, дерзнувшего бы на такое дело. Но вот, к счастью, именно такой человек отыскался среди русских мастеров, именуемый в грамотах и прочих присущих к сему делу бумагах розмыслом Трифоном, чья более чем успешная деятельность, особенно в 1584—1594 годах, заложила основу будущего Соловецкого ставропигиального монастыря.

Крайне медленное сооружение его, являясь во многом недостатком, в то же время содействовало внедрению новых методов строительства подобных монастырей крепостного типа. Обладая талантом истинного зодчего, Трифон как бы уже видел в будущем мощные 9—10-метровые

стены, толщиной не менее 4—6 метров, видел семь ворот и восемь стрельчатых башен. То есть все то, что вскоре стало явью и заставило говорить о себе многих иноземных купцов — приискателей новых земель и различных выгладчиков новых приобретений, появившихся на окраинах русского Беломорья.

Соловецкая обитель долгие годы была образцом для возводителей храмов, особенно в отдаленных, а то и вовсе диких местах не только на Руси, но и за ее пределами. Но вот пришло, потом стало все чаще заявлять о себе беспощадное время, смело вступившее в бой с ходами и вереницами тайных келий и боковых сходов-провалов, ведущих, как оказалось, в так называемый «этаж молчания» — секретное помещение, созданное по приказу из Москвы уже умирающим главным розмыслом Соловецкой обители, великим мастером Трифоном Пятиглавым. Так величали его к тому времени за великие знания и ум все окружающие его люди.

Все трудней становилась жизнь строителей-ремонтников подземелий Соловецкой обители. Рушились и воссоздавались, уже с другими входами и выходами, кельи, и постепенно в подземной многокелейной путанице потерялся бывший стройный порядок, хотя хозяевами здесь по-прежнему оставались монахи-схимники, взявшие под свою руку все управление и вообще все дела подземной обители.

Каждый очередной глава Соловецкого монастыря, архимандрит, назначаемый царем и патриархом, начинал свое правление с попытки приручить как-то или припугнуть схимников. Но все эти попытки кончались для архимандритов плачевно, ибо у схимников тех были среди прочих грамотнейшие по тем временам люди, кои время от времени выходили из подземных своих келий и, объявив среди монастырской братии «вселенское поругание», обрушивались на архимандрита и все остальное местное монастырское начальство, кое бледнело, краснело, но терпело.

Всем было известно, что за личности скрывались порой за личиной схимников, начиная с особ царской фамилии и прочих не менее значимых на Руси людей. Обо всем этом хорошо знали и в Москве, так как доносчиков в монастыре хватало. Но от вестей соловецких, как правило, отмахивались: «Ничего, им, отцам святым, свары не впервой, у них лбы-то поразбивают перед успокоением вечным!»

Расскажем здесь об одном событии из соловецкой жизни того времени, случившемся как раз в пору очередного «вселенского поругания».

Стенные дневные и особо ночные сторожевые монахи, каждый как на подбор — косяя сажень в плечах, неся службу, нет-нет да и озирались пугливо, обходя прибрежные каменистые тропинки у самой воды, где в любую минуту могли появиться «схимниковы слуги» — служители страшных соловецких подземелий. Встреч с ними как могли избегали все прочие монастырские люди, а буде происходило такое, сдергивали с голов шапчонки и колпаки, отходили в сторону, опустив долу глаза...



И все же — будто нарочно — одна из таких встреч произошла у плоского песчаного мыса, где собирались самые искусные рыбаки из окрестных деревень, они же — изготовители знаменитых в свое время соловецких «бегучих стругов», поставлявшихся верхнему соловецкому начальству.

Мастера как раз принаравливались, как половчей да побыстрей спустить на воду очередной красавец струг, как вдруг из-за ближайшей россыпи бурых камней показался запыхавшийся парень, рыбак из местных умельцев. Он был крайне взволнован, кричал что-то, на ходу размахивая руками, а приблизившись, даже споткнулся и едва не ударился головой о готовый к спуску струг...

Старшина рыбаков — редких могучих статей старик Егорий, недовольно хмыкнув, как пушинку вознес парня над головой, встряхнул порядком, поставил перед собой, велел:

— А ну, пошто снуешься яко треска в поеме*, излагай, в чем испуг твой?

— Испугаешься тут! — едва не вздрагивая на каждом слове, зачистил парень. — Я в поспехах к вам суетился, отче, — он склонился уважительно перед стариком, — гляжу — Господь всемилостивый! — камень куда как велик, а яко живой, вздрогнув, откатился к воде, и ход открылся, издревле слаженный...

— Схимники, — тут же догадался старик. — Много их?

— Ох, счесть-то их не осмелился, в черных куколях своих с золотистой оторочкой по краям како по воздуху плывут...

— Ну, — старик недовольно оттолкнул юношу, — несуразное несешь, парень, с перепугу! Здесь скоро будут?

— Да вот, вот они! — выкрикнул парень, то ли крестясь, то ли отмахиваясь от показавшихся из-за камней идущих парами схимников.

Все, что происходило потом, было необъяснимо. Четверо схимников, не открывая лиц, подошли к готовому к спуску стругу, уложили в него свернутый парус, весла, опорные крюки и клячи**, пару мешков с сухарями и два бочонка-лагушка с пресной водой. Затем, подхватив за борта струг, спустили его на воду и споро, сразу видно, что не впервой, стали готовить его к предстоящему плаванию.

Все это время ни схимники, ни судодельцы-рыбаки не произнесли ни слова. Рыбаки, собравшись в кружок, ждали своей участи, стоя на коленях, низко опустив головы, как издревле полагалось и как велось в общении с «глухими», или «безответными», схимниками.

Схимники же все так же молча закончили снаряжение струга, погрузили в него четверых своих товарищей, отправив их, как видно, в дальнюю дорогу, и спокойно направились по берегу обратно к входу в монастырское подземелье. И только один из них, чуть помедлив, подошел к

* Поём — боковой карман рыболовной сети.

** Клячи — якоря.

рыбарям и, вытащив из-за пазухи расшитый узорами кожаный кошель, протянул его старшине Егорию:

— Прими, Егорий, за труд ваш честной и за струг добрый, што мы ноне приобрели у вас для дел богоугодных. Здесь корабленники — аглицкие золотые, в обиде не будете, разделишь честно меж всеми, како и делал всегда в жизни твоей.

Егорий с трудом удержал кошель в пальцах и, не зная, как высказать благодарность, вовсе застеснявшись, спросил:

— За кого же нам молиться за дар столь щедрый?

— Вечная единая наша молитва за веру православную и Господа Бога нашего Иисуса Христа.

Егорий хотел сказать: аминь, но, когда поднял голову, схимник уже скрылся за камнями.

Для того чтобы полностью уяснить суть только что произошедшей сцены, необходимо последовать за тем схимником, который, передав старшине Егорию кошель с золотыми монетами, уже шагал по подземному ходу, скупо освещенному масляными светильниками у каждого поворота. В гниlostном, застоявшемся воздухе было трудно дышать. Схимник ускорил шаги, все чаще размахивая рукой у самого лица, пока не почувствовал ток свежего морского воздуха.

Коридор привел его в просторную округлую пещеру с довольно высоким потолком и вереницей странно зауженных дверей, служивших входами в кельи особо почитаемых носителей схимы, а по сути, тайных правителей тайного же высшего монастырского совета «навсегда умолкнувших».

Также над этими дверьми можно было увидеть массивные дубовые доски с искусно вырезанными символами трипостасного Бога. В те времена этот символ — всевидящее око в треугольнике — являлся главным и обязательным украшением при строительстве католических и православных храмов, с ним была связана целая серия специальных торжественных служб.

Несколько минут схимник, появившийся в округлой пещере, молча молился, не поднимая головы, затем сильно встряхнул ею, верхняя часть капюшона опала на плечи. И уже не какой-нибудь истощенный молитвою старец, а крепкий, добротных статей молодец, шагнув на небольшую площадку из мраморных плит у центральной кельи, необычно смело для этих мест возгласил:

— Господа персоны высшего тайного монастырского совета, прибегаю к вашей милости и, низко кланяясь, снисхождения прошу за беспокойство, я инок Елизарий, верный служитель Бога, святой православной веры и ваш навеки слуга покорный! Оповещаю вас, што мной днями доставлена из града богоспасаемого Москвы грамота верхнему архимандриту обителя нашей Феоклисту. Сию грамоту я должен до заката солнца вручить ему, но перед тем тайно показав вам, господа персоны высшего тайного совета!



Елизарий выгтачил из-за пазухи грамоту, наклеенную для бережения на толстую кожу, поднял перед собой. Тут же как по команде двери келий дрогнули, заскрежетали на разные голоса, и фигуры в полуистлевших одеяниях с большими матерчатыми крестами, бормоча что-то неразборчивое издали, стали старательно протискиваться в непомерно узкие щели дверей, так и оставшихся полузакрытыми, что также являло собой одно из монастырских правил: схимнику везде в жизни земной тесно и трудно в мелочи любой, легко лишь в молитвах к Господу!

Вечные келейники, кто согнувшись, а кто едва не ползком, опираясь на костыли, прочитывали грамоту, затем грозили неизвестно кому костылями и кулаками и протискивались, задыхаясь и отплевываясь, назад в свои кельи.

Елизарию не впервой доводилось видеть картину подобного «прочтения». Он, доверенный доставщик тайных грамот, выросший и воспитанный на самых строгих монастырских правилах, всегда считал, что все, что делается здесь, правильно и ни в коем случае не подлежат обсуждению или, спаси господи, порицанию. Но постепенно постоянное напряжение, опасения сказать или сделать что-нибудь не так привели его к мысли, что все его нынешнее существование похоже на путь, проложенный у самой кромки пропасти, и он может в любую минуту сорваться туда и закончить свою бесталанную жизнь.

Надобно сказать, что едва так не случилось, когда Елизарий задержался с доставкой одной из тайных грамот, и голова его чудом удержалась на плечах. Недаром глава тайного совета схимников Симеон, которого все в Соловецкой обители боялись больше, чем назначенного Москвой архимандрита Феоклиста, сказал тогда Елизарию:

— Разум у тебя в полном достатке и понимать должен, што таки промашки тебе не к лицу и могут быть у тебя только один раз! Помни это и николи не забывай!

«Забудешь тут», — вздрагивая малое время спустя, прошептал Елизарий, все еще не разгибаясь после низкого покорного монастырского поклона, каким он проводил главу тайного совета.

И вот сейчас, уже оставшись один в круглой пещере с узкими дверями, Елизарий провел ладонью по лицу, как бы мысленно смывая этим тяжелые для души воспоминания, встал, отряхивая кафтан, готовясь в предстоящую ему дорогу.

Вдруг он неожиданно услышал звук опавшей неподалеку каменистой россыпи. «Показалось...» — первым делом подумал Елизарий. Но ведь здесь, рядом с местом «навсегда умолкнувших», никто, кроме него, не ходил, это он знал, это ему внушали с самого раннего детства, и иначе быть тут никак не должно. «Господь милостивый, — ощущая противную мелкую дрожь во всем теле, едва не выкрикнул вслух Елизарий, — что ж все это значит?» Он тут же намерился вслух прочесть молитву, но губы дрожали, а зубы явно против воли странно постукивали. Елизарий постоял, прислушался и только собрался продолжить путь, как увидел совсем

неподалеку на краю тропинки белокурого парнишку лет 10—11, в короткой куртке из козлиного меха, в таком же колпаке и сапогах-постолах.

Паренек был не к месту весел, вел себя вызывающе и явно хотел уж если не испугать, то основательно подразнить Елизария.

— Эй, ты! — кричал он. — А еще и одежду схимников нацепил, куды тебя несет, неведомку-незнайку! Смотрите, глядите на него, бестолкового. Заблудился, ведь заблудился ты, такой здоровенный телепень.

Елизарий, все еще не пришедший толком в себя от столь неожиданной встречи, не зная, как быть ему далее, говорить что, растерянно поводил головой из стороны в сторону. Парнишка торжествующе выхватил из кармана плоский, с ладонь, камень, тут же разломил его надвое и, приплясывая и вскрикивая от возбуждения: «Хошь голубенького, хошь?» — принялся тереть половинки камня друг о друга.

Сдержанно сыпануло на голову беловатыми острыми искрами, раз, еще раз, и вдруг в руках парнишки вспыхнуло колдовское, иначе не скажешь, многоцветье нигде и никогда не виданных, на глазах тающих радужных цветов-всполохов с синевато-золотистыми шипами. Все быстрее и быстрее они закрутились перед глазами Елизария и вдруг ринулись, с такой силой ударили, пронзили его грудь, что он потерял сознание, провалился в черную бархатистую бескрайность...

Кому ведомо, спал Елизарий далее или нет? А может, по словам того чудесного отрока с его голубыми стрелами, и верно, заблудился среди буйства вихревых видений, потерял едва что не с детства знакомую тропку у главной пещеры «навсегда умолкнувших»... И это он, он, главный монастырский знаток сухопутных дорог вокруг монастыря и окрест?!

Позор, позор, что скажут на это вдохновенные смотрители — начальствующие схимы? Как теперь ему жить далее? Постой-постой, а может, он уже Богу душу отдал на Его суд Господень и теперь бродит в заоблачных замогильных дебрях, не зная, куды голову преклонить? А ну, дай, Господи, смелости, хоть самой малой...

В эту минуту ему вдруг будто бы опять послышался голос чудесного отрока, и тогда Елизарий, ужасаясь и весь дрожа, медленно открыл глаза.

...Он лежал у небольшого костра на высохшей нерпичьей шкуре, в каменном прибрежном распадке, а почти рядом, у дорожного масляного светильника, и верно, расположился отрок, которого Елизарий только что видел во сне. Отрок неторопливо вычитывал вслух слова из лежавшей перед ним старинной рукописной книги с большими бронзовыми застежками.

«...А на восьмидесятый день, идучи двумя кочами по погодью, узрели мы со стороны правой мыс невысок, белопесчаный, с россыпями каменный зеленчатых, и воевода наш молвил: “Глядите и запоминайте, которые живы к порогу родному возвратятся, что были вы милостью Господней на грани земли российской, за которой дичь безверья и мрак существования — Югра немилостивая...”»



Отрок неожиданно оборвал чтение, перекрестился и, поняв, что Елизарий внимательно слушал его, спросил:

— Ну как, хватило разума, уяснил, о чем речь?

— Да уяснил уж, — недовольно отвечивал Елизарий, так как почувствовал в словах отрока некую насмешку, и, дивясь своей смелости, уже хмуро добавил: — Стародревнее писание это куды как знатного новгородского боярина Роговича, именем Гюрята. Я его читывал и уяснил с интересом великим еще в годы ранние, когда, будучи помоложе тебя, со старшими тако смело беседы не вел.

Слова Елизария ничуть не смутили отрока, мало того, он в ответ, совсем как взрослый человек, презрительно протянул:

— Ты старше меня летами, вижу, а в остальном всем я на две головы тебя повыше буду!

Елизарий удивился было, но тут же рассмеялся и, уже отринув страх недавний перед этим странным парнем и его колдовскими лучами-стрелами, назидательно проговорил:

— У нас, то есть мореходцев и рыбарей, похвальба праздна не в ходу, пустозвонами величают тех, кто без дела язык чешет!

Надо было видеть, какой румянец вспыхнул на щеках отрока и сколь уничтожающе он ну прямо-таки испепелил Елизария взглядом широко открытых глаз.

— И ты тако мне молвить решился? — дрожащим от гнева голосом воскликнул он. — Мне, носителю креста жемчужна! Да я тебя в беснование волн выброшу. Песком хлестучим дышать заставлю!

— Стой! — прозвучал в эту минуту чей-то хрипловатый, подрагивающий от волнения голос. — Это кто же тут упоминанье тако допускает, без смыслу и почтения должного, о кресте жемчужном? — И тут же из-за нагроможденных друг на друга каменных плит показался старшина рыбарей и челнодельцев Егорий.

Всегда сдержанный и немногословный, он не вышел, а выбежал к кромке пенных волн и, сразу поняв, кто виновник столь необычного здесь шума, схватил за плечо отрока, с силой пригнул его к земле.

— Ой, замолчи, замолчи, неразумный язык прикуси! Счастье твое, што годами ты еще юн, а то бы я тебя вервью челночной вдоволь попотчевал! А ежели слова сии до старца Симеона дойдут, тогда што сотворится?

Услышав имя Симеона, самого почитаемого, но и самого страшного в монастыре и для грешников, и для праведников «старшего из старших» схимников, отрок побледнел, бестолково замахал руками и бросился на колени перед Егорием.

— Деду, деду, прости, прости Христа ради! Любую испытю назначь за грех мой, но только не доводи до отца Симеона слов моих!..

— Испыту за грех? Ну что ж, будет тебе испытю, а сейчас изыди вон, к камням дальним, молись, покуль я не окликну тебя.

Отрок хотел сказать что-то, но губы его тряслись, и он бросился к камням, упал на песок, широко раскинув руки.

— Ай сколь пристрожил ты парня, — покачал головой Елизарий, — да еще испытю тяжкую ему посулил, стерпит ли он сие в годы свои?

— Ох, друже, ежели бы знал ты, сколь отрок этот за годы свои коротки терпел, ты б в изумление пришел, а ежели я добавлю, што ноне смерть неминучая за ним по следам ходит, изумлению твоему и вовсе конца не будет...

Елизарий долгим пронзительным взглядом посмотрел на рыбацкого старшину, будто бы захотел прочесть его мысли, далее, помедлив, проговорил:

— Монастырь есть монастырь, все здесь тайна, и хотя считается, што едина здесь у всех цель: Богу верней верному служить — службу ту каждый по-своему видит, особливо схимник. Слов нет, трижды достоин преклонения и почета человек, схиму принявший и отказавшийся от бытия житейского, но и он бывает не в силах отринуть в душе себялюбие да гордость. Вот, мол, я каков, достоин теперь едва што не с самим Господом Богом беседу вести, мир остальной добру и правилам жизни поучая.

— С чего ты от дел наших будничных да о столь великом разговор повел?

— А с того, што именно по наговорам и советам схимников таких пострадал столь достойный в краях наших человек, как воевода новгородской Аникей Пивашин. А теперь вот мы, просты люди монастырские, внука его спасти от гибели, ему грозящей, намерились...

— И этот внук — отрок сей? — догадался Елизарий, указывая на застывшего в молитве паренька у россыпи камней.

— Да, это внук воеводской Меgefий. Ранее, когда отец Симеон был благорасположен к паломникам и среди них к первому из них, князю Пивашину, он и князя самого и семью его приютил и скрыл надежно от царского гнева. Но как вышла между Симеоном и князем размолвка из-за внука сего, то настали для мальчика черные дни. Симеону, видите ли, явился во сне вестник небесный и предсказал, што Меgefий наделен с детских лет благодатью Господней и быть ему пророком православным, достойным владеть и нести в края югорские, дикие крест жемчужный и икону пешего Георгия Победоносца — реликвии византийских праведников, предназначенные для паломников. Сам же князь Пивашин видел своего внука лишь воином — воеводой, ратоборцем именитым и знатным. И тогда Симеон предрек ему и внуку гибель скорую и неминуемую...

— Ох, брате мой, — покачал головой Елизарий, — ты о таких деяниях наиважнейших разговор ведешь, кои по слову и месту вроде бы и близко нам не положены, откуль все это знаемо тебе?

— Откуда? Поведаю тебе о том. Есть дела монастырские, што равняют здесь нас с тобой. Ты — главный кормчий, проводник головной и старознатец дорог тайных у схимников верхних. Я такой же среди мелкого люда монастырского. И ты уж прости, отче Елизарий, скажу так не в обиду тебе: я ведь издавна у челнодельцев дела кормчие, дорожные постигал



в краях иноземных. По делам тем побывал там довольно, речь многу иноземну постиг, хотя о том мало кто ведает на монастырском подворье.

Елизарий, услышав такое, вновь покачал головой, подумал малость малую, поклонился уважительно старшине рыбацкому:

— За сказанное ко мне столь доверительно благодарствую сердечно и понимаю теперь, пошто ты меня на остров сей вывез, дело, видать, из самых важных, како предложить мне хочешь, так?

— Так, — ответно поклонился Егорий. — Давай-ка присаживайся поближе, костерок наладим, горяченьким да сытным душу согреем. Беседашка у нас, чую, ой длинна да трудна будет...

По тому, как к месту да споро ладилось все в руках Егория, можно было с уверенностью сказать, что он издавна человек дорожный, много знающий и любая нужная в дорожном деле мелочь никогда не пройдет мимо его внимания. Вроде и времени минуло всего ничего, а они, расположившись на набросанных вокруг костра нерпичьих шкурах, уже плотно поели тут же сваренной Егорием тресковой ухи с обилием лука, перца и чуть осязаемым, но необходимым для такого блюда привкусом легко клубящегося над костром дымка.

Отобедали, и Егорий после приличествующего важному разговору молчания речь повел, особо внимательно поглядывая на собеседника:

— Итак, брат мой во Христе, ежели по монастырским канонам судить, то я ноне намерение имею накликать тебя на дело, которо иначе как греховным не назовешь. Без покаяний должных, без спросу, без благословений старших и иных начальствующих решил я принять на плечи свои груз непосильный...

— Мудрено и витиевато для рыбаля излагаешь, — подивился Елизарий. — Ну прямо-таки яко мудрец знатной! Ты попроще да покороче реки саму суть...

— Чтоб уразуметь сие, надобно издалека речь вести, однако слушай. Довелось мне однажды... а вернее, Бог, не иначе, допустил меня на разговор один. Будь все по-другому, я, конечно бы, разговор сей стороной обошел, но речь вели набольши соловецки люди о судьбе сего отрока, и я, затаившись в перекрытии чердачном, внимал им, трепеща и молитву творя. Помню как сейчас и лица, и речи, и особливо глаза собравшихся там набольших тайного совета схимников во главе с отцом Симеоном. Глянуть на любого из них и то страшно, а уж како речь поведут, ну поверь, морозом злым по коже берет...

Без сомнения, Егорий был наделен даром рассказчика, вел разговор так, будто все, о чем он говорил, не тогда, а вот сейчас перед глазами его было.

— Руками взмахнувший, будто собравшийся взлететь ввысь, отец Симеон, а перед ним — воин-красавец в наряде походном воинском, белесый до изумления, разбросавший кудри по плечам — новгородской воевода князь Аникей Пивашин. Нетерпеливо переступив да еще приотпнув каблуком зеленых сафьяновых сапог, говорил он, надменно глядя Симеоноу в глаза:



— Я ни в единой малой малости ни долга воинского, ни веры православной не поругал. Ведомо тебе, што мы у самого преддверья Югры побывали, воинов своих, царствие им небесное, боле половины положили, сражаясь с ворогами земель русских, так нас ли укорами мелочными корить?

— Вот-вот! — воскликнул Симеон, с силой вонзив посох в прибрежный песок. — «Я», «мы» — только и слышно от тебя, поступиться ни в чем не хочешь. Даже внука своо единого в монастыре оставить не хочешь, а ведь и я, и многи старцы наши уже узрели в нем будущего поборника святости великой, а может, именно ему предсказано крест жемчужный великой византийской в незнаемы земли нести?

— Удостоится того — так и понесет, не уронит, не той породы и рода не того он, но только творить сие будет в уборе воинском, в панцире и кольчуге и с мечом в руке, како воину Христову да потомку князей новгородских положено быть! Вы его тут, я слышал, молениями не к месту и не к ладу извели, ахами, охами да предсказаниями, сути которых сами и не постигли толком...

И без того всегда отличавшийся редкой памятью, Егорий говорил, вспоминая, толково, понятно до крайности самой малой, и опять мелькало перед ним искаженное злобой лицо Симеона и презрительный напряженный взгляд князя Пивашина...

— Вот так оно все и было, — закончил Егорий свой рассказ.

Он смотрел на собеседника испытующе, готовясь задать вопрос, ответа на который ждал с видимым волнением.

Елизарий опередил его:

— Спрашивать будешь, как я посмотрю на все это? А по-божески посмотрю, чего уж тут измышлять лишнее — внук такого человека, как князь Пивашин, спасен должен быть и переправлен добрым людям.

— Именно так, ежели ты в этом деле рука об руку со мной пойдешь!

— Пойду, кой разговор тут быть может? Думаю, к нашему путевому челну меня с отроком доставишь, а там Божья воля да морюшко родимо... Сколь раз оно нас выручало, выручит и ноне... — Елизарий поднялся, отряхнул кафтан и неожиданно рассмеялся: — Ох, чую свару велику, опять господа старшего совета на две стороны разойдутся. Одни за изничтожение сего отрока ратовать будут, другие за то, штоб его ревнителем веры представить и святителем краев соловецких огласить... Опять забудут и те и другие, што бог — это добро и мы, люди Божьи, иными быть не можем!

— Низкий поклон тебе за слова сии, брат мой во Христе Елизарий! Значит, в путь?

— В путь! Челн главной, ходовой готов аль не?

Егорий, не дрогнув лицом, отвечивал по давно укоренившемуся обычаю:

— Господу Богу помолившись да в вере нашей православной утвердившись, вручаем души и животы свои морюшку родиму и, на милость его уповая, будем им хранимы...

Егорий и Елизарий, трижды перекрестившись, подозвали Меgefия и, собрав нехитрый скарб, направились к лежащему у самой воды челну.

Глава 10

За семьдесят с лишним лет существования Мангазеи спокойных годов было всего ничего, а смут и прочих потрясений столько, что им давно и счет потеряли.

Надо же было случиться, что именно в такое время да к тому же после столь долгой неотступной дороги попал сюда думный дворянин Авксентьев. Дорожные злоключения нисколько не повлияли на его стремление довести до конца начатое дело и отыскать, схватить наконец этих богопротивцев Дионисия и Марфу, которые, как он полагал, должны быть именно в здешних краях.

Но разочарования постигли Авксентьева с первых же шагов пребывания в Мангазее. Свои тут, как видно, были правила, свое отношение к московским грамотам и делам.

Мангазейский воевода князь Федор Домашин и на грамоты-то эти глянул мельком, едва что не отмахнувшись.

— Э-э-э, мил человек, — недовольно морща тонкие злые губы на таком же тонком, болезненно неприятном лице, заявил он, — мы ноне свои розыскны дела забросили, куды уж нам за московски браться... Сам, сам уж со людишками своими расстарайся, а мне недосуг полный. Слышал уж, поди, што во граде нашем творится? Едва на посаде бунтование поухло, гулевой люд из тундры да самоядь немирна с ними город едва приступом не взяли. Они и ноне не ушли, неподалеку табуняются...

— Так дело-то мое спехом надо творить, а то из Москвы от набольших людей недовольство получим...

— А ты уже получил извещение московско аль тебе не довели писарские людишки наши? Прислана на имя твое грамота ругательна, где указуют, што не больно-то, мол, ты устремлен к делам государевым, ленью более обуян, тащишься яко вошь по луже, господи прости!

— Вошь по луже, гляди-кось! — несколько раз с обидой повторил про себя Авксентьев по дороге к дому, где они остановились со стрелецким пятидесятником Климом Егоровым. Застав его дома, он чуть ли не с порога заявил: — Ну, брат Климушко, штой-то мы оплошали с тобой, аж из самой Москвы нам добра выволочка пришла!

— Все про тех? — сразу догадался Клим.

— Ага, про них... И ты знаешь, вот убей меня, чую, где-то близко они... Климушка, што же делать, како же на тропку к ним заступить?

Клим Егоров оставил в свое время мореходское дело ради воинской государевой службы, к коей был привержен весьма и весьма. Все здесь нравилось, все было по душе, а к трудностям да гореваниям разным он привык еще с детства, так как в поморской жизни легкого почти николи не бывало. И все бы ничего, да вот к тому, что его вынуждал делать в последнее время Авксентьев, душа не лежала. Не дело воинского человека ходить, расспрашивать, вынюхивать. Бой бы какой, поход потрудней али ина кака воинска сшибка — это бы к месту, а ино, да такое, что

Авксентьев столь настырно навязывает ему, вот уж не к месту, не к сердцу совсем.

— Так как же, Климушко? — вновь напомнил о своем Авксентьев. — Како же нам в деле сем поверней изловчиться?

Клим лениво, с тоской ругнулся про себя, вздохнул, проговорил, будто цедя слова:

— Ноне, Гордей Акимович, пойду-ко я на посад, в кабак тамошний, есть у меня ниточка мала, вокруг меня один молодец суетится, присматривается вроде, чую, сие не просто так... А вдруг он из тех, из Дионисевых людей? Они ведь, поди, тоже в ходу, выведывать про нас што стараются...

— Верно размыслил, — похвалил Авксентьев, — поспешай в кабак посадской тот...

В кабаке, известно, шум, гам, дым коромыслом, споры до хрипоты, ругань, кто пытается петь, кто плачет, а кто спит, уронив голову на залитый вином и усыпанный объедками стол. Глядя на все это, Клим презрительно скривил губы, прошел на чистую половину, где поопрятней, получше и народ посдержанней: кормщики, люди дела морского, российские и иноземные, гости торговые, тож российских дальних пределов, годовальщики — стрельцы и казаки, пятидесятники, сотники, писарской и прочий чиновный люд. Столы здесь аккуратные, чистыми скатертями застелены.

Клим выпил кружку вина, со второй уселся за один из таких столов, огляделся.

Ну не диво ли это? Чуть наискосок, тоже с кружкой, сидел тот самый молодец, о котором он рассказывал совсем недавно Авксентьеву.

Увидев, что Клим глядит на него удивленно, молодец подвинулся, сказал так, словно они только что прервали разговор:

— Так, значит, я вокруг тебя похаживаю и присматриваюсь? Ишь ты!

«Наваждение аль чертовщина кака, — быстро подумал Клим, — мои слова ему ведомы, откуль же?» Он хотел сотворить молитву, но, увидев, что молодец глядит насмешливо, сдержался.

— Ты кто, знахарь, ведун, а может, нечистый какой? — Клим не знал, как ему держать себя с этим человеком, и поэтому, растерявшись, разозлился.

— Может, и ведун, про тебя и про твоего дворянина московского, уж во всяком случае, все ведомо. Ищите, тычетесь яко щенки слепые, а отец Дионисий и матушка Марфа давно уже на Енисее-реке пребывают, да ты ведь слышал об этом, опоздали, выглядчики московски...

— Брешешь! Мы ж, считай, по их следу сюды шли!

— Словеса выбирай, служака, брешете вы, лизоблюды да прихлебатели московских князей Сеньки Беклемишева да Петьки Боголюбского, штоб им пусто было!

— Да я тебя за эти слова на правеж, на дыбу!.. — вскочил из-за стола Клим, намериваясь кликнуть стрельцов, но молодец, не глядя на

него, почесал пятерней затылок, и сейчас же по бокам Клима выросли два рослых, здоровенных парня, держа каждый руку за пазухой.

— Не успеешь крикнуть-то вырuchальщиков, — сказал молодец Климу, — как сам будешь ответ Господу держать на небеси...

Клим посмотрел на молодца, на так же настороженно глядящих на него парней, плюнул в сердцах и, схватив шапку, пулей вылетел из посадского кабака.

— Садитесь, други, — как ни в чем не бывало пригласил парней Игнатий, так как это именно он беседовал с Климом, — садитесь да пейте доброго винца-зеленца да меду-игрунца за здравие да за дела людей вольных не только в Мангазейском граде, а и по всей Югре-матушке.

Парни поклонились, стали поудобней усаживаться за стол.

— Прощенья прошу, — сказал Игнатий, — что нет сейчас минутки побыть, побеседовать с вами, но, однако ж, беседашка сия за мной, в Мангазее каждому ведомо, что слово мое всегда верно есть...

Парни еще раз уважительно склонили головы, и тут же Игнатий будто растворился, исчез в толпе кабацких гулеванов.

Как правило, он никогда не входил и не выходил из кабака через главную дверь. И на этот раз, пройдя просторную кухню с огромной русской печью, возле которой сутились в засаленных передниках бабы, Игнатий вышел через кладовой прируб и, минуя узкий коридор, очутился вскоре на улице.

По утвердившейся издавна привычке он быстро, с удвоенным вниманием огляделся вокруг и только собрался продолжить путь, как услышал за спиной насмешливое:

— Здрав буди, добрый молодец!

Он вмиг обернулся, готовый к отпору, к схватке, но тут же, увидев перед собой ладную большеглазую молодницу в турецкой шали и франтоватой душегрее, облегченно выкрикнул:

— Господи! Это ты, Ульянушка-свет, побойся бога так вот, яко нечистый дух, православный люд в испуг приводить!

Это была одна из самых бойких посадских молодниц, Ульяна, дочь опального казацкого сотника, казненного в свое время по царскому указу.

— Аль таким пугливым стал? — задиристо улыбнулась девушка. — То-то я смотрю, ты все по углам да по малолюдью ходишь...

Зная, что у Ульяны всегда имелось в запасе колючее слово, Игнатий тут же свел разговор к шутке:

— Ты пошто ноне нарядна столь, аки цвет лазоревый?

— К чему нарядна я столь ноне, пытаешь? А как же иначе мне такого молодца-удальца, как ты, встречать?

Насмешка, прозвучавшая в ее словах, явно пришлась по сердцу Игнатию, он легонько полуболюбил Ульяну за плечи, шепнул, будто пугаясь:

— Увел, скрал бы тебя с любого подворья, Ульянушка, да ведь за тобой женишки-то, поди, чередой ходят?

— Ходят, не скрываю, а все не по нраву мне. А придет срок, я и сама кого хошь скраду, да хоть бы и тебя.

— Ух ты! И не побоишься?

— А не побоюсь, боязни мои ветром по морю да по тундрам гиблым давнехонько разнесло. Должники у нас едины с тобой: отребье воеводское да лизоблюды разнородны, губители отцов наших и иных христианских душ русских!

— Поклон тебе низкой за честну речь, — уже серьезно проговорил Игнатий, а Ульяна, как бы подхватив его тон, тут же спросила:

— Ну, перекинулся словом с пятидесятником московским, што в дому нашем проживает?

— Перекинулся, еще раз хвала тебе, што упредила меня. Ты и дале, Ульянушка, словес мимо ушей не пропускай, што выведаешь — сразу к Милентию посыльного, сама не ходи, осторожиться тебе надобно...

— И ты мне таково толкуешь? Всем ведомо, сколь петель да капканов на тебя воевода понаставил.

— А мы изловчимся, впервой нам, што ль?

— Иди ужо... Изловчимся... — жалостливо сказала Ульяна.

Игнатий поклонился, подмигнул озорно и пошел вразвалочку, зорко оглядываясь по сторонам. Ульяна вздохнула тяжело, долго-долго смотрела ему вслед, и в больших глазах ее очень медленно, как бы нехотя таяла печаль.

В этот предвечерний час мангазейские улицы были немногочисленны: несколько торопливых прохожих, пара возвращающихся из тундры усталых оленьих упряжек, редкие цепочки сторожевых стрельцов, ухидивших в ночные дозоры.

Ульяна сбавила шаг, намериваясь свернуть за угол, как тут же перед ней, перегородив путь, встал, игриво щурясь, известный недруг ее, а может и намного хуже того, наиглавнейший воеводский выглядчик — Федот Курбатов.

Сказать, что Ульяна ненавидела его — ничего не сказать, она просто задыхалась от ненависти, хотя была по натуре незлобивой, а иногда даже слишком доброй. Порой этот Федот был для нее вроде гнилого тумана в тундровых низинах, который всегда обходили не только охотники, но и олени. Каждую встречу с Федотом, даже мимолетную, случайную, долго помнила Ульяна, обязательно прикидывая, к чему она, что говорил, на что намекал Федот, что хотел вызнать-выпытать у нее.

Вот и ныне, едва нос свой из-за угла показал, как почти запел на разные голоса от радости безмерной:

— То-то я смотрю, посветлело сразу окрест и цвет лазоревый разлился в небеси — Ульянушка тута появилась...

«Случаем здесь он или ино как появился? — едва не воскликнула Ульяна. — Следил, поди, подглядывал за мной, сучья кость».

И, хорошо зная привычки и характер Федота, тут же первой, не чинясь, набросилась на него:



— Чего узнал, проведал, выглядел новенького? Я вот только что с дружкой наилучшим твоим Игнатием беседашку вела, тоже словечки приветны расточал мне.

При упоминании имени Игнатия Федот даже изменился в лице, плюнул трижды ожесточенно через левое плечо, как было принято в Мангазее при обереге от колдовства и несчастий, и, буквально опалив взглядом Ульяну, рванул в сторону, спотыкаясь и нашептывая про себя все мыслимые и немыслимые проклятья.

Так сложилось в пределах мангазейских, что между этими двумя людьми, совершенно не похожими ни в чем друг на друга, шло постоянное состязание, вернее, скрытая пока, но ожесточенная до предела схватка за место и влияние во многих мангазейских делах.

Когда в партии высланных на вечное поселение «государевых супротивцев и злодельцев» появилась дочь казненного стрелецкого сотника Тедебалова, Федот, как говорится, сразу же положил на нее глаз, мгновенно и, как ему казалось, вполне обоснованно решив, что сия молодница при ее уме, стати и жизненной ловкости будет со временем столь необходимой ему помощницей, а потом, глядишь, и супругой. К сожалению, планам этим не суждено было сбыться.

Более того, очень скоро Федоту стало известно о таких делах и знакомствах Ульяны, что он не только проклял день их первой встречи, но стал усиленно искать пути, чтобы убрать Ульяну с жизненной дороги. Но поздно, слишком поздно взялся он за это дело.

Дошло до того, что вчера ночью его разбудили пришлые, по всему видно, с дальних мест люди — рослые, злые. Они связали охранников, забрали приготовленную для отправки в Тобольск партию отборнейших соболей и голубых песцов и тут же принялись за Федота. Сдернув с него неплюй*, принялись стегать его ремнями по голому телу, пинать, катать по полу, но неторопко, даже прерываясь на минуту-другую, так, будто эта неторопливость доставляла им особое удовольствие.

Федот, перемазанный землей и кровью, вскоре понял это и от обиды, попав впервые в жизни в такое изгальство, завыл едва что не по-волчьи. Но еще злее оказались слова вожака этих людей, несуразных размеров детины, что он перед уходом бросил Федоту:

— Добрей да человечней, знаю, и после этого не будешь, но поутишь слегка прыть-то! Службу свою подлюю у воеводы неси, как и нес. Сие дело к нам не касаемо, но Ульяну в полном покое оставь отныне и вовеки! То наказ тебе от людей тундровых, вольных. — Он даже не пнул, а просто отбросил носком сапога стоявшего перед ним на коленях Федота и, ухмыляясь удовлетворенно, но не по-доброму, покинул сторожевую избу.

Пробежав пару улиц, не глядя на прохожих и на весь белый свет, Федот немного поостыл, принялся за себя. Самая отчаянная ругань показалась вдруг смешной, никчемной, унижительной даже для него, особен-

* Неплюй — выделанная шкура олененка.

но в сегодняшний день, когда он готовился рассчитаться наконец по всем статьям с этой трижды адовой Улькой, так унижить ее, чтоб она рыдала, выла, каталась у его ног, вымаливая прощение, а он, будто не замечая этого, презрительно бы морщился и похохатывал, иногда спрашивая: «Ну, довольна, получила свое?»

Да, да, все это будет, обязательно будет, ох уж попляшет еще эта ведьма во плоти! Федот сжал кулаки и уверенно зашагал вдоль улицы по направлению к воеводской избе.

В этот же день к вечеру докладчики донесли ему о том, что в посадском кабаке Игнатий встречался с прибывшим из Москвы пятидесятником Климом Егоровым. «А не он ли тот, кто мне нужен?» — задумался Федот.

Постоянное брюзжание Авксентьева, пьяные жалобы на неудачно сложившуюся жизнь так осточертели Климу, что он стал более обычного прикладываться к рюмке да и службу нес спустя рукава: нечего, мол, стараться, да еще здесь, на краю земли русской.

На Федота, когда он с кружкой вина подсел рядом, Клим глянул мельком и, прикрыв тяжкими веками безразличные, а скорее, пустые глаза, проговорил недовольно:

— Чего мостишься, аль иного места нет?

— Место-то есть, да там лишних не счесть, — присказкой ответил Федот и не торопясь продолжил: — Нам лишние ноне ни к чему, разговор я намерился повести с тобой тайный...

Клим покачал головой, насмешливо хмыкнул, и в глазах его появилось что-то похожее на интерес.

— Тайное... гляди-кось ты... А я, мил человек, от тайн разных устал, мне их на службе моей вот как хватает.

— Погодь ты, погодь, — заторопился Федот, — дело есть у меня к тебе.

— А, ну дерзай...

— Знаю о беседушке твоей с Игнашкой-гилевщиком, знаю, о чем речь вели, знаю, сколь лжив был тот проклятый Игнашка в словах своих!

— Ух ты, сколь ведомо тебе! А твой здесь каков интерес?

— Ты знаешь, кто я? — спросил Федот.

— Знаю, видел, как охаживал тебя воевода за службишку твою.

— Вот-вот, а все из-за преподлостей того Игнашки. Ведомо мне, как изловить его и как говорить заставить, а сие и тебе и мне на руку. Перво-наперво выпытаешь о врагах опальных Дионисии и Марфе, да и о другом-прочем, что твоему дворянину Авксентьеву и нашему воеводе вот как надобно!

— Поздно схватился, и Дионисий и Марфа на Енисей-реку подались...

— Да брехня это! Путает, глаза отводит гилевщик тот. Здесь они, здесь где-то, в пределах мангазейских, сие мне доподлинно известно, тем

паче что самого Дионисия днями на посаде видели, пробирался куды-то, старый бес, тайно.

— Да, вот это весть так весть! — Клим встрепенулся, повел плечами, будто сбрасывая с себя сонную одурь, предложил: — Давай-кошь, мил человек, изопьем вина за наши дела предстоящие.

Они стукнули кружками по столу и осушили их одновременно.

...Надо сказать, что именно в этот час, случайно или по стечению обстоятельств, шла весьма неприятная беседа между мангазейским воеводою Домашиним и московским посланцем Авксентьевым. Воеводе никак не по душе были разглагольствования Авксентьева, но в новом указе еще и еще раз подтверждались его высокие полномочия в этом деле, и необузданному нравом князю Домашину приходилось скрепя сердце отговариваться.

— Ну што ты, ну што ты меня с делом этим проклятуцим, словно медведя в берлоге, обступаешь? Ты сам уже которое время злодеев тех по лесам и тундрам ищешь, а толку? Ничуть!

Авксентьев в ответ лишь вздохнул тяжело, обидчиво поджав губы.

— То-то и оно, — глянув на него, продолжил воевода, — мы разговор с тобой уже в третий раз ведем, а все попусту выходит, прости господи, воздухов сотрясение! А я ведь упреждал тебя, тута не Москва, край ой какой разбойный...

— И што ж ты мне прикажешь? — неотступно продолжал разговор Авксентьев. — Восвояси убираться отсель, што ли?

— А это уж как бог на душу положит... Москва-то далече, што оттуда видать? А тут — ты сам ноне свидетель дел окрестных — дурню понятно, што у Дионисия с Марфой, ежели они взаправду где-то вблизи, содругов разбойных всяких да помощников ой как немало найдется, так што ухватить эту свору куда как непросто будет...

Авксентьев и раньше-то не отличался особой полнотою, а за последнее время исхудал заметно, нос заострился, отчего лицо выглядело почти хищным, тонкие губы всегда кривились теперь в неприятной ухмылке.

— Нет уж, князька, — внешне будто бы в шутку, а на деле со злой подковыркой проговорил Авксентьев, — ты уж прости меня, надоедливого, но я, како ты, о времени рассуждать не намерен. Костьми лягу, а найду, вздерну на дыбу для беседушки злодеев тех, без того мне дороги на Москву нет!

— Так-то оно так, — неопределенно заключил разговор воевода Домашин.

Глава 11

Шестнадцатый век принято считать веком расцвета Ганзы — великого торгового союза городов Балтийского и Северного морей и прилежащих к ним более мелких, но многочисленных поселений. Прибыли, постоянный рост богатств и политическое могущество Ганзы в первую очередь обеспечивал ее первостатейный по тем временам торговый и военный

флот. Отлично вооруженные и крикливо украшенные специальной атрибукой из флагов, выпелов, больших и малых знаков, провожаемые в море молитвой, корабли всегда привлекали к себе внимание на морских путях и в портах, вызывая зависть многочисленных врагов и зевак.

Обычай провожать корабли Ганзы торжественными богослужениями вскоре дополнился появлением на мачтах судов образов святых, обеспечивающих своим присутствием добрый путь и счастливое возвращение кораблям.

Вскоре этот обычай утвердился и на российских судах среди рыбаков, купцов и особенно тех мореходцев-паломников, чьи парусники пробирались среди льдов таинственной Югры. Шли туда и самовольно, и по наказу игуменов прибрежных монастырей. Но на каждом, пусть и самом малом паруснике чуть пониже «дорожной» иконы обязательно был укреплен кипарисовый крест размером с ладонь, обычно с набором мелких сизовато-серебристых жемчужин, россыпи которых в то время щедро покрывали устья многих северных рек и ручьев.

Именно такой крест был укреплен на мачте струга, который ранним осенним днем вышел в море от одного из соловецких причалов с командой из шести человек во главе с уже знакомым нам схимником Елизарием. В свое время его необъяснимое исчезновение из Соловецкой обители вызвало немало толков, да и потом об этом долго не могли забыть.

Даже среди скромных монастырских насельников, особенно его отборнейших, как тогда говорили, «головных» молитвенников — монахов, принявших схиму, Елизарий был заметной фигурой, недаром он носил звание головного доверенного посыльщика, а попросту говоря, посла по самым важным делам, которых у тайного совета было немало.

Кроме того, Елизария всегда отличали за ум, за особую приверженность к богословским и иным наукам, за умение находить выход из самых каверзнейших положений, коими полна была жизнь в широко уже известной тогда на Руси Соловецкой обители.

Первым был Елизарий и в вопросах послушания: отличался здесь особой щепетильностью, и его постоянно ставили в пример молодым монахам. И вдруг этот Елизарий без разрешения и благословения, не говоря никому ни слова, покинул, как выяснилось позднее, обитель — будто растаял в морской дали. С тех пор ни о нем, ни о сбежавших с ним монахах никто ничего не слышал.

Тут, думаю, будет уместным вернуться немного назад, чтобы рассказать о последнем вечере, проведенном Елизарием в рыбацком поселке на Соловках. В просторной рыбацкой избе, густо увешанной просыхающими сетями, сидели вокруг у камелька, щедро источающего жар, Елизарий, Егорий и обремененный долгими годами староста поселка Кондратий — знаменитый в прошлом рыбак и кормчий с несоответствующим возрасту взглядом по-молодому хитровато поблескивающих глаз. Последний и говорил, обращаясь к собеседникам, как-то по-особому, полнозвучно и убедительно, так что те лишь согласно кивали головами.



— Рыбари местные, особливо старики, просили довести до тебя, друже Елизарий, просьбицу их, из важных наиважнейшу. Позаботишься спросить почему? Отвечу. Потому што с малых лет на глазах ты у нас, честен, прям, в делах богоугодных и прочих — безупречен.

Елизарий насторожился, подобрался весь, спросил коротко:

— Што за просьбица?

— А ты не спеши, друже, ибо речь пойдёт вначале о делах давних, можно сказать древних, когда спеху места не шибко-то давали, зато все выходило ладом да по-божески. Ещё в пору владычества византийска явились однажды к царю тогдашнему мореходские смелые да умом возвеличившиеся люди. И молвили, што, дескать, донеслись до них вести о стране богатств неисчислимых, страхов и льда — Югории. И што просят они их в ту страну отпустить — увидеть, так сие или не так, и новым походом край свой византийской прославить.

Намерение таково пришлось царю по душе, похвалил он воинов своих, поход одобрил и ещё одно повеление огласил:

— Понесете в Югорию силу нашу, но ведь сила без веры — ничто! Пусть патриарх словом своим пастырским укажет взять в поход внука моего Меgefия, который после завоевания Югории и по достижении им совершеннолетия станет царем и патриархом ее и вождем всего войска византийского!

— Вона куды дело пошло! — неожиданно, так словно его подтолкнул кто, воскликнул Елизарий и, как бы устыдившись этого, уже негромко осведомился: — А поход ихний в края югорские состоялся аль нет?

— Поход-то был, — раздумчиво ответил Кондратий, — и перед началом его царского внука Меgefия будущим царем югорским огласили, но...

— Што? — теперь ещё более заинтересованно спросил Елизарий.

— А то, што судьба того похода до сих пор толком неизвестна. То ли в море бурей злой исхлестало их до конца, то ли пираты изничтожили византийцев, неизвестно.

— Так вот откуда у отрока нашего имечко Меgefий, — почти испуганно проговорил Елизарий. — А сколько шума-говора вокруг имени этого монастырскими и прочими людьми поднято...

— А ты думал, — усмехнулся Кондратий. — Отец Симеон, властолюбием греховным обуянный безмерно, будь он помоложе, сам бы с отроком сим в поход в земли югорски отправился, а так ему ходу нет. Ведомо нам стало, што он последнее время живет в раздумьях тяжких: с кем Меgefия в Югру посылать можно, как он там волю его, Симеона, исполнять будет?

— А верна, правильна ли та воля Симеонова? — осторожно осведомился Елизарий. — Неужто в обители нашей и в селениях, што окрест ее, доброго человека для дела сего не сыщется?

— А пошто искать его, — усмехнулся Кондратий, — коли вот он, рядышком? В начале разговора сего я о просьбе к тебе стариков наших

речь повел, так вот, намерились они тебя просить, чтоб доставил ты в Мангазейский град отрока Меgefия, чтоб он там под присмотром твоим дело святое паломников наших православных продолжил. Так молви нам, подумав хорошенько, согласен ты аль нет?

Елизарий встал. Щеки его как пламенем полыхнули, хотел согласие свое высказать душевно, во весь голос, но, истово перекрестившись, лишь покорно склонил голову.

— Иного от тебя и не ждал, — едва слышно проговорил Кондратий, и по щекам его, щедро и безжалостно иссеченным всеми северными ветрами, одна за другой покатались слезы.

— Жизнь долгу да куды как трудну прожил я, — продолжал он малое время спустя. — И матушка-смертушка не раз в очи заглядывала, и ино изгальство жизненно терпел, но с верой Господней всегда неотступен был, то и выручало. Чую, и ты, человеке, таких же кровей будешь. Ноне по обычаю святых паломников прежних дорожный план с дорожной же молитвой раскинем — и путь тебе добрый.

Старик подошел к висевшему в углу избы иноземной работы шкафу-посуднику, вытащил оттуда и поставил пред поздними гостями три иноземных же объемистых бокала.

Наполнил их вином, провозгласил по обычаю дорожный наказ:

Путь-дорога по земле
 Иль по пенной по водице
 Нас к удаче приведи,
 Много счастья найди.
 Чтобы легче нам шагалось,
 Чтоб плылось да не качалось,
 Чтоб народ наш православный
 Был всегда с удачей славной!

Они не торопясь опорожнили бокалы, пристукнули донцами по столу, поклонились Кондратию.

Тот поклонился ответно и произнес строго:

— И сказано есть: «Свято место и не бывает пусто». Сотворишь дело — благодатью осиян будешь. Доберешься с Божьей помощью в Мангазейской град — не спеши, осмотришь, а дале на посаде тамошнем стрелецку дочь-молодицу Ульяну найди, ее там каждый знает. Скажешь ей таки слова — неторопо, со значением: «Кланяется, мол, тебе тройным поклоном дед Кондратий, Соловецкой обители инок, просит нижайше под свою заботу взять и меня, и вот отрока сего...» Тут представишь ей Меgefия. Ульяна тут же спросить должна: «А на што, мол, мне вы, старый да малый, куды я вас дену-пристрою?» А ты в ответ ей тако молви: «А деть нас надобно далее, ужо под заботу матушки Марфы, игуменьи островной обители, зеленчатым камнем вокруг изукрашенной...»



Кондратий задержался на минуту, чуть хмурясь, продолжил:

— С игуменьей будь уважителен, но строг. Она порядок ох как почитает и в словах, и в делах. О приезде и о заботах, тебе предстоящих, заранее извещена будет, так што беседа ваша сразу по должному пути, думаю, пойдет.

— Постараюсь уж, — хитровато усмехнулся Елизарий, — с особами разными куды повыше сей Марфы беседовать приходилось...

— Ох, смотри!.. Сия игуменья яко камень колдовской, прости господи, как подойти к ней, как дело начать позаботишься...

— Так мы с тобой, отче Кондратий, и так всю жизнь в заботах всяческих да опасках, и ничего, живы...

— Потому што в вере нашей великой православной сильны есть, а это главное для души человеческой.

— Это уж как водится, — улынулся Елизарий и тут же добавил: — Сколь все тайно сие и мудрено есть... Однако спокоен будь: ни в чем ни отступа, ни промаха малого не допущу!

— Знаю, друже, и верю тебе как себе самому в делах таких! — ответно вымолвил Кондратий. — Обнимемся на дорожку, брате! — И они крепко сцепили руки в братском объятии.

У головных соловецких причалов всегда выстаивало немало российских и иноземных судов, громоздились пирамиды бочек, мешков, тюков, выкладок пиленого леса, было шумно, пестрело в глазах от многолюдья, но порядок здесь, на побережье, принадлежащем монастырю, соблюдался строго. Хозяйничали тут сторожевые монахи — молодцы один к одному, и при оружии. Каждое подходящее или уходящее в море судно подвергалось строгой проверке.

Так было и в один из вечеров, когда к главной смотровой площадке с бревенчатой сторожевой башней подошел добротный слаженный струг с иконой Божьей Матери и небольшим крестом на щогле* и белевшим новизной туго укатанным парусом на рее. Увидев подошедший струг, старший из сторожевых монахов торопливо, даже чуть испуганно перекрестился и, пробормотав: «Господь всемилостивый, отцы-схимники удостоили нас», заспешил навстречу.

Поневоле аль нет, но уважали здесь таких паломников, а более — что греха таить — побаивались. Бог их знает, молчунов этих вечных, что не глядят ни на кого, прячут глаза, молитвы шепчут.

Старший на струге, знакомец наш Елизарий, развернув дорожную грамоту с тремя сургучными печатями на гарусных шнурах, тоже не глядя, пробормотал что-то. Сторожевой монах поклонился трижды, и с этим незваные гости отбыли, неторопливо, но в лад налегая на весла, пряча лица за низко надвинутыми капюшонами тяжких схимнических одеяний.

Наверное, никому из пестрого, шумливого многолюдья монастырских причалов и в голову не пришло подумать о том, что грех, и не малый,

* Щогла — здесь: мачта.

а куда как большой по здешним понятиям, только что был совершен на путевом струге, уходящем к дальним, неизвестным покуль берегам Югры.

Дело в том, что в кормовой малой загородке струга за ворохом спальных оленьих шкур приткнулся, жадно глядя в смотровое оконце, Меgefий, который то плакал, то истово принимался нашептывать молитвы, и его еще детское сердце было переполнено сейчас неизбывной, совсем не детской тоской.

Если бы мог кто в это время видеть столь невеселую картину отхода струга от соловейских причалов, он бы, наверное, проникся тяжелой тоской и молчанием, будто бы повисшим над беспокойно урчащими волнами, и пожалел бы отрока Меgefия. Он еще продолжал тяжело всхлипывать, как вдруг в поле его зрения попал показавшийся из-за угловато торчавшего мыска небольшой, стремительно скользящий струг с тремя гребцами. Они были, видать, из молодых, гребли споро, в охотку, потому и казалось издали, что струг не просто плывет, а скользит меж волн, едва задевая их пенные верхушки.

Меgefий намерился было окликнуть своих гребцов, видят ли они струг попутный, но тот, еще ускорив свой бег, мелькнул уже за ближайшим барьером из камней и через минуту-другую вообще скрылся из вида.

Меgefий протер глаза, невольно перекрестился и, удивившись, подумал: «Что-то уж больно скор стружок этот, а может, показалось мне?»

Откинув оленью шкуру, он выбрался на кормовую площадку, где сидел у рулевого весла кормчий, и спросил его неуверенно:

— Попутных аль встречных судов не встречалось ли?

— Да нет, — сдергивая меховой колпак, уважительно, как и все остальные гребцы в разговорах с Меgefием, ответил кормчий. — День погожий — добро видится окрест.

«Видать, померещилось», — подумал Меgefий, окидывая взглядом переливчатую, в зеркальных отблесках даль моря и линию белопенных изгибов прибоя у каменной береговой гряды.

Достаточно ощутимый, но ровный попутный ветер наполнял парус. Укрепив весла, с интересом разглядывая уплывающий вдаль знакомый берег, каждый из схимников по-своему прощался с ним, неизвестно на который срок. Сидящий у носового фигурного форштевня Елизарий, увидев устроившегося в тени паруса Меgefия, подозвал его, кивнув на просмоленный брезент:

— Устраивайся ладком, друже, на морюшко полюбуемся, вон оно размахнулось уже сколь, да беседушку немудрену затеем. Согласен?

Голос Елизария звучал столь дружелюбно, что Меgefий, торопливо кивнув, тут же расположился рядом. Можно было предположить, что паренек то ли стесняется, то ли опасается чего. Он будто невзначай оглядывал лица гребцов, нет-нет да и прислушивался к их разговорам и, наконец, чуть склонившись к Елизарию, произнес вполголоса:

— Отче Егорий и старики рыбацки повелели мне на дорожку куды как настрожайше слушать тебя во всем неотступно, говоря, што и в море, и в мангазейском краю ты для меня и наставник первой, и заступа главна будешь...

— Ты, отроче, речь ведешь — другому взрослому впору будет. Годочек-то тебе какой?

— Одиннадцатый пошел. И прошу тебя покорно, отче Елизарий, за мало дитя не держи меня. Надобно будет што важнейше поверить — говори смело: пойму...

На лице Елизария появилась одобрительная улыбка.

— Добро. Ну вот давай с важнейших дел для нас и начнем. Главное, научись молчать поболее, а ежели што молвить намеришься, думай хорошенько. Разные люди на путях наших будут, и с добром, и с враждой, и с подвохом-злостью. Говори, мал, мол, еще, куды еду, куды везут меня — толком не знаю. Ко мне отправляй таковых любопытных.

— В таком разе будь без заботы, — строго проговорил Меgefий.

Он помолчал, и вдруг почти взрослый взгляд его растаял и тут же что-то подчеркнуто детское, просящее появилось в глазах.

Даже голос его дрогнул немного, когда он спросил Елизария:

— Отче, а единое, само малое можно полюбопытствовать мне?

— Дерзай! — все с той же одобрительной улыбкой поддержал его Елизарий.

— А как дед мой, воевода знатной Аникей Нилыч, здравствует ноне? Где он сам, где пути его проходят?

Лицо Елизария стало вдруг предельно строгим.

Придерживаясь рукой за борт струга, он встал, перекрестился достойно, не сказал — отчеканил будто в ответ:

— Достоянейший князь новгородской, воевода, в наших и иноземных пределах известной Аникей Нилыч Пивашин, по слухам, ноне в Югре, тропу русскую ведет, а так сие аль нет — то доподлинно узнаем в краях мангазейских...

— Ох, поскорей бы сие! — взволнованно произнес, почти выкрикнул Меgefий и, не сдерживаясь, горько, по-детски разрыдался, уже не стесняясь и не обращая внимания на гребцов, удивленно глядевших на него.

(Продолжение следует.)



Сергей КУКЛИН

СИБИРЯК В СИАМЕ

В Таиланде заскучать невозможно: как в детстве, когда родители впервые в жизни привели тебя в городской сад, наполненный карусельными диковинами, или в юности, когда, надев солдатские сапоги, вдруг ощутил, что теперь каждый день будет отмечен неповторимыми чудесами. Вчера ты долбил ломом траншею под кабель в каменистом грунте, а сегодня бежишь строем с полной выкладкой под палящим солнцем на стрельбище. Совсем не скучно. Сравнения неоднозначные, но суть явления объясняют. Это родные тайга и тундра через несколько недель пребывания становятся скучны и однообразны.

Впрочем, когда занят делом, об этом думать некогда, хотя иногда и заметишь с мимолетным беспокойством: а чего же я не восторгаюсь охапками снега, возлежащими на сосновых ветках повсюду, куда достигает взгляд? Ах да, это достойное восторга зрелище я позавчера уже оценил, ну и будет с него. А здесь Тихий океан в моей жизни впервые достигаем взору и телу. Купаться приходилось в десятках сибирских рек, в Волге, в Байкале, в казахстанских и алтайских озерах, но вот как зеленая морская волна накатывает на берег и уходит обратно — никогда не видел, и посему хочется смотреть неотрывно. Для нас, людей «родом оттуда, где серп опирался на молот» (Борис Чичибабин), возможность увидеть иные страны маячила в тумане запредельных дерзких фантазий. В смутное время девяностых ворота распахнулись, но средств у нас хватало лишь на собственное прокормление. Теперь, когда геология поднялась с карачек и вроде спинку распрямила, средства появились, и гостиница в Паттайе встречает меня и Антонину с равнодушным гостеприимством, непривычным для наших суровых мозгов.

Получив на ресепшен ключ, хотели двинуться на поиски номера, обозначенного на бирке, но оказалось, что дорожные сумки нам самим здесь таскать не положено. Шустрый таец в наряде с блестками, как у Киркорова, затащил нашу поклажу в лифт, доставил нас на нужный этаж и до нужной двери. Такое обходительное отношение ошеломило повзрослевших питомцев пионерско-комсомольского племени. Носильщик незаметно исчез, и мгновенно, из ничего возникла горничная, похожая на девочку-шестиклассницу. Взрослость все же угадывалась в серьезных глазах тетеньки с опытом жизни. Пока она с профессиональной радостью объясняла, как пользоваться кондиционером и сейфом, в моей голове крепко обосновалась мысль о срочной необходимости

искупаться в океане. Это устремление появилось как жажда любовной связи, и остановиться было невозможно. Антонина пыталась уговорить меня подождать до утра, узнав уже где-то, что пляж закрыт по причине наступившей темноты. В тропиках темнеет рано, как зимой в нашей Сибири. Мы опустились по меридиану ближе к экватору, но время на часах осталось неизменным, словно я все в том же балке посреди зимнего болота с хилым каргашатником. (Я специально оформил поездку на конец февраля для усиления впечатлений.)

Что значит для сибирского мужика закрытый пляж? По мощеной дорожке достиг штакетника и, перешагнув через запертую на всякий замок калитку, сошел по каменным ступенькам вниз, навстречу вздыхающему в темноте океану. Темнота не была крошечной, глазам помогал свет фонарей, торчащих наверху, вокруг отеля. Осознавая значимость дела, разделся догола. Сейчас произойдет одно из самых важных событий в моей жизни, как познание женщины, рождение сына или первая скважина. Лежал в воде на спине, разглядывая чистые, как звон, звезды. Созвездия здесь иные, чем в наших широтах: никаких ковшей-медведиц. Потом стоял на берегу, отдав тело на просушку теплему ветру, задрав голову к небу. Поиски Южного Креста были прерваны чьим-то хихиканьем, вроде как женским. Неподдалеку просматривался огромный валун, откуда и доносились человеческие звуки. Наверное, мечтательная парочка нашла там приют, а тут я объявился неглиже. Но учтите, я не нарочно. Впрочем, вполне возможно, что это сам валун хихикал. Ведь, согласно буддийскому учению о перевоплощении, он не просто окатанный морем кусок вулканической породы, аместилище души, ранее принадлежавшей человеку. Если в прошлой жизни тот человек был смешливым, значит, и тут не удержался и во тьме безлюдной позволил себе эдакую ехидную вольность. Луна выглянула из-за тучки и, смущенная увиденным, снова спряталась. Пора в отель, там Антонина беспокоится. Мог обойти камень вокруг, чтобы глянуть, кто там притаился, но пошел к лестнице напрямую. Хотелось верить в свою догадку: я же в страну чудес прибыл.

Через неделю мы начали привыкать к теплой ласковой волне, к горячему песку, пользительному для наших замороженных телес, к витринам, заставленным статуэтками Будды и кальянами, к павлинам с растопыренными хвостами под кокосовыми пальмами и к сочному вкусу неведомых доселе плодов. Пресыщение еще не наступило, но уже нудно заскрипело в подсознании. За двухдневную поездку на реку Квай ухватились с воодушевлением. Предполагалось путешествие на автобусе сквозь половину страны с посещением по ходу движения экзотических мест. Ночевка в якобы древних домах, стоящих на сваях в русле реки, и другие мероприятия, приближающие нас к быту предков нынешних тайцев.

Тихим утром, под чириканье райских птиц, расселись в огромном прохладном автобусе, и когда женщина-гид сверяла поголовье со списком, появился последний, едва не опоздавший экскурсант. Рыжий полноватый мужчина с целеустремленным лицом альпиниста перед восхождением, по всему видать еще не отошедший от буйной ночи, преодолевая нежелание своей плоти двигаться, с трудом залез внутрь и плюхнулся на свободное кресло через проход от меня. Вещей у него с собой не имелось. Очевидно, просто встав из-за стола, перешел на другое место, ведомый своей затверженной программой.

Показав проводнице нужную бумажку, внезапно протянул мне через проход растопыренную мясистую ладонь:

— Ваня, из Саратова.

— Серега, из Томска.

Удовлетворенный ответом, Ваня поерзал, устраиваясь поудобнее, и ушел в нирвану, изредка давая о себе знать азартным всхрапыванием. Через час езды по скоростной трассе остановились у буддийского монастыря. С напряженным любопытством я бродил по просторным анфиладам, украшенным причудливыми орнаментами из малахита, смальты, слюды и других минералов, разглядывая золотые статуи Будды. В том, что они действительно золотые, я запрещал себе сомневаться. Пусть хоть этот факт в моем избитом обманами сознании не окажется подверженным едкой коррозии недоверия. Рядом шла Тоня с фотоаппаратом, завернутая от пояса до щиколоток куском шелка, выданным при входе в святилище, чтобы укрыть колени. Встречались монахи в оранжевых хитонах, с одинаково приветливыми и одновременно отрешенными лицами, с синевато-блестящими бритыми головами и густо татуированными руками. Я отчаянно ругал себя за то, что языков не знаю и не получится поговорить с кем-нибудь из них о таком простом и привлекательном для томского мужика просветленном учении.

Вопросов к буддистам скопилось много. До поездки я познакомился с их учением через популярную литературу, в изобилии нынче вываленную на книжные прилавки. Некоторые из «четырех благородных истин» понимались и принимались с воодушевлением: «Надо же, и я так думаю». Потом, при вдумчивом рассмотрении, приводили в недоумение.

Первая истина в том, что каждый человек в этом мире подвержен страданию — духкха, это мне понятно. Причиной страдания является жажда чувственных удовольствий, наряду с алчностью, тщеславием, злостью, завистью, разочарованием. Эту вторую истину тоже приемлю, но частично. Я в жизни нахожу немало радостей отдельно от этого греховного списка. К тому же причиной страдания может стать смерть близкого человека. Объединять гнев, страх, похоть и боль от утраты родного существа я не могу.

Третья благородная истина глаголет о том, что можно избавиться от страдания, прекратив действие ее причины — тришны. Возражений нет, ибо все конечно. А дальше я стучаюсь своим поврежденным черепом в четвертую истину, то есть в нирвану — как об стенку, хотя, по утверждению Будды, это и есть чистый путь. Я не могу согласиться с тем, что страх смерти можно победить только путем избавления себя от воли к жизни. Но как хочется услышать разъяснение четвертой истины от монаха, сидящего красным бакеном на камне с широко открытыми глазами и не видящего меня, мимо проходящего. Пристроился бы рядышком в позе лотоса и заговорил с ним простодушно.

— Мы с тобой товарищи по несчастью, очутившиеся в этом злом мире по роковой ошибке природы, и сочувствуем друг другу, понимая нашу карму. Но скажи мне, если я откажусь от жажды жизни путем самоотречения и отказа от своих страстей, в том числе от любви к своей женщине, к своему дитя, не будет ли это скрытым проявлением эгоизма, приукрашенным идеей самосовершенствования, а значит, возвращением к страсти на другом уровне? Дескать, вы тут живите как хотите, со своими пороками и несчастьями, а я ухожу в иное, более совершенное бытие, где мне до вас не будет дела, зато я сам найду путь к

окончательному развоплощению и переходу в абсолютный покой. Не есть ли это отказ от ответственности, а попросту — предательство? Объясни неразумному брату, может, поздно мне уходить в мир блаженной свободы, если я привязан к этому безумному и веселому миру с его несчастными, страдающими людьми тысячами нитей? Если мне нравится видеть такие прекрасные явления, как солнечный закат, женское тело и улыбка ребенка? Или, наоборот, рано, сначала нужно во всем этом разочароваться?

Ничего я не сказал этому монаху и, удрученный, побрел к автобусу, потому что время мое вышло. Там хоть немного поднял себе настроение, порадовавшись за Ваню. Он выглядел почти здоровым, и в его глазах светился интерес к происходящим событиям. Тришной, то есть причиной изменения сознания, были, конечно, банки с пивом, наполнявшие пакет, который он нежно обнимал. Ваня времени не терял, пока я мучил себя невозможностью разрешить проблемы духовного пробуждения. Он что-то сосредоточенно обдумывал, промакивая вспотевший лоб тряпочкой, и, наконец решившись, приблизился к моему уху и по-свойски спросил:

— Куда едем?

— На реку Квай.

Ваня облегченно рассмеялся:

— Ну конечно, а куда же еще? Только на Квай, вперед — и никаких гвоздей, как говорил мой дед. Пиво будешь? Нет? Ну и ладно, хозяин — барин.

В пути он некоторое время вбирал в себя законную жизнь, щелкал крышками пивных банок, а потом вновь отправился осматривать таинственные подвалы своего сознания.

На следующей остановке монастырские паломники преобразились в наездников на слонах. На спинах животных были прикреплены деревянные щиты с сиденьями, куда со специальной платформы забирались дамочки — с жеманным повизгиванием и мужчины — с солидным покряхтыванием. Пока слон, двигаясь размеренным шагом по кольцевому маршруту, вез наши задницы, я испытывал чувство вины и неловкости перед мощным животным, уважаемым с детства, со сказки о Маугли. Было обидно за величественного Хатхи, покорно выполняющего волю щуплого человечка, сидящего у него на шее с палкой в руке. Зачем поддался? Ради кормежки — так лес кругом, сам бы прокормился, зато имел бы самоуважение и гордую свободу в окружении своих слоних и слонят. Теперь смиренно помаргивай да ушами хлопай от постукивания палки погонщика. Ваня из Саратова в этом глумлении над великанами участия не принимал, обнаружив ром в магазинчике рядом со слонариком.

На склоне дня прибыли к месту назначения, в деревеньку на берегу лесной реки. Заселились в установленные на понтонах домики с тростниковыми крышами и набором современных удобств: душ, туалет, кондиционер. Кинув вещи на широкую кровать, вышли наружу для знакомства с местностью и увидели людей из местного персонала, возбужденно суетящихся на автостоянке. Причиной всеобщей взбудораженности являлся Ваня, смиренно спящий рядом с колесом нашего опустевшего автобуса. Один таец бросился к нам, и из англо-русской смеси его слов мы поняли, что он хочет узнать, к какому домику приписан бесценный турист. Мы не знали, карманы его в поисках нужной бумажки никто обшаривать не осмелился, потому порешили положить его тело в гамак под



навесом, рядом со столовой. Для этого нужно было протащить Ваню метров тридцать и потом поднять на высоту моих плеч. Я пытался объяснить заботливым зрителям, что русский турист непривередлив и поспит там, где прилег, но таец махал руками перед моими глазами, повторяя: «Нельзя, нельзя, больно». Присев на корточки, он поманил меня посмотреть что-то интересное в траве. Я наклонился, и он осторожно показал пальцем на противное насекомое, похожее на нашу двухвостку. Оскалившись, пощелкал зубами и указал на Ванино тело. Я понимающе покивал и примкнул к спасателям. Скоро мы водрузили несчастного, а может, и счастливого Ваню туда, где он мог в безопасности продолжать свое личное путешествие.

На стене в столовой висел большой портрет пожилого ухоженного человека в белом кителе с орденами, с умным и усталым лицом. Это был почитаемый народом король Таиланда Пхумипон Адудьядет Рама IX. Он с отеческой укоризной смотрел сквозь очки в тонкой оправе на волжского парня, дрыхнувшего в гамаке, словно говоря ему: «Так и не увидел ты, Ваня, никаких диких в моей изумительной стране. Мог бы побухать в своем Саратове и не летать для этого дела через половину планеты». Ване стало совестно, и он свернулся калачиком, укрыв голову локтем, но король вовсе не стыдил его, а просто жалел, как неразумное дитя.

Пока не стемнело, мы с Тоней по хорошо утоптанной тропинке ушли вдоль реки подальше от деревни. Глаза обрадовались кокосу, валявшемуся на обочине. Слава богу, ко мне возвратилась способность удивляться. Медвежьи кучи под ногами в родном лесу — это обыденность, а здесь волосатый орех — это удивление. Я взял его с собой, чтобы потом расковырять складным ножиком и добраться до мякоти. Река, выбежав на равнину, приобрела степенную важность, а шалости в виде порогов и перекатов оставила в верхнем течении. В ее облике — в умеренно быстром течении, в нависающих над водой деревьях — я увидел некоторое сходство с нашими таежными реками. Только вода здесь светлая, а у наших степенных красавиц, как правило, черная от размытого торфа. Искупавшись, оценил освежающее действие сямской реки на организм, не приученный к душному и влажному воздуху. Когда натягивал штаны, Тоня хлопнула меня по спине и предъявила на раскрытой ладони комара. Ах, друг любезный, и здесь ты меня нашел! Но как же ты жил такой одинокий? Вот наши комары — настоящие властители лесов и болот, и имя им — легион несметный. А ты, такой скромный, захотел немного подкрепиться, и так неудачно — сразу конец жизни. Если бы я сам тебя видел, то каплю своей крови не пожалел и обошлось бы без убийства. Жену не стал ругать за необдуманную жестокость, ведь это врожденный рефлекс сибирячки, и мы отправились на ужин.

За общим длинным столом нашли свободное место с краю, положили себе в тарелки привычную жареную курицу с картошкой фри, прельстившись лишь на местный соус, но воздержавшись от съедобной экзотики типа жареных сверчков и гусениц. Над столом летал разноязыкий гомон, и стало интересно, из какой страны приехала сюда, в частности, молодая пара, сидящая напротив. Девушка в легкой, просвечивающей кофточке, с высветленными прядями волос и худощавый парень, изредка говорившей ей что-то на языке, явно никогда мною не слышанном. Пользуясь своим скудным словесным английским багажом, я все же спросил, откуда они родом, и выяснил, что из Ирана. Во как, а я думал, что

у персов в их исламской республике порядки строгие и не позволяют женщинам одеваться и вести себя так вольно, тем более что еду они запивали пивом.

Ничего не знаю, думал я, как люди живут за пределами нашей империи, упершись в свои зимники, зондировки болот, колонковое бурение, чтение Астафьева и Лескова, расслабляясь иногда выпивкой с друзьями. Как и в советские времена, основную информацию о нравах на чужой территории получаю из телевизора.

Слева оживленно болтали три девицы с корейскими глазами и с волосами, выкрашенными в сиреневый, оранжевый и зеленый цвета. Пили они легкое светлое вино и, когда грянула музыка, первыми выскочили из-за стола показать свою неистовую корейскую натуру. Ужин естественным ходом превратился в застолье. Я не удержался и тоже взял бутылку рома.

Он странным образом на меня подействовал: стало жалко всех, кто попадался на глаза. Жалко персидских молодоженов, а может любовников, вошедших в европейский образ и выскочивших из своего традиционного быта, зная о том, что возвращаться когда-нибудь придется. Жалко отчаянных корейских девчат с разноцветными прическами, разудалыми движениями доказывающих кому-то, что они живут как им хочется. Жалко Ваню за его торчащие из гамака пятки, которые было видно сквозь щели в бамбуковой стенке. Когда моя жена примкнула к пляшущим корейкам, мне и ее стало жалко — за то, что она со мной полжизни таскалась по казахстанским степям, по сибирским лесам, по общагам и малосемейкам с дитем малым и счастья не знала. А может, она так и была счастлива? Надо спросить сегодня.

Решив, что не годится беречь ресурсы своего мужского обаяния в такой подходящей обстановке, поделился шутивным наблюдением с отцветающей красавицей славянского облика, одиноко сидевшей справа:

— Девчонки из Южной Кореи сегодня зажигают за себя и за своих северных сестер, которые до сих пор строем ходят.

Мило улыбнувшись, дама ответила:

— Извините, я по-русски совершенно не понимаю.

Пока я осмысливал ситуацию, она уже кружилась в танцующей оранжерее. Потом, раскрасневшиеся и возбужденные, вместе с Тоней они плюхнулись за стол и, прихлебывая пиво из бокалов, оживленно заговорили. Чуть позже я узнал, что она полька. Русский учила в школе.

Утром, выйдя на завтрак, я порадовался за Ваню, увидев опустевший гамак. Значит, оклемался и перешел на положенную ему койку в домике. На прогулку по реке мы уплыли без него. Длинная узкая моторная лодка, вмещающая десять человек, по одному на каждой скамеечке, через сорок минут доставила нас к водопаду. Сступив на землю, некоторое время просто глазел на многоструйное сверкающее чудо. Сам себе отказавший в утреннем поправлении здоровья с помощью пива, я почувствовал, что именно этот поток придаст моим мозгам потерянную вчера бодрость. Скинув одежду, молчком зашел под струи и стоял так довольно долго, с наслаждением чувствуя возвращающуюся ясность мышления и свежесть организма, хотя вода не была ледяной, как ожидалось. Здесь вообще ничего ледяного не бывает.

Изначально мощная струя ударялась о каменный выступ много выше моей головы и после, разделенная на множество струй, просто ласкала тело. Выходить



не хотелось. Подошла Тоня в купальнике, и я обрадованно подвинулся. Нашему примеру пожелали последовать еще несколько человек, стоящих неподалеку в трусах и купальниках, ожидая своей очереди. На этом мое удовольствие закончилось, пришлось уступать место.

Интересно знать, предполагал ли Гаутама Будда в своем утверждении факта перевоплощения, что река тоже является временным вместилищем души усопшего человека? Ведь она постоянно пополняется дождями, множеством ручьев, в том числе и этим, превратившимся в водопад. Значит, река — это какое-то вечно движущееся общежитие, несущее души, чтобы слить их в океан, соединив, таким образом, множество тайных драгоценностей в одном огромном вместилище. Наверное, душа ручья-водопада в прежней жизни принадлежала целителю или просто доброму и щедрому человеку, поделившемуся со мной своей оздоровительной энергией.

Вечером следующего дня вернулись на исходную позицию в отель на побережье. Ужинали в уличном кафе с несколькими столиками под навесом и кухней тут же. Все предыдущие вечера до поездки мы заходили именно сюда, и хозяйка Пхон обрадовалась нам как родным, объявившимся после долгого и опасного странствия. Чувствовалось, как она за нас переживала эти долгие два дня. Полная симпатичная женщина лет сорока, с крепкой, тяжеловатой фигурой совсем не местного, тростникового образца. Всегда одета в спортивные штаны и серую футболку с картинкой на животе в виде дерущихся ногами бойцов. Зачесанные назад густые волосы, скрепленные ободком, и постоянная улыбка. Что это, отработанная привычка, необходимая в ее деле, или свойство характера? Наверное, и то и другое. Каждому приятно думать, что улыбаются именно ему. Иногда я видел, как она застывала с лопаткой, занесенной над сковородкой, и смотрела куда-то вдоль улицы. Лицо в этот момент становилось серьезным. Когда на сковородке что-то начинало трещать и подпрыгивать, Пхон про нее вспоминала и улыбалась сама себе. Она знала достаточно русских слов, необходимых для разговора с едоками, а с помощью моего русско-тайского разговорника мы раздвинули границы общения от курятины и сибирской зимы до таких жизненных событий, как «мой муж умер» и «наш сын женился». Пхон два года назад стала вдовой с четырьмя детьми, и младшая дочь помогает ей у плиты и за прилавком. Девочка летает между столиками, жаровней и прилавком, гордая за порученное мамой дело.

В этот вечер мы поужинали рыбой, и за чашкой кофе я наблюдал человеческие типы, которые на нашей территории не увидишь. Вот шествует тучный пожилой европеец с бордовым лицом и мохнатым брюхом, вывалившимся из распахнутой рубашки. Всей тушей навалился на маленькую, хрупкую тайку. Ее голова еле достаёт ему до подмышки, тяжесть изрядная, но девушка довольна: несколько дней ей не будет забот с клиентами, потому что добрый мистер выбрал именно ее для улады на все время своего пребывания в Паттайе.

Вот другой живой символ, можно сказать, знаковая примета нынешнего состояния западной цивилизации: крепкий, рослый мужчина с породистым, волевым лицом идет мимо нас, ласково держа за руку юношу с томным взглядом. Свободной рукой мальчик девичьим движением поправляет длинную косую челку, закрывающую ему один глаз, и что-то нежно шепчет своему другу. Покровитель кивает, и они сворачивают к сверкающей витрине супермаркета.

От тусклых мыслей отвлекла Пхон, по-своейски присевшая рядом со мной на свободный стул. Сложила русскую фразу:

— Квай хорошо?

Мы дружно закивали, и Тоня ответила:

— Очень хорошо, особенно водопад и обезьяны. Мы их кормили арахисом, прямо из рук.

Я полистал разговорник, нашел нужные фразы, и Пхон, все поняв, засмеялась от искренней радости за нас. После озабоченно спросила, что еще мы хотели бы покушать. Ничего мы не хотели, но она не уходила, задумчиво глядя перед собой. Вдруг взяла мою руку за запястье и положила себе на коленку. Я оцепенел. Тоня, не замечая такого продолжения разговора, смотрела на уличное движение. Пхон, не поворачивая лица, легонько стукнулась своей головой о мой бритый череп и улыбнулась полными губами. Я сообразил: это дружеский жест, означающий, что мы чувствуем друг к другу сердечное расположение. Милая Пхон, ничем не могу я помочь тебе в твоей вдовьей доле, разве что заказать еще одно блюдо, но съесть его уже не по силам. Она посидела так несколько минут, потом сняла мою ладонь со своего колена и поднялась.

Поздний вечер начинал переходить в ночь, пришла пора убирать имущество до утра. Появился парень, помогающий заносить столовский скарб в открытую дверь какого-то помещения позади навеса. Мы попрощались со всеми по-тайски, кланяясь со сложенными у подбородка ладонями.

На пятом десятке прожитых лет впервые попав в разряд отдыхающих, я стал ощущать, что мне чего-то не хватает. Как так: просто сидеть на песке, просто бултыхаться в море и ничего не делать? Я раньше отдыхал от работы, но обычно этот отдых был вынужденным простоем. Были, конечно, и отпуска, но какие-то дела, как правило бытовые, в этот период обязательно находились. Поерзав, я наконец-то нашел удобное положение и великое удовольствие в полном отрешении от всех забот. Оказывается, это прекрасно: видеть закругление земного шара на океанском горизонте, какие-то островки вдали, пальмы на берегу и никуда не дергаться. Вижу, как морская волна золотится блестками — чешуйками желтой слюды, вымытой из песка, и этого довольно.

Осваивая приятные ощущения бездельника, я лежал на боку ногами к морю, когда опознал в движущемся мимо человеке Ваню из Саратова. Глаза его были вполне осмысленные, одет, вернее, раздет по-пляжному.

Увидев меня, постоял в размышлении, потом приблизился и заговорил:

— Это, я извиняюсь, мы, однако, с вами где-то встречались...

— На реку Квай ездили вместе.

Ваня задрал к небу очи, вспоминая событие, и хохотнул:

— Ну и как там эта Квай? Все нормально?

— Все зашибись, Ваня. Мы по ней на моторке елозили, а ей хоть бы что.

Ему стало интересно.

— И я с вами плавал?

— Нет, ты шибко устал после трудного переезда и на койке отдыхал.

Про гамак я решил не упоминать.

— Ну и ладно, я по Волге наплавался на моторках.

Меня вдруг понесло:

— Зато на обратном пути ты весь автобус порадовал интересными наблюдениями. Громко так объявил, что местные коровы и здешние человеческие тел-



ки страшно худые по сравнению с нашими, упитанными и полногрудыми. Все дружно согласились.

Ваня ухмыльнулся:

— Это точно я подметил, натуральные доходяги, что бабы, что коровы. Значит, нормально съездили, а то мои друганы-пензяки говорят, будто я никуда не ездил, а где-то здесь два дня провалялся, типа у проституток. Вон они, козлы, руками машут, пойдем, скажешь им, как все в натуре было.

Я быстро нашел причину не ходить к пензякам:

— Не, Ваня, вон моя идет из воды. Она обидится, если я сейчас к вашей компании примкну. Жена все-таки.

— Ну, как хочешь, хозяин — барин. На море надо свободным мужиком ездить, бери с меня пример.

Он исчез в направлении обрыва, а мне лень было задирать голову, чтобы увидеть, куда именно. Я вошел во вкус созерцательного возлжания.

С наступлением темноты сподобились выехать на знакомство с Уолкин-стрит. В этом городке так называется пешеходная улица, по свидетельству красноярцев, какое-то средоточие разврата. Ничего особенного не обнаружили: вереница обычных тряпочных магазинов, рыбных ресторанов, кафе с русским караоке и, конечно, обилие проституток. Одни просто сидят за столиками ресторанчиков, терпеливо ожидая клиентов, другие с отрешенными личиками изображают завлекающие танцы. Посередь улицы стоял поддатый парень с гитарой наперевес в замызганной, когда-то цветастой рубашке без пуговиц.

Увидев нас, подтянул шорты повыше и обратился с речью почему-то к Тоне:

— Мать, помоги бедному парню сотней-другой батов, совсем пропадая в этом вонючем Таиланде.

С «матерью» он был примерно одного возраста, и Тоня его отчитала:

— За что тебе подавать, хоть бы сыграл что-нибудь для души.

Он остервенело замолотил по оставшимся трем струнам и закричал беззубым ртом: «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...» Мы быстро шмыгнули в переулок, но виртуоз не отставал, пока я не сунул ему купюру.

До отеля ехали на «тук-туке». Так здесь называют грузовые мотороллеры со скамейками для пассажиров в кузове. Попутчики-сахалинцы Олег и Валя рассказали, что бедствующий гитарист Шурик потерял свои документы и уже полгода здесь обитает. Снимает где-то угол и кормится на этой самой Уолкин-стрит. Шурику здесь хорошо, он нашел свой оазис на штормовой равнине цивилизации с ее вечными жесткими требованиями по поводу обязательств и ответственности. Здесь он никому ничего не должен и ни за что не отвечает. Не затем ли уходили люди в отшельничество, превращаясь в уважаемых старцев? Но Шурику не нужно уважение, его гордый дух много выше этих суетных амбиций, а песня про Мурку — это мантра, открывающая чакру, сквозь которую вольный ветер освежает его душу, вспотевшую от выполнения бесконечных обязанностей.

В завершающий вечер сидели с Тоней в шезлонгах у гостиничного бассейна и наслаждались последним представлением в стране чудес. Бассейн был закрыт для купания то ли для замены воды, то ли для какой-то дезинфекции, о чем извещали таблички на русском и английском языках. На противоположной стороне водоема объявилась русская компания из трех мужчин и одной женщины,

все чрезмерно упитанные и весьма энергичные. Аккуратно сервировали столик, скинули махровые халаты с мощных телес и с ревом «Ура, Пенза!» дружно ухнули в воду. Поднявшаяся волна, перехлестнув через кромку бассейна, покатила по тротуарной плитке и ушла в траву газона. К месту маленького цунами бежал всполошенный служащий, махал руками и кричал: «Нельзя сейчас, можно завтра!» Купальщики его увидели, услышали, без возражений выбрались из воды, окружив столик, влили в себя по стакану и, выдав новую оглушительную речевку «Сталинград не сдастся!», ринулись к обрыву и исчезли. До нас дошло, что они прыгнули, минув лестницу, ведущую к морю. Большая женщина, не отставая, улетела туда же. От подножия трехметровой скалы до воды было расстояние метров пятьдесят. Обеспокоенный жизнью и здоровьем земляков, я подошел к обрыву. В сумеречном свете разглядел благополучно плещущиеся фигуры.

Рядом со мной, сокрушенно мотая головой, стоял служащий, непрерывно повторяя: «Ай-яй-яй». Оказывается, в наших таких непохожих языках существуют одинаковые выражения. Потом, негромко бормоча, он побрел вдоль аллеи, задрал голову и освещая ручным фонариком верхушки пальм. Я догадался, что он проверяет напоследок, не забралась ли туда другие шалуны и шалуньи. Вернувшись к супружнице, доложил, что все в порядке, обошлось без трупов и изувеченных тел. Я хотел было посвятить ее в известные мне тайны мироздания на примере сверкающего над нами звездного ковра, но не успел, потому что сбоку раздался голос саратовского Вани:

— Здравствуйте, земляки.

Он вольно откинулся на пустующий шезлонг. Трезвым, убитым тоном любопытствовал, когда мы улетаем. Узнав, что завтра в ночь, тяжело вздохнул.

— Счастливые, а я не знаю, когда домой вернусь. Билет где-то посеял, а рейс послезавтра. На новый билет денег не хватит. Буду звонить друзьям, может, кто и поможет.

Как утешать, мы не знали, и Тоня переменяла тему:

— Завтра местный праздник — Маху Сангкран. Это последний день старого года по буддийскому календарю. Я слышала, что по такому поводу люди краской мажут лица и хохочут, прощаясь с уходящими неприятностями.

Я подхватил:

— Ага, мы к ним с утра примкнем и в Томск прилетим с разукрашенными рожами.

Тоня посмеялась, представляя картинку, а потом вдруг посоветовала Ване:

— Тебе надо с Шуриком познакомиться. Он полгода здесь обитает и ничего, похоже, доволен. На Уолкин-стрит зарабатывает, и никто его отсюда не гонит. Стал местной достопримечательностью.

Ваня все воспринял всерьез:

— Я видел его там, с гитарой в три струны. Действительно, надо объединяться, вдвоем оно легче. Ладно, пойду спать, как говорится, утро вечера и так далее.

Он побрел по дорожке к отелю, где у него было оплаченное место до послезавтра. Больше мы не встречались.

Весь следующий световой день прошел в воде: мы прощались с морем. На пляже ребяг и взрослые обсыпали себя и всех желающих цветными порошками, строили дурные рожи, прыгали и катались друг на дружке. Мы удержали

свои порывы поучаствовать в голопупом карнавале. Скучными какими-то становимся. Возраст? Рядом появился тутошний паренек, одетый в брюки и кофту с начесом. На голове вязаная спортивная шапочка. Мне до сих пор непонятна такая манера местных жителей утепляться. Нам такая одежда сгодится где-то в сентябре. Он предложил свой товар: статуэтки Будды золотистого цвета, на разный вкус и настроение. Я купил одно понравившееся мне изделие: хохотущий толстяк с сомкнутыми над головой руками, сжимающими шары. Юношу звали Кэп, было ему 32 года, он имел жену и двоих детей. Я так и не сумел освоиться с правильным определением возраста тайцев. Узнав, откуда мы прибыли, он обхватил себя руками за худые плечи и затрясся, изображая замерзание. Сфотографировались с ним в обнимку, он растрогался и подарил нам еще одну статуэтку. Мне стало неловко, но денег оставалось лишь на покупку фруктов домой, детям. Меня Кэп называл папа, с ударением на последней букве, а Тонию мадам.

Я пытался у него узнать, отчего Будда такой весельчак, он хотел мне что-то объяснить, но вдруг застыл с открытым ртом, глядя куда-то в сторону моря. Я посмотрел туда же и обнаружил явление, поразившее нашего нового друга. По колено в воде стояла монументальная женщина, снявшая лифчик и подставившая солнцу белые дыни груди. Предъявляя себя для любования, она явно насмеялась над мельтешащим вокруг человеческим муравейником. Упершись ладонями в бедра, она не выдавала никаких призывов, лицо было холодно и отрешенно. Мужчины, увидевшие этот природный шедевр, замолкли или начали говорить невпопад. Женщины делали вид, что ничего особенного не заметили.

Статую Рамы IX на центральной площади Бангкока помню смутно, но легкое покачивание выдающегося белоснежного женского бюста под жгучим солнцем отпечаталось в моей памяти накрепко, очевидно, до конца жизни в моем сегодняшнем теле, а может, и дольше. Смущенный Кэп засуетился, словно замеченный в каком-то недостойном поступке, повесил свою торбу на плечо, мы попрощались, и он пошел сквозь резвящийся народ деньги зарабатывать.

Напоследок Пхон накормила нас жареным угрем с соусом из папайи, и когда я поцеловал ее в щеку, она простодушно зашмыгала носом и утерла слезинку. Еще я знал, что через пару недель она не сможет нас вспомнить, даже при пронзительном желании, которому не с чего взяться. Это мы не забудем ее грустную улыбку, как детские впечатления, которые несем в рюкзаке памяти до последнего шага своего маршрута.



«Я С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ РАНИМЕЙ...»

Кухно А., Кухно О. Верность до конца.

Судьба в стихах и письмах. —

М.: ООО «Издательский и культурный центр
“Детство. Отрочество. Юность”», 2017. — 304 с.

В Новосибирске традиционно своих писателей чтут и помнят: В. Зазубрин и Л. Сейфуллина, И. Лавров и А. Коптелов, Е. Стюарт и Ю. Магалиф, Н. Яновский и П. Дедов, Н. Самохин и А. Плитченко. Александр Кухно в этом ряду не на последнем месте. Во многом это заслуга Ольги Кухно — жены, преданного друга и помощницы. Ее неистощимой энергии новосибирцы обязаны тем, что книги поэта выходили каждое десятилетие и даже чаще: в 1981, 1987, 1992 и 2001 гг.; а в 2007-м при ее немалой помощи вышла книга А. Горшенина о А. Кухно — емкий и содержательный очерк о его жизни и творчестве.

И вот новая книга, теперь уже без участия О. Кухно, ушедшей из жизни в 2012 г. Традицию издания книг новосибирского поэта к его годовщинам продолжил Альберт Лиханов — известный российский писатель, которого с Кухно «связывала крепкая дружба». Так написано в комментариях к разделу писем в собрании сочинений, избранной переписки и воспоминаний о поэте 1981 г. Но, как ни удивительно, как раз писем и воспоминаний Лиханова в ней не оказалось. Спустя тридцать шесть лет они наконец опубликованы писателем (в книге специально указано, что она «издана на сред-

ства семьи Л. А. и А. А. Лихановых»), выпустившим, таким образом, «первую московскую книгу прекрасного сибирского поэта» к 85-летию рождения его и его жены (это также обозначено в книге). И вот сюрприз: письма и стали главным событием книги, настоящим открытием для всех любителей и знатоков сибирской литературы, которые по цитатам в книге А. Горшенина могли только догадываться об их наличии.

Сказать, что письма Кухно и Лиханова живые, будто не прошло нескольких десятков лет, — значит сказать очень мало. Они буквально искрометны, когда чуть ли не каждое слово лучится жизнью, чувством, восклицает с восклицательным знаком и без него от избытка каких-то нерастроченных сил и эмоций. Словно каждый из участников этой переписки продолжал творить и здесь, но уже без сковывающих рамок рифм, сюжетов, обстоятельств жизни. Обстоятельства же эти складывались не в пользу обоих. Особенно у Кухно, который к началу переписки в сентябре 1966 г. ушел из «Сибирских огней» после десяти лет работы редактором разных отделов журнала, и стихи если и писались, то непросто и «грустно». За месяц — всего пять стихов. А в письмах вместо уныния та же искро-

метность: «Лихановы, ау!» — так начинает Кухно свое первое письмо и в том же духе дружеской задиристости (все-таки это веселые шестидесятые годы!), чуждой всякой чопорности, сообщает невеселую новость: ему «бросили кость ничтожную» — возможность издать книгу вне плана, но рукопись сдать надо уже через два месяца. «Ничего, как-нибудь разгрызем!» — пишет он Лиханову.

Этот вольный эпистолярный тон, чисто устный, разговорный, адресат Кухно охотно поддержит и в чем-то даже превзойдет его, как, например, в письме в двух «частях» с «прологом» и «эпилогом». Тем более что не ответить было нельзя, настолько мощным был напор эпистолярной лирики Кухно, куда поэт зачастую включал и свои стихи. Уже во второе письмо он переписал четыре новых стихотворения, ставших впоследствии настоящими жемчужинами в его наследии: «В ночи горит Полярная звезда...», «Это ж чудо из чудес...», «Оставил службу...», «Сколько зим по задворкам чужим...». И далее, не стесняясь размером разбухающего письма, перечисляет известных новосибирских литераторов, их дела и заботы: «Стюарт лежит с инсультом... Старушка держится молодцом»; «С Колёй Самохиным видимся очень редко... Сейчас он болен и тоже угодил в больницу»; «У Раппопорта умер отец»; «На днях был на дне рождения Нины Греховой». Упоминаются Д. Константиновский, В. Коньяков, А. Чернышов: рассказать он готов обо всех.

Кухно середины 60-х был уже далеко не начинающим, как Лиханов: за его плечами был Литературный институт и семинары у М. Светлова, первая публикация состоялась еще в 1954 г. в ставших родными «Сибирских огнях». Его считали наследником Е. Стюарт («подхватил эстафету», писал А. Никульков), вышли две книги его стихов, вторая из которых,

«Ранимость», стала главной для его творчества и судьбы.

Здесь следует сказать о поэме «Море», которую сразу окрестили «антикультовой» и из-за которой он потом страдал до конца жизни. Из-за нее, например, Кухно не попал в ГДР на «обменный фестиваль» молодых поэтов: уже приехав в Москву в ожидании поездки, он узнал, что исключен из списка, причем по указу с самого верха. «Он тяжело это переживал», — пишет Лиханов в предисловии к переписке. Друг попытался «перевести его мысли на иные рельсы», предложив Кухно написать поэму о последнем коммунаре — участнике Парижской коммуны Адриене Лежене, похороненном в Новосибирске. С тех пор, т. е. с 1966 г., поэт увлекся судьбой коммунара чуть ли не больше, чем собственной, и в уже упомянутом огромном письме просит Лиханова достать в Москве «все, что только можно». Со страстью подлинно близкого и родного французу человека он называл «гадами» и «сволочами» тех, кто не обнаружит имеющиеся у них документы о Лежене, и буквально умолял Лиханова: «Алик, — ради бога, сделай так, чтобы она (любая книга о Лежене. — В. Я.) попала ко мне — в любом виде, на любом языке».

Лиханову, который в начале 1966 г. был переведен в Москву, в аппарат ЦК ВЛКСМ, невозможно было устоять перед таким страстным напором. Он в своих письмах, вторя дружески-хулиганскому тону, установившемуся между ними, называет Кухно сначала «дорогое нетипичное явление нашей действительности», себя — «ваш ученик и апологет», а потом, в приписке «для Оли», совсем не по-ученически аттестует ее мужа «паразитом» и «хамом», собравшимся прекратить дружбу (очевидно, из-за инцидента с поездкой в ГДР): «Прошу тебя, прочтя эти слова, возьми утюг и двинь ему от

моего имени...» К тому же эта приписка напоминает, что писатели дружили семьями. Причем О. Кухно, работая в Новосибирском издательстве корректором, занималась и первой книгой Лиханова в Новосибирске «Юрка Гагарин, тезка космонавта» (1966). Лучшей в книге оказалась повесть «Вам письмо», о которой Кухно отозвался сразу: «Я в тебя шибко верю после повести “Вам письмо”». И действительно, Лиханов затем писал все лучше, и Кухно в ходе переписки то и дело отмечал его очередные удачи: повести «Крутые горы», «Лабиринт», «Обман», «Деревянные кони». И именно из этой переписки можно узнать, что повесть «Лабиринт», одно из лучших ранних произведений Лиханова, автор в 1970 г. предлагал в «Сибирские огни», но ее не взяли: «Лабиринт» «накрылся шляпой», — констатировал автор.

Эта история перекликается с другой темой переписки — отношений Кухно с писателями и редакцией «Сибирских огней». Интересующиеся узнают, что «Лисовский... крыл меня (т. е. Кухно. — В. Я.) на отчетном писательском собрании что есть мочи — при секретаре обкома, при всех и вообще стучит где только можно» или что «Решетников — самый “близкий” мне “друг” и питает ко мне особые “симпатии”» (1967). Но с большинством писателей и авторов журнала отношения были весьма дружескими: с В. Коньяковым, А. Якубовским, А. Чернышовым, которые «навещали» его, с И. Лавровым и А. Романовым он ездил на агитпоезде по районам области, с И. Фoniaковым и его «литкружковцами» выступал в клубах и т. д. Вообще, после ухода из «Сибирских огней» Кухно основным его занятием становится литконсультирование, рецензии, выступления, в том числе и на радио, «чтобы как-то существовать». Здоровья это не прибавляло, и он в ответ на совет Лиха-

нова «напрячься» и «сосредоточиться» докладывал: «Давление 180, дистрофия миокарда, острый энтероколит и еще черт знает что» (осень 1969). «Сердечными праздниками» называл он чуть ли не ежегодное свое попадание в больницу.

Письма, переписка, несомненно, лечили. В них он многолик и артистичен. Особенно в невероятном по объему, «информативности» и смене тем письме января 1969 г. Здесь рассказ о получении новой квартиры переходит в целую новеллу о соседе-грузчике, с которым подружился благодаря тонким межквартирным стенам, с попутным описанием других, не менее колоритных жильцов подъезда. Меняя тему, обещает написать «небольшую повестушку или очерк... как искал Лежена для “Огней” и т. д. И хоть потом он назвал это письмо «бредом сумасшедшего», но вряд ли возражал бы своему адресату, сравнившему письма Кухно со стихами: «И вообще, отвечать на них нельзя, ибо они хрестоматийны, как стихи Тютчева и Фета». Но вдохновлялись они и Лихановым, его понимающим, отзывчивым умом и сердцем, а также талантом, растущим год от года, от произведения к произведению. Так что Кухно без задних мыслей признавал: «В литературе ты ушел много дальше меня, а в жизни — и подавно» (осень 1969). И в этом, конечно, заслуга в том числе и Кухно, его поэтического и человеческого дара. Неслучайно еще в Сибири (1964—1966) и после нее Лиханов так сильно прибавил творчески. Главным были не книги, которые он здесь написал, а люди, с которыми встречался, будучи корреспондентом «Комсомольской правды» по Западной Сибири. В одной из книг, вышедших в Новосибирске, — «Осенняя ярмарка» (1972) — он признавался в предисловии: «Каждая, даже пустячная заметка оставляла свой след, небольшую зарубку в памяти».

Такой «зарубкой» была и встреча Лиханова в 1964 г. с Кухно в журнале «Сибирские огни», быстро переросшая в дружбу. Благодаря ему Лиханов понял, насколько талантливы сибиряки и как они нуждаются в поддержке и участии. Его предложение издать 50-томную серию-«библиотеку» «Молодая проза Сибири» оказалось точным попаданием, открыв немало новых интересных имен. В двухтомник лучших произведений серии попали В. Распутин, О. Куваев, В. Лихоносов, В. Шугаев, В. Потанин, а также Г. Машкин, А. Якубовский, П. Киле, А. Скалон, А. Черноусов, С. Заплавный. Подлинной удачей стал двухтомник «Письма из Сибири» (1968), составленный Лихановым, без преувеличения, вдохновенно. Достаточно почитать предисловие составителя, написанное в приподнятом тоне, словно стихами в прозе:

Я пишу тебе эти строки в преддверии удивительной книги. Ты найдешь в ней письма, записи, дневники лучших людей в Сибири, в трудные дни испытаний — в дни ссылки. Они написаны в тюремной камере. Они написаны в последние минуты жизни... Но не стала Сибирь мачехой для сынов народа... Чистым хвойным воздухом, ширью просторов своих, любовью народной придавала силы тем, кто шел... за свободу народа, России и ее, Сибири, свободу. Возьми карандаш, читатель! С ним в руках читай эту книгу. Тебе будет что подчеркнуть, будет что выбрать для себя, для твоей жизни, твоих дел.

Кухно, наверное, подчеркнул бы то место из письма В. Ленина матери, где он сообщает, что «сочинял еще в Красноярске стихи: “В Шуше, у подножья Саяна...”, но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!» (18.05.1897 г.). У Кухно, писавшего Лиханову: «Здесь все в восторге от “Писем из Сибири”» (осень 1969), стихи сочинялись. И если

их было не так много, как у других поэтов, то только от большей требовательности к себе. Тем легче был отбор их для представляемой книги, продиктованный темой судьбы поэта: «Судьба в стихах», «Судьба в письмах» — названия ее разделов. А сам поэт определил свою судьбу, свое кредо знаменитым стихотворением «Ранимость», так что и читателям и критикам оставалось только повторять готовую формулу, цитируя ставшие крылатыми строки: от «Я принимал чужую жалость и боль и радость принимал» и «Я с каждым годом все ранимей, и чем ранимей, тем сильнее!» до «Чтоб чувства в людях не иссякли — сгорай до срока» и «Когда весь мир очеловечить стоит задача».

Но даже по этим нескольким строкам из большого стихотворения видно, что за ранимостью стоит не столько признание в чувствительности к боли, сколько страсть к совершенству вопреки боли. Ибо только совершенный, идеальный поэт может пробуждать в людях лучшее, доброе. Или, как написал сам Кухно:

**Когда одним живешь, терзаясь —
всадить в кого-то
не мысли крохотную завязь,
а страсть — работать,
любить, передавать другому
живые чувства
и головой кидаться в омут
всех тайн искусства,
чтоб мысли подлинной, глубокой
пробиться к свету —
горит душа!**

Это ранимость участника сражений, боя: чем яростней атака, тем больше ран.

Поэзия Кухно близка к прозе Лиханова, в которой всегда есть драматизм, столкновение, часто болезненное, юной мальчишеской души со взрослой черствостью или закрытостью чувств. Как это происходит в «Лабиринте» и в «Обмане», повести о том, как юный Сергей стал сиротой и попал под суд. «Прочел на

одном дыхании», — написал Кухно автору (28.10.1974). Есть свой драматизм и в сюжете его стихотворения «Я знаю власть предубеждений...», где лирический герой идет «в лесное бездорожье» вместе с героиней, чтобы «понять лесов нетронутую душу»; взволнован поэт и его героиня судьбой своих детей-«рукавичек» и в одноименном стихотворении. Непросты сюжеты и стихов «В ночи горит Полярная звезда...», «Оставил службу. Город, как музей...». Стихотворение «Телеграммы» напрямую переключается с повестью Лиханова «Вам письмо», так понравившейся поэту. Весь второй раздел подборки «Через годы...» составили «сюжетные» стихи, включая революционные. Объединенные в один раздел, они объясняют, почему Кухно так страстно хотел написать книгу о Лежене — герое Парижской коммуны, борце за коммунистическую идею, а не о каком-нибудь мечтателе-романтике. Становится ясной тогда и неслучайность «Моря» — произведения большого жанра, где он мог в полной мере проявить свой дар публициста, рассказывающего о невинно репрессированных внутри лирического сюжета о море и любви.

Но само «море» поэзии Кухно с трудом поддается схемам, к которым мы здесь невольно прибегли, читая эту совсем не толстую книгу. Каждый волен наметить свою канву и порядок чтения, особенно стихов, как это делали издатели книг Кухно в разные годы, и разброс тут велик. Так, лучшая прижизненная книга поэта «Ранимость» (1965, редактор Е. Расстегняева) открывается стихотворением «Все ждешь, все жаждешь равновесия...». «Ранимость» стоит только в середине раздела, озаглавленного «Так слышу...», а замыкает его «Творчество». Все в такой расстановке гармонично: тема неустанных поисков поэтом себя, своей стези оправдана его темпераментом ли-

рика и публициста. Во втором разделе «Березовые колки» эта интенсивность, чреватая срывом героя в конфликт и драму, смягчается его обращением к природе, любимой, семье: «семейные» «Рукавички» здесь вполне уместно завершают раздел. Поэма «Море», диалектически совмещая «лирику» и «публицистику», становится логическим завершением всей книги. Следующая книга «Березовые колки» (1967) сделана в спешке и потому была самой нелюбимой у Кухно: «Книжка, по-моему, плохая во всех смыслах и оформлена жутко. Ничего она мне не дала — ни морально, ни материально», — писал он Лиханову летом 1967 г. Помещенные там переводы поэтов из ГДР он сгоряча назвал «немецкой дребеденью», хотя работал над ними кропотливо, стремясь соблюсти дух и строй оригинала.

Книга 1974 г. «Зимушка», отредактированная Е. Городецким, еще более отошла от «канона» 1965 г.: несоразмерно большой первый раздел здесь открывается не «Ранимостью», а стихом «Мне говорят: через утраты...», тему ранимости развивающим, а не начинающим. Второй раздел (семь стихов) подчеркивает «гражданственность лирики» Кухно, которая, конечно же, «целиком созвучна веяниям эпохи», как написано в аннотации. «Стихотворения» 1986 г. из серии «Библиотека сибирской поэзии» по объему превышают предшествующие книги. Автор предисловия В. Коржев говорит о «глубоком гуманистическом и нравственно-философском содержании понятия “ранимость”, определяющем эстетическое кредо поэта», но без полного текста поэмы «Море» (из которой изъята «гулаговская» сердцевина) слова эти повисают в воздухе. И только в 1992 г. в книге «Вашей учусь любви...» «Море» наконец-то напечатано полностью, а в издании 2001 г. «На перекрестках трудных

судеб», где и «Ранимость» впервые напечатана полностью вместе с «Морем», устанавливается тот «канон» расстановки стихов Кухно, который повторен и в книге Лиханова. Да и предисловие там отходит от стандарта: его автор Ю. Ключников пишет о Кухно в первую очередь как о человеке, о его «оголенных нервах», разговорах о Боге и о его «советскости», верности «багряным парусам».

Мир поэта Кухно, представленный в новой книге через личность Лиханова,

его большого и настоящего друга, приобретает дополнительные смыслы и нюансы, задает свою траекторию осмысления творчества поэта. И, может быть, даже хорошо, что у книги нет оглавления, где каждый раздел, стихотворение, письмо пригвождены к какой-то цифре, пронумерованной страничке. Это значит, что книгу можно читать раскрыв наугад, с любого места, чтобы Кухно открылся с новой стороны, в ином, возможно, и неожиданном освещении.

Владимир Яранцев



Ирина СЛИВЦОВА

АКВАРЕЛЬНАЯ РОДИНА ВАЛЕРИЯ БУЛАТОВА

Бывают в жизни такие встречи, когда с первого взгляда, с первого слова понимаешь — этот человек твой! И как-то незаметно вдруг исчезает отстраненность, остается лишь легкость и радость, а еще — доверие и приятие. Это случается нечасто, их совсем немного, таких людей, но именно к ним, излучающим энергию доброты и надежности, я отнесла бы шелаболихинского художника Валерия Булатова. Этот человек с пронизательными глазами за стеклами очков, чеховской бородкой и сдержанной улыбкой покоряет раз и навсегда — внутренней силой и своим талантом.

«Живопись позволяет увидеть вещи такими, какими они были однажды, когда на них глядели с любовью», — написал когда-то французский поэт Поль Валери. Таково же и творческое кредо художника Булатова: жить и творить с любовью.

Родился Валерий Дмитриевич в 1951 г. в Барнауле, раннее детство прошло в г. Фрунзе, школу окончил в селе Ребриха Алтайского края, в армии служил в войсках правительственной связи КГБ. Учился в изостудии Республиканского центра народного творчества г. Фрунзе, затем с 1977 по 1984 г. — на искусствоведческом отделении Уральского государственного университета; работал художником-оформителем на Барнаульском станкостроительном заводе и в отделе культуры Ключевского района. В 1986 г. Валерий Булатов стал заведующим отделом культуры Шелаболихин-

ского райисполкома, но с конца 1980-х утвердился в намерении учить детей, осознав, что это его истинное предназначение: преподавал изобразительные искусства и мировую художественную культуру в шелаболихинской средней школе № 2 и в школе искусств по системе знаменитого художника и педагога Б. М. Неменского. В 1991 г. Валерий Булатов стал победителем Всероссийского и финалистом 2-го Всесоюзного конкурсов «Учитель года».

Но рамки школьной программы не давали Булатову возможности полностью развернуться, поэтому возникла идея изостудии, в которой занятия могли бы проходить ежедневно, и вот тогда появился клуб «Три В» («Три вершины» — вершины духа, разума и тела), где художник, применяя все свои знания, старался помочь растущему человеку в непростом восхождении. Клуб состоял из трех секций: изостудии, «Круга» (психология общения) и «Спецназа», занятия проходили три раза в неделю; с 2002 г. клуб стал называться «Пересвет» и перешел в ведение Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма и краеведения.

В юности Валерий Дмитриевич увлекался самбо и тяжелой атлетикой, затем серьезно изучал восточные и русские единоборства. За 23 года существования военно-патриотического клуба «Пересвет» многие выпускники получили спортивные разряды, а некоторые даже стали кмс и мастерами.

Давняя мечта Валерия Дмитриевича — серьезно заняться живописью — стала реальностью только после того, как он вышел на пенсию. Да еще в тот момент клуб был закрыт по прихоти местных чиновников, а помещение, где по вечерам Булатов иногда писал маслом, просто отобрано. И тогда жена Светлана напомнила ему об акварели.

Вот как рассказывает об этом сам художник:

— Я достал акварельную бумагу, которую мне почти 30 лет назад подарил известный барнаульский мастер акварели Алексей Югаткин, и с ужасом начал работать. Потом через Интернет познакомился с другими художниками, заметил, что в мире сегодня какой-то всплеск интереса к акварели да и в России есть мастера мирового уровня. На мастер-класс одного из них — Сергея Курбатова из Новосибирска — мне повезло попасть в позапрошлом году... Я теперь не представляю себе жизни без акварели, хотя прекрасно понимаю, что мне еще есть куда расти.

В 2016 г. в Павловской модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова прошла выставка художника, имевшая колоссальный успех, и в том же году по инициативе и при участии литературного фонда «Август. Испытание временем» напечатан альбом репродукций Валерия Булатова «Моя акварельная родина» (редактор-составитель Валерий Тихонов). «Моя акварельная родина» — полноцветное издание в 160 страниц — это своеобразный итог ряда персональных передвижных выставок художника с одноименным названием. Альбом был представлен на XII фестивале книги «Издано на Алтае», где получил достойную оценку.

Вот что пишет, например, Наталья Царева, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России, член Ассоциации искусствоведов России, заместитель директора по научной работе Государственного художественного

музея Алтайского края: «Живопись — настоящая страсть Валерия Булатова, его стихия. Он — прирожденный живописец, все ее слагаемые подвластны ему. Известно утверждение, что живопись немислима без цвета, так же как музыка без звука или поэзия без слов. Другая тайна волшебства акварели — свет. Профессионалы отмечают, что живописец, постигший художественную природу света, владеет поистине бесценным сокровищем. Свет — главный чародей природы в акварелях Булатова. Цвет и свет, мастерски переданные в акварели “Краски осени”, сделали ее маленьким шедевром. Такой прозрачный свет, такие сочные, насыщенные краски леса увидишь в природе нечасто. Рассматривая акварели Валерия Булатова, замечаешь, что у автора нет любимого времени года, и он готов поспорить со знатоками, утверждающими, что “зима — гравюра, лето — живопись масляными красками, осень — мозаика из всех времен года и лишь весна — акварель”. Акварелью художник показывает любое время года столь искусно, потому что знает очень важный секрет: эту царственную технику надо любить и тогда твоей рукой будет двигать вдохновение, а сердце зрителя обязательно застучит в унисон с твоим, так же взволнованно и трепетно, потому что красота и недостижимость искусства всегда рождают восторг у зрителей, пробуждают глубокие переживания и осознание бесценности человеческой жизни, ее единства с миром...»

Помимо занятий акварелью, Валерий Булатов пишет стихи, является членом литературного объединения Шелаболихинского района «Берег», ведет клуб «Собеседник» в районной библиотеке.

А еще он встречает доброй улыбкой каждый новый день, радуясь тихому утру и ноябрьскому снегопаду, проказам кота Тихона и просьбам любимых внушек, а самое главное — радуясь возможности полностью посвятить себя живописи, чтобы дарить людям схваченную на лету красоту.

АВТОРЫ НОМЕРА

Бренников Николай (Серебrenников Николай Валентинович) родился в 1954 г. в Томске. Окончил исторический факультет Томского государственного университета. Преподавал в университетах Новгорода и Томска. Автор сборников стихов и прозы, монографии «Опыт формирования областнической литературы». Доктор филологических наук. Член Союза писателей России. Живет в Томске.

Гербер Денис Владимирович родился в 1977 г. в Ангарске. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Продюсер и сценарист киностудии «Ретрит фильм», ведущий программ на «Русском радио» (Иркутск). Публикуется впервые. Живет в Ангарске.

Домрачев Василий Иванович родился в 1948 г. в деревне Русская Гарь Марийской АССР. Окончил физический факультет Казанского государственного университета. Работал в Казанском научно-исследовательском институте радиоэлектроники. Печатался в журналах «Юность», «Идель», в республиканской периодике. Автор трех книг стихов. Живет в Казани.

Домрачева Ольга Николаевна родилась в 1971 г. в Куйбышеве Новосибирской области. По образованию бухгалтер, работает в банке. Победитель межрегионального конкурса на соискание премии им. И. Д. Рождественского (Красноярск, 2016). Живет в р. п. Большеречье Омской области.

Казарин Юрий Викторович родился в 1955 г. в Свердловске. Автор нескольких книг стихов и монографий, посвященных исследованию поэтического текста. Доктор филологических наук, профессор. Живет в Екатеринбурге.

Куклин Сергей Александрович родился в Томске в 1959 г. Окончил Томский политехнический институт, геологоразве-

дочный факультет. Работал инженером-геологом в Казахстане, в Красноярском крае, Томской области, в Ханты-Мансийском АО. В настоящее время ведущий геолог в изыскательской организации. Рассказы и повести печатались в томских журналах и альманахах. Автор двух книг прозы. Член Союза российских писателей. Живет в Томске.

Маркович Яков Семенович родился в 1941 г. в Баку. Окончил Московский государственный университет, защитил кандидатскую диссертацию в ИМЛИ. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Литературная учеба» и др. Живет в Москве.

Рожков Виктор Петрович (1920—2006) родился в Омске. В 1939 г. окончил Одесское мореходное училище. Во время Великой Отечественной войны служил на торпедных катерах. После демобилизации более 20 лет водил по Иртышу и Оби сухогруз СТ-5. Был корреспондентом Омского радио. Автор повестей и романов «За морем — Мангазея», «Киприанов след», «Срочный рейс», «Черный туман» и др. Умер в 2006 г. в Омске.

Сливцова Ирина родилась в с. Зырянковка Павловского района Алтайского края. Окончила Алтайский государственный институт культуры. Работает в Павловской модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова. Автор сборника стихов «Второе небо». В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в с. Павловск Алтайского края.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 г. в Калининне. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 23.08.2017 г. Дата выхода № 9 за 2017 г. в свет 25.09.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.